

A black and white portrait of an elderly man with short, light-colored hair, wearing a dark suit, white shirt, and a dark tie with a small white pattern. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is dark and out of focus, showing some architectural lines.

*Май 20
бек*

ОБЪЕКТ №1

Илья Збарский

**ИЛЬЯ
ЗБАРСКИЙ**

ОБЪЕКТ №1

**МОСКВА • ВАГРИУС •
2000**

УДК 882-94
ББК 84.Р7
З 41

В книге использован
уникальный фотомагериал из
личного архива автора и
Российского государственного
архива социально-политической
истории, а также фотографии
Лорана Ступа

Дизайн серии Е Вельчинского
Художник Н Вельчинская

*Охраняется законом РФ
об авторском праве
Воспроизведение всей книги
или любой ее части
запрещается без письменного
разрешения издателя
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном
порядке*

ISBN 5-264-00177-4

© Издательство «ВАИ РИВС» 2000
© И Збарский автор 2000

Памяти моего друга и учителя
Владимира Петровича Воробьева
посвящаю

*Автор выражает благодарность
за ценные замечания при чтении рукописи
двоюродной сестре С.Л. Лейбович
и жене М.П. Збарской*

Allwissend bin ich nicht,
Doch viel ist mir bewusst.

*J.W. Goethe**

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Ф. Тютчев

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забывать не в силах ничего.

А. Блок

*Я не всезнающ,
Но многое мне известно.
И.В. Гёте (нем.)

Глава 1

ДЕТСТВО

Мое первое воспоминание относится скорее всего к двухлетнему возрасту. В Московской губернии, близ Воскресенска, я иду в лесу по тропинке, отделенной канавкой и кустарником от параллельной дорожки, по которой следуют мама с теткой. Пройдя немного вперед, остаюсь один; нет ни мамы, ни тетки, страшно. Поэтому, наверное, и запомнил я это мгновение. Но все обошлось, мы встретились, и я снова был в безопасности.

Я родился в городе Каменец-Подольском, где родились и мои родители, 13 (26) октября 1913 года и в возрасте двух месяцев был перевезен в Москву. Туда после окончания Женевского университета и сдачи экзаменов в Петербургском университете переехал мой отец. Жили мы небогато, на средства, получаемые отцом от частных уроков по математике, физике и химии для поступающих в университет.

В 1915 году мы переезжаем на Северный Урал в имение Всеволодо-Вильва, недалеко от Соликамска Пермской губернии. История этого переезда такова.

Очень богатая женщина, Зинаида Григорьевна, вдова неизвестного Саввы Морозова, по второму мужу Резв́ая (она вышла замуж за московского градоначальника А.А. Рейнбота, переименовавшего фамилию на Резв́ой во время немецких погромов 1915 года, вызванных Первой мировой войной), получила сведения о том, что одно из ее имений — Всеволодо-Вильва — не дает дохода и управляющий ее обкрадывает. Будучи дамой капризной, она топнула ножкой и приказала своему секретарю, молодому человеку польского происхождения: «Чтобы через час у меня был новый управляющий!» Молодой человек заметался, схватил газеты и, увидев объяв-

ление. «Доктор химии Женевского и Петербургского университетов Борис Збарский дает уроки химии, физики и математики», тут же обратился к нему, учитывая, что в имени было два химических завода «Мажордом» расписал условия работы и привез отца к хозяйке имения.

Зинаида Григорьевна встретила отца, стоя на лестнице своего богатого особняка на Спиридоновке (теперь Дом приемов Министерства иностранных дел) «Вы мне нравитесь, — сказала Зинаида Григорьевна, — давайте переговорим» Она предложила ему должность управляющего большим имением (39 десятин, покрытых лесом), 500 рублей в месяц плюс 5 процентов дохода с имения.

Во Всеволодо-Вильве у нас был большой дом, лошади, кучер, няня, кухарка. Прекрасная природа, гористая местность. Кругом необъятный лес, населенный медведями, рысями, лисами и прочей живностью, богатая охота, но — глушь. Отец был постоянно занят на работе, а мать моя скучала в одиночестве. Где-то далеко шла война, а заводы Резвóй производили метиловый спирт, уксусную кислоту, ацетон и другие химические продукты. К отцу приезжали генералы и заключали подряды на поставку товаров для армии.

Во время одной из поездок в Москву отец встретил сына знакомого художника Леонида Осиповича Пастернака, молодого поэта Бориса, расспросил его об условиях жизни в Москве и, узнав о его трудностях, предложил ему погостить во Всеволодо-Вильве. Он пригласил также своего друга, писателя Евгения Лундберга. Оба приняли приглашение, считая, что в глуши можно хорошо поработать. А еще к нам приехали бабушка, мать отца, и его женевский учитель, будущий академик, Алексей Николаевич Бах.

В детстве я часто видел Алексея Николаевича Баха, у которого в Женеве делал свою дипломную работу мой отец. После революции отец стал заместителем Баха по руководству физико-химическим институтом имени Л Я Карпова, а затем и Биохимическим институтом Наркомздрава Бах часто приходил к нам: по утрам он гулял с собакой, ирландским сеттером Джерри, в саду Карповского института Высокий, импозантный, с окладистой седой бородой, он пользовался

уважением и популярностью как среди сотрудников обоих институтов, так и среди высокого начальства.

В свое время А.Н. Бах состоял в Народной Воле, а затем стал эсером и жил в эмиграции в Женеве. В молодости он был тощий и высокий; его партийная кличка была Кашей Бессмертный. Когда арестовали видного народовольца, Германа Лопатина, который, не полагаясь на свою память, имел обыкновение все записывать, у него обнаружили такую запись: «Кашей Бессмертный — динамита сколько угодно». Баху удалось избежать ареста, уехав в Швейцарию. Революционное прошлое и написанная им книга «Царь-голод» немало способствовали его положению в СССР и присвоению ему титула основоположника советской биохимии. По существу же он известен своей теорией окисления, разработанной за границей, которая является немаловажной страницей в истории биохимии, но вряд ли оправдывает громкий титул «основоположника». Бах дожил до глубокой старости, его именем был назван Институт биохимии.

Отец поздно приходил домой. Я целыми днями гулял с няней, а иногда и один, мать же находила утешение в обществе Е.Лундберга и Б.Пастернака. Последний импровизировал, играл на пианино, писал и читал свои стихи. По-видимому, между матерью и Борисом Пастернаком завязался роман, послуживший одной из причин разрыва моих родителей. По крайней мере, Борис посвятил моей матери несколько стихотворений, написанных во Всеволодо-Вильве и, впоследствии, в Тихих Горах. Почти все они на бланках именина Зинаиды Григорьевны или на обратной их стороне. У меня сохранились эти автографы поэта.

Г-же Ф.Збарской

На пароходе

Был утренник. Сводило челюсти.
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика
Лакей зевал. сочтя судки
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц Било три
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла, и светильней плавала
В лампаде Камских вод — звезда

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл

Что ж он подслушивал? — Подслушивал,
Дыша на запотелый люк?
Тонула речь в обивке плюшевой
Он понимал движенье рук?

И этих рук движенье проняло
Его? И по движенью рук
Он понял так на фисгармонии
Берут в басах забытый звук

*Борис Пастернак
Всеволодо-Вильва
17 мая 1916*

На другом бланке написано «Фанни Николаевне в память Энеева вечера возникновение сих воспоминаний»

Из Марбургских воспоминаний
(черновой фрагмент)

День был резкий. и тон был резкий,
Резки были и день и тон —
Ну, так извиняюсь Были занавески
Желты Пеньюар был тонок, как хитон

Ласка июля плескалась в тюле,
Тюль, подымаясь, бил в потолок,
Над головой были руки и стулья,
Под головой подушка для ног

Вы поздно вставали Носили лишь модное,
И к Вам постучавшись, входил я в танцкласс,
Где страсть, словно балку, кидала мне под ноги
Линолеум в клетку, пустившийся в пляс

Что сделали Вы? Или это по-дружески,
Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ?
К чему же дивитесь Вы, если по мужески —
— мне больно, довольно, есть мера длине,
тяги, но не слишком, не рваться ж струне,
мне больно, довольно —

стенает во мне

Назревшее сердце, мой друг в матинэ?

Вчера я родился Себя я не чту
Никем, и еще непривычна мне поступь
Сейчас, вспоминаю, стоял на мосту
И видел, что видят немногие с мосту

Борис Пастернак

10.V 1916

Борис Пастернак почти всегда был как-то не от мира сего
Глубоко погруженный в свои думы, он, вероятно, сочинял

или мыслил стихами, не сразу осознавая, кто к нему пришел, с кем он разговаривает; ему всегда требовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к действительности. Помню, уже значительно позже, после смерти моего отца, я встретил его в Москве, у Каменного моста. Он шел, погруженный во что-то свое, не замечая, что происходит вокруг, мысли его витали где-то далеко. Хотя он отлично знал меня, первые слова его были бессвязны, и лишь через некоторое время он как бы перенесся с облаков на землю, узнал меня, и мы поговорили.

Приход отца был главным событием дня. Я мчался ему навстречу, он широко расставлял ноги, и я свободно пробегал между ними. Это развлечение мне, по-видимому, очень нравилось, поскольку однажды отец увидел в окно, как я пытаюсь сзади раздвинуть ноги нашей лошади, чтобы пройти между ними. Испугавшись, что лошадь лягнет, отец выбежал во двор и еле оттащил меня.

Мне особенно запомнились две большие собаки, жившие во дворе нашего дома — бурая Дамка и черный Валетка. Любовь наша была взаимной. Дамка и Валетка охотно играли со мной и терлись о мои плечи. Мы все трое были приблизительно одного роста.

Во Всеволодо-Вильве наша семья прожила года полтора-два, 1915—1916 гг. В конце этого периода положение отца осложнилось. За довольно короткий срок, менее года, отец наладил на заводах запущенное производство и значительно улучшил положение рабочих, переселил их из прогнивших барачных бараков, устранил недостатки в выплате жалованья. Своими действиями отец снискал симпатии и уважение рабочих, но озлобил служащих, прибавив им работы и хлопот. Из-за этого, а также из-за его революционных воззрений над ним сгущались тучи. Однажды его вызвал пермский губернатор Лозино-Лозинский и отчитал за потворство рабочим, заявив, что только из уважения к его хозяйке он на этот раз ограничивается предупреждением.

Еще до этого Лозино-Лозинский созвал всех директоров химических предприятий Пермской губернии и зачитал царский манифест с призывом разработать и наладить в России производство ряда химических продуктов, необходимых для

армии, которые ранее ввозились из-за границы, главным образом из Германии. На первом месте в этом списке стоял бензол, на втором — хлороформ. Хлороформ в то время широко применялся для наркоза при операциях, и армия остро нуждалась в нем. Неочищенный хлороформ в России выпускался, однако производство чистого хлороформа для наркоза из хлоралгидрата у нас налажено не было из-за отсутствия сырья.

В результате напряженной работы отцу вместе с лаборантом, Иосифом Владимировичем Филипповичем, удалось создать способ получения и очистки хлороформа из отечественного сырья, главным компонентом которого была хлорная известь. Убедившись, что получаемый продукт соответствует всем требованиям фармакопеи, отец дал телеграмму начальнику Военно-санитарного управления армии принцу Ольденбургскому. Через два часа пришел ответ: «Немедленно выезжайте Петроград образцами продукта». В Петрограде принц Ольденбургский принял отца и поручил генералу Анрепу проверить химическими методами и на животных привезенный образец хлороформа.

Исследования дали положительный результат, отцу выдали патент на способ изготовления и очистки хлороформа, и ему было предложено наладить производство. Он получил предложение от Льва Яковлевича Карпова, с которым работал ранее во Владимирской губернии и в Финляндии над производством канифоли и скипидара из сосновых пней путем перегонки с паром по методу Л. Я. Карпова. Лев Яковлевич, член РСДРП(б), был в это время директором Бондюжского химического завода в Тихих Горах, в 20 верстах от Елабуги, на берегу Камы.

Заводы «Т-ва П. К. Ушкова и К^о» фактически принадлежали инженеру Сергею Дмитриевичу Шеину. Сергей Дмитриевич ловко купил по дешевке завод у наследников Ушкова, людей образованных, но отнюдь не деловых. Сын Ушкова попросил Шеина съездить в Тихие Горы и посоветовать ему, как быть с заводом. Сергей Дмитриевич за бокалом вина в ресторане изобразил положение дел в самых мрачных красках и наконец, после долгих обсуждений, милостиво согласился купить этот завод, как он сам говорил, за бесценок.

Сергей Дмитриевич Шеин был богатым русским барином, жертвовавшим, подобно Савве Морозову, немало денег большевикам. Я хорошо помню его, крупного, с бородой, в поддевке, громогласного и жизнерадостного. В 1930 году, несмотря на заслуги перед партией, он был арестован и осужден по знаменитому процессу Промпартии, а впоследствии исчез.

Вот к этому С. Д. Шеину и приехал мой отец в Тихие Горы на Бондюжский завод. На заводе Шеина не оказалось, и отцу сказали, что Сергей Дмитриевич уже третий день сидит в ресторане в Елабуге. На вопрос о том, когда он приедет и сможет принять его, отцу ответили, что в ресторане Сергей Дмитриевич делает все дела, подписывает бумаги, и посоветовали ехать в Елабугу.

В большом ресторане в Елабуге, на первом этаже купеческого дома, отец застал полупьяную компанию, человек тридцать. Во главе стола в позе хозяина восседал Шеин. Отец быстро подошел к нему, но Сергей Дмитриевич попросил его не торопиться и первым делом поднес ему рюмку водки. Затем не спеша просмотрел бумаги, подписал их и со знанием дела заключил контракт на строительство цеха по производству и очистке хлороформа.

Во время этого разговора произошел примечательный инцидент. Кто-то из сильно подвыпивших гостей бросил в окно бутылку из-под шампанского. Бутылка попала в проезжавшего на извозчике офицера. Разъяренный майор вбежал в ресторан и стал громко поносить «штатских крыс», пьянствующих в то время, когда доблестное воинство проливает кровь в борьбе за отечество. Сергей Дмитриевич подошел к нему, обнял, стал успокаивать и буквально влил ему в рот стакан водки. Офицер вскоре обмяк, выпил еще, затем еще... Примерно через полчаса вошел ожидавший его извозчик и спросил. «Как, барин, дальше поедем или здесь останетесь?» Офицер расплатился с ним и остался.

Как-то, значительно позднее, более чем через полвека, проезжая Тихие Горы на теплоходе, идущем из Уфы в Москву, я вышел на этой пристани и прошел в городок, называвшийся теперь Менделеевск. Когда-то там работал Менделеев, создавая бездымный порох. Ушков разрешил ему эту работу,

несмотря на то, что на других заводах Менделееву было отказано из-за боязни взрыва.

Директор завода хорошо принял меня, зная по фамилии. Мне показали заводской музей и свозили в Елабугу. Проходя по главной улице Елабуги, я увидел большой двухэтажный дом с рестораном на первом этаже и зримо представил себе сцену, разыгравшуюся здесь 60 лет тому назад. В Елабуге я сел на «ракету» и догнал наш теплоход на пристани в Чебоксарах.

С помощью Л.Я. Карпова отцу удалось наладить производство наркотического хлороформа. Помимо руководства этим цехом, он также заведовал лабораторией завода. Мы жили в одном доме с Карповыми почти одной семьей. Старший сын Карповых, Володя, был на шесть лет старше меня, младший, Юра — на год, то есть почти мой ровесник. На Володю мы смотрели снизу вверх. Он был старшим, мы брали с него пример и уважали больше, чем взрослых. Юра и я жили, в общем, дружно, хотя нередко и вздорили. В потасовках мне доставалось больше, он был старше и сильнее меня. Но вот однажды мне удалось побить его и довести до слез. Я был горд, чувствовал себя победителем.

Однако не тут-то было. Сердитая бабушка Софья заперла меня в пустой комнате, где я нашел только половую щетку. Надо сказать, что до этого меня никогда не наказывали, и я всегда чувствовал себя свободным человеком. Поэтому заключение в одиночку, тем более бабушкой, которую я мало знал и не любил, было воспринято мной как жестокое оскорбление, вытерпеть которое я не мог. Схватив щетку, я стал колотить ею по запертой двери, пока меня не выпустили. Помню, что на двери остались следы от моих ударов.

1917 год. Февральская, затем Октябрьская революция. В октябре мне исполнилось четыре года. Отец и его младший брат Яков (большевик) серьезно занимались политикой. Отец был даже избран членом Учредительного собрания. Яков добровольцем вступил в Красную Армию и погиб от рук эсеров в одном из продовольственных отрядов в Западной Сибири.

Вскоре после этих событий мы переехали в Москву: Волхонка, 14, первый этаж. Я очень хорошо помню этот адрес. Отец многократно повторял его мне, пока я не запомнил — я должен был назвать адрес, если потеряюсь. Над нами, на втором этаже, жила семья Пастернаков: художник Леонид Осипович, его жена, пианистка Розалия Исидоровна, и дети: начинающий поэт Борис, будущий архитектор Александр, дочери Жозефина и Лидия. Наша семья жила в одной большой комнате, разделенной шкафом. Окна выходили в сторону Москвы-реки. Справа был виден храм Христа Спасителя, прямо — памятник Александру Третьему.

С пятилетнего возраста воспоминания мои становятся более последовательными. В окно я видел, как толпа разрушала памятник Александру Третьему: набросив канаты, тянули за них и свалили памятник. Летом того же года на улице были слышны шум и отдельные выстрелы; отец закрыл форточку и велел мне отойти от окна. Много позже я узнал, что это было восстание левых эсеров. Мама часто уходила из дома, и я большей частью оставался с Лидой Пастернак, которая опекала меня, хотя была старше всего лет на десять.

Году в 1921 или 1922 старшие Пастернаки вместе с дочерьми эмигрировали в Германию, а сыновья, Борис и Александр, остались в Москве. В 1923 году отец взял меня в путешествие за границу, и мы посетили Пастернаков в Берлине. Когда в Германии произошел фашистский переворот, они уехали в Англию и обосновались в Оксфорде.

В 1969 году я побывал в Оксфорде, и Лида очень любезно приняла меня. Она жила в отдельном подъезде небольшого дома, и на каждом из четырех этажей у нее было по две-три комнаты. Две комнаты наверху она сдавала студентам. Во время нашего разговора вбежала ее дочь — студентка Оксфордского университета, что-то перекусила и убежала. Все комнаты в нижних этажах были увешаны картинами покойного Леонида Осиповича. Лида много занималась переводами, в особенности с русского на английский, в том числе стихов своего брата Бориса. Мы вместе навестили ее старшую сестру — Жоню (Жозефину), жившую в другом доме. Кстати, сын Жозефины, Александр, биохимик, рабо-

тал тогда в Оксфордском университете. Теперь он, кажется, в Лондоне.

Впоследствии Лида несколько раз приезжала в Москву, и я встречался с ней. Позднее я получил печальное известие о том, что Лида скончалась. Ее старшая сестра Жозефина пережила ее и умерла совсем недавно.

Я хорошо знал Бориса Пастернака и несколько меньше Александра. Еще до революции 1917 года Борис жил у нас — сначала во Всеволодо-Вильве на Урале (я уже упоминал об этом), а затем в Тихих Горах, на Бондюжском заводе близ Елабуги. Поскольку одна нога у него была короче другой (в детстве он неудачно упал с лошади), он не был мобилизован в начале войны, но по мере развития военных действий это уже перестало быть препятствием. Он выполнял какую-то конторскую работу на химических заводах, производивших военную продукцию. Это давало ему возможность избежать призыва в армию. Правда, он больше занимался стихосложением и часто играл на рояле. Должно быть, тихая, спокойная обстановка в глуши способствовала его творчеству.

В 1918 году, вскоре после восстания левых эсеров в нашу московскую квартиру пришли несколько человек в кожаных куртках. Вероятно, это произошло из-за того, что отец был ранее членом партии эсеров. Пришедшие грубо оттолкнули нас в сторону и долго рылись во всех вещах. Я пытался протестовать и плакал, когда они перерыли и разбросали мои любимые детские книжки. По-видимому, ничего предосудительного они не нашли, так как арестован отец не был и к ночи нас оставили в покое. Тем не менее вскоре нас выселили из большой комнаты на Волхонке, и мы переехали в маленькую — в Большом Николо-Воробьинском переулке.

Протекающий потолок в разводах от сырости, обшарпанные, выцветшие серо-голубые обои, прогнивший от влаги паркет, грубо сколоченный стол, старые железные кровати, ободранные стулья, трещины в дверях и оконных рамах. Между рамами вата и стаканы с серной кислотой, для поглощения влаги, что, однако, не спасало от постоянной сырости и холода. Когда начались проливные дожди, на полу образовывались лужи и вода доходила до щиколоток. В комнате

было холодно, и мы кутались в оставшиеся у нас теплые одежды.

С каждым днем становилось все хуже с продуктами. К концу 1918 — началу 1919 года питались только мороженой картошкой и грубым черным хлебом с соломой. Затем исчезло и это. Изредка отец откуда-то приносил одну конфетку.

Есть стало нечего. От взрослых, населявших наш дом, главным образом от тех, которые казались мне стариками, я слышал о том, как хорошо было в «доброе старое время». Целыми днями меня мучил голод и происходившая от этого слабость. Однажды на кухне я нашел что-то, показавшееся мне хлебом, быстро сунул в рот, съел и лишь потом понял, что это был кусок мыла.

Я не обращал внимания на одежду, было не до этого; главное — утолить голод. Ходили, конечно, в обносках; ботинки протекали, калош не было, одну-две пары носков бесконечно штопали, они снова рвались, и на пятках зияли дыры.

Вдобавок ко всему родители часто ссорились и во время ссор отправляли меня гулять. Я боялся гулять один и, будучи изгнанным, стоял у подъезда и дрожал в ожидании, когда меня впустят в дом.

Взрослые жаловались на трудности и говорили мне о том, какое счастливое время — безмятежное детство. А я не только не чувствовал этого, но до сих пор сознаю, что детство было для меня самым тяжелым и безотрадным периодом жизни. Отец уделял мне немало времени, он рассказывал мне сказки, нередко говорил со мной, но чем старше я становился, тем более чувствовал его давление на меня, ограничение моей самостоятельности, настойчивое стремление заставить меня все делать так, как он считает нужным.

Для матери я был, вероятно, одним из видов забавы и развлечения. Возможно, как многим женщинам, ей хотелось иметь девочку, и это выразилось в том, что она вырядила меня в шубку женского покроя. На улице меня часто принимали за девочку, что вызывало у меня чувство глубокой обиды. Я умолял маму не наряжать меня в «девочкину шубу», но она была неумолима. Отец куда-то надолго уезжал, и когда он приехал, я бросился к нему со слезами: «Папа, я не хочу хо-

дить в девочкиной шубе!» Кажется, это помогло, так как шубка вскоре исчезла.

Некоторую радость приносили мне игрушки, оставшиеся от богатой жизни во Всеволодо-Вильве и в Тихих Горах. Особенно я любил игрушечную железную дорогу и поезд. Но в один прекрасный день отец сказал мне, что я уже достаточно поиграл с железной дорогой и теперь ее надо подарить другому мальчику, что и было сделано. На самом деле эта игрушка и охотничье ружье отца были обменены на мешок муки, который помог нам выжить.

Положение улучшилось, когда начали поступать американские продукты, присылаемые «АРА». Понемногу появились американские консервы: вареное мясо, ветчина, паштеты, сгущенное молоко, удивительно вкусный кисленький клюквенный экстракт, который капали в чай и воду. А еще лучше стало с введением нэпа. В 1921—1922 году мы были в основном сыты.

В 1918 году отец, с помощью старых своих друзей, большевиков Льва Яковлевича Карпова и Петра Алексеевича Богданова, организует химическую лабораторию (впоследствии Физико-химический институт имени Л.Я.Карпова), а в 1921 году — Биохимический институт Наркомздрава РСФСР. Химическая лаборатория помещалась в переоборудованной квартире в Армянском переулке. Директором обоих учреждений стал Алексей Николаевич Бах, а его заместителем — мой отец. Мы переехали в хорошую квартиру в здании Биохимического института на Воронцовом поле.

Биохимический институт разместился в пожертвованном в 1915 году во время немецкого погрома под «научный институт» особняке Гуго Марка (что, вероятно, его и спасло), а соседний, сожженный во время этого погрома особняк Вогау, от которого остались лишь кладка первого этажа да кариатиды, стали восстанавливать для размещения в нем Химического института. Это было одно из первых зданий, построенных в Москве после революции. За обоими особняками простирались большие сады, спускавшиеся до самой Яузы, с фруктовыми и декоративными деревьями. В нижней части сада при

особняке Марка находился уже высохший к тому времени пруд. Рядом располагался особняк с садом, принадлежавший ранее третьему компаньону фирмы «Вогау и К°», Эдуарду Саломону. В одном из флигелей этого особняка, выходящего в Большой Николо-Воробьинский переулок, и находилась комнатка, в которой мы жили до переезда на Воронцово поле. Саломон был вначале управляющим фирмы, но затем женился на сестре Марка и стал компаньоном. Фирма была очень богатой; достаточно сказать, что ей принадлежал завод Гужона («Серп и молот»), а по Савеловской железной дороге до сих пор есть станция, сохранившая название «Марк».

Владельцы уехали за границу, но один из сыновей Гуго Марка, Максим, остался в России и вступил в партию. Он стал серьезным ученым, специалистом в области радио, порвал со своими родственниками и отказался от причитавшегося ему наследства. В 1937 году его арестовали, и он погиб в заточении или ссылке. К рассказу о нем я еще вернусь.

С переездом материальное положение нашей семьи значительно улучшилось, мы жили в трех хороших комнатах и стали нормально питаться. В особняке Марка осталась прежняя вышколенная прислуга. Нас обслуживала горничная Марков, Груша, которая любила и жалела меня.

Мама и папа звали меня Эликом. После мама объяснила мне, что меня называли Эольфом — по имени героя пьесы Генрика Ибсена. Все норвежское было тогда в моде, и это имя моим родителям, по-видимому, нравилось. Через много лет я прочел «Бедного Эольфа» Ибсена и никак не мог понять, почему мама дала мне имя несчастного мальчика, утонувшего на глазах родителей.

В 1921 году мне было уже семь лет и меня отдали в школу на Покровском бульваре. Эта бывшая гимназия помещалась напротив Покровских казарм. В школе меня звали Эрик, так же звала меня и Груша. Это меня очень задевало, так как я был патриотом и иностранное звучание имени было мне неприятно.

В этой школе я проучился всего 2—3 месяца. Причиной моего ухода стал нелепый случай. Как-то в классе все ученики хором запели «Интернационал». Я сроду не умел петь, не

знал, что такое «Интернационал», и поэтому молчал. Влетела молодая учительница и раздраженно закричала: «Перестаньте жидовские песни петь!» После ее ухода ученик Птицын, который был старше, больше и сильнее меня, спросил, почему я не пел. Я без всякой задней мысли повторил слова учительницы, что не хочу петь «жидовские песни», за что и был жестоко избит. Когда я пришел домой в синяках и с разбитым носом, родители стали допрашивать меня, из-за чего я подрался. Я, по скрытности своего характера, долго молчал, но потом все-таки спросил: «А что такое жидовские песни?» Удовлетворительного ответа я не получил, но из школы меня забрали.

Отец вообще считал, что в школе почти ничему не учат, и отдавал предпочтение домашнему образованию. У меня появилась своего рода бонна. Она проводила со мной бóльшую часть дня, аккуратно водила в церковь, где я исправно крестился, причащался и христосовался на Пасху, и учила французскому языку.

Поблизости было три церкви: белый храм Николы на Воробьиной, возвышавшийся рядом с особняком чешско-австрийского миллионера Крамаржа, красная церковь в Кривогузинском переулке, хорошо видимая с нашего балкона и оглашавшая местность колокольным звоном, и церковь Ильи Пророка в конце Воронцова поля у Садового кольца. В 30-х годах все три церкви были варварски разрушены. От первых двух не осталось и следа; у третьей сняли кресты и купола и переоборудовали ее под Музей восточных культур.

Посещение церковей носило чисто обрядовый характер, я ходил туда часто, но без энтузиазма. Настоящей веры у меня не было, тем более что мне ее не внушали в раннем детстве. Однако красочное убранство церковей, обряды, обычай нести свечи, украшать елку, праздновать Пасху, христосоваться увлекали меня; торжественная служба в церкви нравилась и создавала особое настроение, отвлекавшее от обыденности.

Как-то моя воспитательница завела со мной разговор о Боге и его всемогуществе. Я неосторожно признался, что в Бога не верю. Она тут же схватила меня за шиворот и объявила прохожим, что вот, мол, теперь какие мальчишки, и в Бога

не верят! И пообещала, что непременно пожалуется папе — я был в ужасе, предвидя его гнев. Мне казалось, что он будет беспощадным. Плача, я упрашивал бонну не говорить отцу, но она была неумолима.

Утром, перед тем как вывести меня на прогулку, — а отец уже оделся и собирался на работу, — бонна остановила его и заявила. «Борис Ильич, представьте, Эрик сказал мне, что он в Бога не верит!» Я побледнел и чуть не потерял сознание от страха. Реакция отца была неожиданной. «Видите ли, это личное дело каждого — хочет верит, хочет не верит». Все обошлось, я был спасен, но, несмотря на это, чувство леденящего ужаса перед страшным и неотвратимым наказанием было столь сильным и незабываемым, что до сих пор я ощущаю его.

Между тем отношения между папой и мамой все более обострялись. Они подолгу не разговаривали друг с другом, часто бранились в моем присутствии. Мои просьбы объяснить мне причины раздоров ни к чему не приводили. Я чувствовал себя несчастным и не знал куда деваться. Отец нередко отсутствовал и говорил, что ночует «в лаборатории». Повидимому, родители осознавали угнетающее влияние на меня их раздоров и фактического развода, и летом 1921 года я был отправлен с мамой в Крым, в Ялту. Крым был только что освобожден от войск Врангеля и, несмотря на разруху, привнесенную советской властью, сохранил все черты царской России.

Каким-то образом мать сняла комнату в верхней части Ялты — Аутке, у Марии Павловны Чеховой, в доме, где жил великий писатель. Электричества и керосина не было, и мы пользовались светильником, в который наливали масло и опускали фитиль. Мы прожили в этом доме несколько месяцев и уехали только в январе, когда даже в Крыму стал выпадать снег. Дом был запущен и заброшен, Мария Павловна жила в нем одна, из obsługi остался только верный татарин Абдулла, который, помню, приносил с гор вязанки хвороста — другого топлива не было. Еще не старая Мария Павловна казалась мне милой, кутающейся в платок старушкой с добрыми, спокойными чертами лица, напоминавшими порт-

реты Антона Павловича Она жила в нищете и жаловалась на большевиков, доведших ее до такого состояния

Черное море еще не было загажено, как теперь, и мама покупала в Ялте свежую кефаль и скумбрию В магазинах она находила камни и другие драгоценности, распродававшиеся по дешевке «бывшими» Мария Павловна показывала нам комнаты и кабинет Чехова, картины его брата-художника Николая и Левитана. Впоследствии она писала нам и приезжала к нам в Москву.

По-видимому, Мария Павловна продолжала жить в нищете, и моя мать всячески старалась помогать ей. Так, среди бумаг матери после ее смерти я обнаружил письмо Марии Павловны от 6 мая 1923 года, в котором она пишет:

«Дорогая и добрая Фанни Николаевна, посылаю Вам 13 квитанций и 2 расписки. Шесть фамилий я не могла разобрать, впишите их, пожалуйста, сами, прилагаю для этого Ваш список. Спасибо Вам за хлопоты! Это такая огромная поддержка, какой Вы себе и представить не можете! За апрель месяц по Крымской ставке Абдул получил только 145 руб., не говоря уже о Полиньке. Конечно, мне приходится изыскивать всякие способы, чтобы удержать их при доме. Ласки и обещания мало помогают. За Вашу существенную поддержку скажу Вам благодарность не я одна»...

Далее она пишет, как доехала из Москвы, и приглашает нас с матерью еще раз приехать отдыхать к ней. Из этого письма я заключаю, что мать организовала подписку в поддержку сестры и наследия великого русского писателя

Прекрасная природа Крыма зачаровывала меня. Впервые я увидел море, горы, покрывавшиеся снегом к осени, водопад вблизи дома, где мы жили, южные деревья и кустарники, олеандры, магнолии, буки и грабы, гальку на пляже

Как-то раз, гуляя по пляжу, увлеченный собиранием красивых, отполированных морем камешков, у домика, находившегося возле самого моря, почти на пляже, я увидел группу людей Когда я подошел ближе, мне открылось невиданное прежде зрелище на столе лежал труп молодой еще женщины

в белом. Лицо и руки ее были неожиданно желтые и бескровные. В семь лет я еще не мог представить себе, что такое смерть, и этот случай оставил во мне нестираемое впечатление

После возвращения в Москву меня отправили к маминной сестре тете Ите, на Малую Калужскую Тетя Ита работала врачом при заводе «Красный пролетарий» Жизнь у нее была тихая и спокойная, без эмоций Когда меня забрали от тетки, мама уже жила отдельно, и я остался у отца на Воронцовом поле, где был на попечении вышеупомянутой бонны и заботливой Груши Отца я видел редко, но когда выпадало время, он был внимателен и беседовал со мной.

1921 год. Зимой умер Лев Яковлевич Карпов; он долго болел, и московские знаменитости лечили его от малярии и всех возможных болезней, которых у него на самом деле не было. Правильный, но уже запоздалый диагноз поставил знаменитый Д.Д.Плетнев, сразу определивший сепсис с фокусом в сердце. В течение всей болезни Карпова отец был при нем и делал все возможное, чтобы спасти его. После смерти Л.Я.Карпова только что отстроенный Институт физической химии был назван его именем. Во флигеле, уцелевшем при погроме, поселилась семья Льва Яковлевича — его вдова Анна Самойловна и сыновья, Володя и Юра.

Пятиэтажное белое здание института с мезонином, из которого хорошо была видна Москва, так как дом расположен высоко, на холме, было украшено мраморными плитами с высказываниями Ломоносова: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие» и др. Прекрасный сад спускался до самой Яузы, и на этой большой территории, внизу, впоследствии была построена «полузаводская станция» Института, которую затем преобразовали в Институт азота.

По завершении строительства торжественно, с участием высокого начальства, отмечалось открытие Карповского института. Я, по малости лет, не присутствовал на этом торжестве, но хорошо запомнил празднество по случаю пятилетия института В актовом зале стояли столы с угощением и винами Присутствовали Рыков, Богданов, Максим Горький Вы-

пито было много. Среди восторженных речей и прекрасных пожеланий помню выступление сильно подвыпившего Горького. Пошатываясь, он предостерегал от вторжения «мужиков» в руководство. «Не пускайте мужиков, мужик конокраду глаза выкалывает», — вещал он. Еще помню, как остроумный Лев Яковлевич Брусиловский выступил со стихами:

Средь нас Алексея два.
Так пусть Алексей один
Доживет до другого седин,
А Алексей Бах
Надолго останется в рыковских рядах.

Ни то ни другое не сбылось. Сам Алексей Рыков был расстрелян через 12 лет, а «рыковские ряды» перестали существовать. Отец был близко знаком с Рыковым, по-видимому, через его жену — Нину Семеновну, и лето 1930 года мы провели на его даче в поселке Валуево. Он жил в деревянной даче на довольно большом участке, огороженном забором и охраняемом двумя охранниками. Условия были, конечно, неплохие, но ничего похожего на роскошь дач и домов членов Политбюро и даже просто номенклатурных работников в сталинские и постсталинские времена не было. Рядом находился дом отдыха, расположенный в большом каменном доме и прекрасном парке бывшего имения графа Мусина-Пушкина.

Алексей Иванович Рыков был всегда оживлен, остроумен, любил шутки и розыгрыши, охотно играл в городки и в крокет, с удовольствием косил сено, держался просто и доступно. Он, не стесняясь, поносил политику Сталина и квалифицировал ее как истребление нации, ведущее к вырождению.

Мне уже восьмой год, у меня есть друзья: Юра Карпов, с которым мы дружим с раннего детства; Алеша Богданов, сын Петра Алексеевича, часто приходит к нам или мы к нему; сын горничной Марков, Шурка Юдин; сын их садовника, Федя Цуриков. В марковском особняке осталась вся прислуга: колоритный дворник — Абросимыч, какой-то торжественный, обрамленный седыми усами и бородой; садовник Цуриков, кухарка, истопник Абдулла. Все они, в той или иной мере, на-

ходят работу в разместившемся здесь Биохимическом институте.

Два-три года, во время войны и революции, в особняке хозяев не было. Когда шли революционные бои, его использовали как базу юнкера; сад и небольшой дворик, выходящий на улицу, были завалены амуницией, пулеметными лентами и другими остатками сражений. Когда в саду (разумеется, при нашем активном участии) стали копать огород, то находили немало оружия — пистолеты, винтовки, патроны к ним. Оружие представляло для нас, мальчишек, исключительный интерес, мы его чистили, хранили и, когда не видели взрослые, стреляли в цель. Кроме того, у нас были мелкокалиберные винтовки, с помощью которых мы с детской безжалостностью уничтожали в саду воробьев и ворон.

С большим пиететом мы с друзьями наведывались к двоюродным братьям Карповых — Тёме и Боре Шлихтерам, комсомольцам в возрасте 17—18 лет, в бывшую гостиницу «Метрополь». Тёма и Боря показывали нам настоящее современное боевое оружие и демонстрировали следы пуль на соседнем доме, которые, как они говорили, остались от их выстрелов.

Сравнительно невинное оружие применяли мы для боев между собой. Для этого использовались дроты (стеклянные трубки, которые мы доставали в стеклодувной мастерской института). Края их мы оплавливали, в магазине покупали горох, который набирали в рот и, дуя в трубку, стреляли им, как из пулемета. Дальность полета достигала 30—40 метров, и оружие было довольно действенным. Помимо этого, использовали тонкую листовую резину, которую также доставали в институте. Резину натягивали на водопроводный кран, пускали воду и завязывали у самого крана. Получавшиеся шары из тонкой резины, наполненные водой, бросали друг в друга. Шары лопались, и противник оказывался мокрым с ног до головы.

Будучи не лишенным конструкторской сметки, я изобрел более серьезное оружие. Покупались игрушки — «Ваньки-встаньки». В свинцовое основание вбивался гвоздь, его шляпка спиливалась и заострялась с помощью напильника.

В голове «Ваньки» делался крестообразный надрез, в который вставлялись картонные пластинки. Теперь «Ваньку-встаньку» можно было бросать, как камень: в полете, благодаря направляющему оперению, он летел гвоздем вперед и вонзался в доску на несколько сантиметров. Нечего и говорить о том, что двери и стены у нас и у Карповых были испещрены следами от гвоздей и от пуль.

Голова моя кишела конструкторскими идеями; мысленно я постоянно изобретал летательные аппараты, аэросани, мчавшиеся по снежному простору, лодки, приводимые в движение пропеллером. Главным была бешеная скорость, быстрая смена ландшафта, появление новых пейзажей. Меня одолевала страсть к путешествиям, не столько к тому, чтобы видеть новые места, как к самому движению. Когда я думал о будущем, я мечтал о профессии, связанной с дорогой, и если меня спрашивали, кем я хочу быть, я отвечал, что машинистом — работаешь и путешествуешь. Став постарше, я строил модели самолетов — пропеллеры их вращались силой скрученной резины, и я торжествовал, когда они летали на десятки саженей.

Как я уже отмечал, отец считал, что в школе учат плохо, и предпочитал домашнее воспитание. Это убеждение, по-видимому, особенно укрепилось в нем после того, как меня жестоко побили в школе на Покровском бульваре. На первых порах меня учили одна из дочерей Баха и Евгения Александровна Хераскова, сотрудница Физико-химического института им. Л.Я.Карпова. Первая учила меня русскому языку и литературе, вторая — арифметике и физике. Кроме того, они следили за моими манерами. Отец редко вмешивался в мое воспитание, но, обнаружив лень и невниманье, бывал строг, суров, настойчив и нередко наказывал меня, хотя никогда не применял физического воздействия.

В эти периоды, длившиеся годами, я жестоко страдал от одиночества, целыми днями тоскуя и сидя дома. Только вечерами я мог встречаться со своими друзьями, которые все учились в школе. Я мучился из-за отсутствия общества. Характер мой от этого портился, и я становился все более нелюдимым и устремленным в себя. Думаю, что этот фактор — об-

щество себе подобных — очень важен для формирования характера и личности и, может быть, еще важнее начального образования.

Приблизительно в это время, в возрасте восьми-девяти лет, я впервые осознал, что жизнь моя не вечна и все мы обречены на смерть. Мысли о бренности бытия доминировали в моем мозгу длительное время, и я никак не мог примириться с тем, что когда-нибудь умру, что придет время, когда меня не будет, и всё, что я чувствую и думаю, прекратится. В самом раннем детстве этого как бы не существовало, но теперь подобные мысли были неотступны и меня мучил страх смерти. Представить себе конец было трудно и ужасно, я вспоминал виденный мной в Крыму труп, и мне невыносимо было думать, что таким же когда-нибудь буду и я.

Редкие встречи с матерью и напряженные отношения между родителями усугубляли мои мрачные мысли, и несмотря на то, что мы жили в материальном достатке и голод был уже позади, я чувствовал себя одиноким, угнетенным и подавленным. Наконец, вняв моим мольбам, отец отдал меня в школу, в тот же класс, где учился Юра Карпов. Это была 5-я Опытно-показательная школа имени М.И.Калинина. Находилась она на Знаменке, на углу Крестовоздвиженского переулка, почти напротив нынешнего Министерства обороны. Каждый день мы с Юрой Карповым ездили туда и обратно на трамвае «А», причем у нас был излюбленный вагон — № 457, и мы нередко пропускали несколько вагонов, пока не придет наш любимый 457-й. В школе я успевал по всем предметам, особенно по французскому языку, который учил и раньше, но совершенно не переносил уроков пения. Дело в том, что я, по-видимому, фальшивил, а молодой и вдохновенный учитель ненавидел меня и считал, что я нарочно саботирую уроки. Он никак не мог понять, что я искренне старался.

В школе мы, естественно, были пионерами. Идеологическое воспитание только появлялось, но мы, конечно, были за советскую власть, готовились защищать молодую советскую республику и весело распевали: «Раз, два, три, мы большевики, мы фашистов не боимся, пойдем на штыки. . мы Керзону лорду — в морду» и т п

В Москве тогда еще существовали и продолжали свою деятельность отряды бойскаутов — «пережитки проклятого прошлого». После занятий, а иногда и перед ними, между пионерами и скаутами происходили сражения, с переменным успехом.

В этой школе я проучился года два, то есть окончил первую ступень, как тогда называли начальное образование.

Отец уехал в Германию на несколько месяцев — закупать оборудование для Биохимического и Карповского институтов. С ним уехал заместитель директора по хозяйственной части — Иван Эдуардович Саломон. Иван (Ганс) Эдуардович был сыном компаньона фирмы Вогау, женившегося на сестре Марка, и, таким образом, приходился племянником Гуго Марку. Во время Первой мировой войны он был в армии, а затем остался в Москве и жил во флигеле особняка Марка. Он не успел получить высшего образования, но воспитывался в богатой интеллигентной семье, знал в совершенстве несколько иностранных языков, а немецкий, наряду с русским, был его родным языком.

В Берлине, во время поездки за границу, Иван Эдуардович познакомился с молодой эмигранткой из России Ефросиньей Ивановной Бостанжогло, на которой он незамедлительно женился и привез ее в Москву. Она была дочерью известных в Москве чаеоторговцев греческого происхождения. Сама она, правда, уверяла, что настоящим ее отцом был управляющий фирмы, русский. Фросе было семнадцать лет, она гуляла со мной, водила в церковь и учила курить.

Институтская жизнь протекала на моих глазах. Среди сотрудников Института были Владимир Александрович Энгельгардт, Александр Евсеевич Браунштейн, Зинаида Виссарионовна Ермольева, Варвара Андреевна Северина (жена Сергея Евгеньевича Северина, о котором я еще расскажу).

Владимира Александровича Энгельгардта я помню совсем молодым человеком, когда он, вернувшись из Красной Армии, с Гражданской войны, пришел в Биохимический институт. Он был сдержан и немногословен; казалось, он постоянно сосредоточен на научных мыслях и отвлечен от окружающего. Вместе с тем, он был неизменно приветлив и вежлив.

Во всем его поведении было нечто аристократическое, и в Институте он получил прозвище Барон. Не уверен, что это соответствовало действительности, хотя известен род баронов Энгельгардтов. Тем не менее, несмотря на то, что во время гражданской войны он сражался на стороне большевиков, его лишили избирательных прав как «бывшего», и он оказался «лишенцем».

Он был всегда аккуратен и дисциплинирован, увлекался походами в горы. Уже тогда, в самом начале своей научной деятельности, он выделялся среди сотрудников Института своей работоспособностью и целеустремленностью.

Впоследствии мне приходилось неоднократно встречаться с В. А. Энгельгардтом и наблюдать его успехи в науке.

Живя в здании Биохимического института, я свободно бегал по всем помещениям, по лестницам, подвалу и чердаку — нередко в обществе Юры Карпова и других школьных товарищей. Мы играли в прятки, съезжали с перил парадной лестницы особняка, сваливаясь на большой диван, стоявший в вестибюле первого этажа.

Конечно, в те годы наши детские интересы были от науки весьма далеки — нас больше увлекали шалости и развлечения. Стекланные трубки и другие материалы служили нам для вышеописанных проказ, а химические реактивы — для импровизированных фейерверков и взрывов, которые мы быстро научились производить с помощью бертолетовой соли, сахара, фосфора и других веществ.

В Институте на каждом этаже были развешаны огнетушители, но когда на чердаке начался пожар, они не сработали в руках научных работников. Я, конечно, немедленно полез на чердак — наблюдать необычное зрелище. Вызвали пожарную команду, которая вскоре затушила возгорание. Один пожарный начал насмехаться над «ничего не умеющими» учеными, которые не смогли воспользоваться огнетушителями. Он схватил огнетушитель и со всей силы ударил его рычагом об пол. По инструкции при этом внутри должен разбиться патрон с серной кислотой, которая взаимодействует с содой, и под напором выделяющегося углекислого газа из отверстия на противоположной стороне огнетушителя должна стреми-

тельно литься струя воды. Однако огнетушитель треснул у основания и вместо воды из него фонтаном полилась струя серной кислоты. Так как я стоял поблизости, струя устремилась на меня и, хотя я успел отскочить, костюмчик на мне тут же разлезся в клочья, на лбу появились черные пятна, а капля, попавшая в глаз, оставила на всю жизнь маленькое бельмо. В течение целого месяца меня с завязанным глазом водили к окулисту, пока не удалось устранить последствия моего любопытства.

Во дворе особняка Марка жил некий Илья Ильич Ильин. К сожалению, я ничего не знаю о нем, кроме того, что он работал на аэродроме. Благодаря ему я в восьмилетнем возрасте впервые поднялся на аэроплане. Аэродром размещался на Ходынке; там стояло несколько самолетов, среди которых выделялся русский самолет «Илья Муромец», сконструированный Сикорским, тогда самый большой аэроплан в мире. Меня подняли на 250 метров над землей на двухместном «Фармане». Я сидел позади летчика в открытой кабине и не мог разобрать его слов из-за страшного шума пропеллера. Хорошо помню, как меня поразили маленькие люди и лошадки на земле. Мало кто в то время (1921 год) поднимался на самолете, да еще в моем возрасте.

Когда мы жили на Воронцовом поле, во дворе у нас была собака. Тогда модно было называть собак именами ненавистных буржуазных лидеров. Соседскую собаку звали Керзон, нашу — Барту, по имени французского премьер-министра. Барту был небольшой собачкой и охотно откликался на свое имя. Как-то в институт приехали французские ученые, и во время их посещения кто-то в саду громко позвал: «Барту, Барту!» Услышав фамилию своего премьера, французы встrepенулись и спросили, как же зовут собаку. Положение было не из легких, но им сказали, что собаку зовут Бартун и это случайное созвучие.

После третьего или четвертого класса отец снова забрал меня из школы и перевел на домашнее воспитание. Математике меня снова учила Хераскова, русскому языку и литературе — Ира Бах. И еще появилась учительница немецкого языка, который отец считал самым важным. Помнится, я мало

усваивал, много бездельничал и неохотно готовил, а то и вообще не готовил уроки, что мне легко сходило, так как учительницы мои не отличались требовательностью. Это, конечно, было плохо, поскольку я привык к тому, что уроки можно и не готовить. Однажды отец решил проверить мои знания и спросил урок по арифметике. Я его, естественно, не знал и получил страшный нагоняй. Однако это было только раз и не возымело действия.

1924 год Голод. Гражданская война уже позади, но на улицах остается множество беспризорников. Несчастные дети, главным образом сироты, кутаются в лохмотья, греются у котлов с растопленным асфальтом, пробавляются воровством, попрошайничеством и вымогательством. Нередко нападают группами на прохожих, в основном на женщин, и вырывают сумочки, угрожая тем, что укусят, а они якобы больны сифилисом. Иногда наносят удары, режут бритвой, зажатой между пальцев; связываться с ними опасно, и я стараюсь их избегать.

Направляясь к моей новой учительнице литературы — Наталье Ильиничне Игнатовой, внучке того самого Игнатова, который был членом группы «Освобождение труда», я предпочитал ходить пешком, сэкономив 8 копеек, которые мне давали на проезд в трамвае, и покупал шоколадку «Пралине» за 10 копеек.

Находясь дома один, я продолжал скучать, дичать и чувствовать себя покинутым и одиноким. Я многократно просил отца отдать меня в школу. Наконец мои мольбы вновь были услышаны, и я опять оказался в одной школе с Юрой Карповым. Только теперь это была другая школа, считавшаяся современной, новаторской и революционной. Называлась она Московская опытно-показательная школа-коммуна Наркомпроса имени П.Н. Лепешинского или сокращенно МОПШК; учеников школы прозвали мопсами.

Лето 1924 года мы провели у Богдановых, которые жили в сохранившемся барском доме, близ совхоза «Бесово» недалеко от Каширы. Там я проводил время в обществе своих друзей: Юры Карпова, Алеши и Гари Богдановых. Возле дома росли яблони и кусты смородины, старый парк спускался к

берегам Оки, окрестности были испещрены оврагами, далее шли огороды совхоза, где мы по вечерам таскали репу, брюкву и морковь. По странному совпадению, именно в этом месте через много лет расположилась биологическая станция нашего Института биологии развития, где я начал работать в 1956 году. Посетив эту станцию, я узнал места, связанные со счастливыми воспоминаниями моего детства. Тогда, предоставленные самим себе, мы целыми днями бегали по окрестностям, купались в Оке, собирали ягоды и грибы и воображали себя первопроходцами неизведанных дебрей. Я составил неплохую коллекцию бабочек Европы, пользуясь подаренным мне атласом под таким же названием.

К обеду каждому из детей супруга Петра Алексеевича Богданова, Александра Климентьевна, выдавала по одной конфете и, хотя за день мы успевали съесть десятки яблок, это лакомство было особенно ценным и желанным. Изредка приезжал мой отец и гулял с нами по лесам и лугам. Хорошо помню, как мы сопровождали его в прогулках с охотничьим ружьем, из которого он стрелял по дроздам.

Старый большевик П.А.Богданов выглядел благообразным и был удивительно похож лицом на императора Николая Второго. Он занимал видный государственный пост председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР и заместителя председателя (которым, по совместительству с ОГПУ, был Ф.Э.Дзержинский) ВСНХ СССР. Однажды с Богдановым произошел курьезный случай: инспектируя какой-то завод, он увидел поставленный на видном месте бюст Николая Второго, возмутился и потребовал немедленно убрать его. Оказалось, однако, что администрация завода из подхалимства водрузила там бюст... самого П.А.Богданова!

Петр Алексеевич был, по-видимому, близок к моему отцу, помогал ему в жизни, а некоторое время, еще до революции, отец жил в квартире Богдановых. После ареста и исчезновения Петра Алексеевича в 1937 году (он не избежал участи почти всех старых большевиков) отец помогал, нередко с опасностью для себя, его семье. Так, когда в 1985 году мы отмечали столетие со дня рождения отца, на заседании, посвященном его памяти, выступил уже пожилой Алеша Богданов и с

благодарностью вспоминал, как в тот тяжелый для них период мой отец поместил Александру Климентьевну в больницу под чужим именем, спасая ее от голода и преследований.

В 1926 году мы с мамой совершаем путешествие по Кавказу. Тифлис, поразивший меня своеобразными домиками, гнездившимися по берегу Куры, турецкие бани, пахнущие сероводородом, горы, обрамляющие долину реки. Из Тифлиса едем на море, где устраиваемся в Новом Афоне, в келье бывшего монастыря. Еще сохранились яблоневые и персиковые сады, красивое озеро у плотины местной электростанции. Прошло всего около двух лет после подавления меньшевистского грузинского восстания, на возвышенностях стоят пушки и повсюду видны следы недавних боев.

Я рано, в возрасте пяти-шести лет, научился читать. Первые мои книги — красочный альбом, называвшийся «Наши друзья — англичане», и «Крокодил» Чуковского. В альбоме были помещены изображения английских военных кораблей и хвалебные описания «царицы морей» — нашей союзницы в Первой мировой войне. Первые детские впечатления — безусловно самые сильные и оставляют в нас глубокий след на всю жизнь. Наверное, поэтому я сохранил особый пиетет и любовь к Англии, которая казалась мне самым культурным и прекрасным иностранным государством. Как-то в голодном 1919 году, у Карповых, нам предложили какао — необыкновенную по тем временам редкость и деликатес. Естественно, все гадали — откуда какао? Кто-то предположил, что его, наверное, отобрали у англичан в Архангельске. Услышав это, я отказался притронуться к напитку, несмотря на то, что мне очень хотелось.

Вместе с тем мое воспитание, жизнь на Урале и на Каме, а затем в Москве, всеобщий патриотизм во время Первой мировой войны привили мне с детства любовь к России. Несмотря на революцию и провозглашавшийся интернационализм, я чувствовал себя русским патриотом, и начавшееся после революции преследование и осуждение всего исконно русского меня глубоко задевало и оскорбляло. Несмотря на преследование религии и сложившихся обычаев, до тех пор пока это не грозило жестокими репрессиями, у нас всегда

была елка на Рождество и кулич и пасха на праздник Пасхи. Меня исправно водили в церковь, и я чувствовал себя принадлежащим к русской нации.

Конечно, теперь я понимаю, что меня должны были бы смущать нерусские имена некоторых родственников, но тогда я этого как-то не замечал. Однажды, когда мне уже было лет тринадцать-четырнадцать, одна родственница принесла мацу, и мне сказали, что это «еврейская пасха». Маца оказалась невкусной, и я сразу сделал вывод, что русская пасха лучше еврейской. То ли в связи с этим, то ли по какому-то другому поводу, возник разговор о евреях, и я спросил у отца, кто такие евреи, тем более, что слышал что-то нелицеприятное о «еврейских комиссарах». Отец объяснил мне, что евреи — это древний народ, и прибавил, что вот мы евреи. Последнее меня шокировало. Я всегда думал, что я русский. Мне было странно, неприятно и непонятно, почему я должен считать себя евреем. Так я и сказал отцу. Отец ответил, что я могу считать себя русским и что это вообще не имеет значения. Однако впоследствии оказалось, что вопрос этот не так прост.

Примерно через год после упомянутого разговора отец вернулся из заграничной поездки и со свойственным ему увлечением стал рассказывать, какую умную, способную и образованную сотрудницу он нашел в Германии. Ее звали Евгения Борисовна. Вскоре она приехала в Москву, поселилась во флигеле Биохимического института и была принята в институт в качестве старшего ассистента. По-видимому, такой должности она не соответствовала, что вызвало в институте большое недовольство и неприятности для отца, испортив его отношения с А.Н.Бахом.

Месяца через два отец сказал мне, что собирается жениться на Евгении Борисовне, и спросил, нравится ли она мне. Она мне не нравилась, но я любил отца, а он сообщил мне, что любит ее. И потому я ответил, что хочу, чтобы ему было лучше, и не имею ничего против, чтобы он на ней женился. К сожалению, его новая жена оказалась злой, истеричной и жадной женщиной, в ней как бы были воплощены все отрицательные черты, которые приписывают евреям. Вместе с тем

она постоянно подчеркивала свою неприязнь ко всему русскому и вспоминала свое эмигрантское прошлое. Она уволила Грушу и взяла в прислуги противную еврейку, которая меня не кормила и внесла в дом какую-то чуждую и неприятную атмосферу. Эта атмосфера и эти обстоятельства вызвали у меня не только отвращение к злой мачехе, но и отрицательное отношение к евреям вообще, поскольку эта нация для меня олицетворялась в ней. Лишь много позже я понял, что у всякого народа есть хорошие и плохие люди, и с трудом избавился от таких взглядов.

В доме началась совсем иная, тяжелая, жизнь. Меня плохо кормили или не кормили вообще. Пища стала какой-то непривычной и невкусной, я постоянно выслушивал колкие замечания мачехи... В конце концов я переехал к матери, в коммуналку на Арбате, где проживало двадцать человек.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНИНА

Однажды, в январе 1924 года, я застал отца в компании нескольких знакомых за оживленным разговором. Умер Ленин. Помню, обсуждали, как воспримут это известие во всем мире, спорили, был ли Ленин человеком принципа или, скорее, человеком идеи.

Я не знал, да, вероятно, и большинство людей не представляло себе, как серьезно уже несколько лет был болен Ленин. Почти полностью парализованный, он потерял способность говорить, нередко приходил в возбужденное состояние. Определить эту болезнь врачи затруднялись и не были едины в диагнозе. Один из постоянно дежуривших при Ленине врачей записал в дневнике: «Странная болезнь, не могу понять, что это».

Еще в 1921 году Ленин жалуется на головные боли, снижение работоспособности, утомляемость, он мечется между Горками и Кремлем, председательствует и выступает на заседаниях, но болезнь не оставляет его и прогрессирует. Принимаются все меры для его лечения. Несмотря на развал экономики страны, из-за границы выписывают знаменитых профессоров, светила медицины. Вместе с лучшими отечественными медиками они бьются над диагнозом и не могут его установить.

Болезнь развивается, появляются тяжелые приступы, немеют руки и ноги, временами больной приходит в необъяснимое возбуждение, кричит, машет руками. Тем не менее в периоды ремиссий Ленин продолжает государственную деятельность, председательствует на заседаниях Совнаркома, активно участвует в работе ЦИК СССР, партийных съездов, а 13 ноября 1922 года даже выступает с докладом на немецком языке на конгрессе Коминтерна.

К концу года состояние его заметно ухудшается, он теряет способность говорить, вместо членораздельной речи издает какие-то неясные звуки. После некоторого облегчения, в феврале 1923 года, наступает полный паралич правой руки и ноги, из уст больного раздается мычание или бессвязные слова; взгляд, прежде пронизательный, становится невыразительным и оупевшим. Приглашенные из-за границы за большие деньги немецкие врачи Фёрстер, Клемперер, Нонне, Минковский и русские профессора Осипов, Кожевников, Крамер снова в полной растерянности.

На фотографии, сделанной в Горках сестрой Ленина Марией Ильиничной, мы видим похудевшего человека с диким лицом и безумными глазами. Таким был Ленин за полгода до смерти. Он не может говорить, ночью и днем его мучают кошмары; временами он кричит, размахивая руками, ему кажется, что немецкие врачи, Фёрстер и Клемперер, — его враги; придя в возбуждение, он грозит Фёрстеру кулаками.

Корни его болезни можно отнести еще к 1918 году. 30 августа, после выступления Ленина на заводе Михельсона в Москве, в него стреляет эсерка Фанни Каплан, тяжело ранив его двумя пулями, смазанными ядом кураре. Так как помимо браунинга, отобранного у Каплан при ее аресте на трамвайной остановке, на месте преступления был найден еще один, предполагается, что стреляла не она или не только она. Каплан была расстреляна комендантом Кремля без суда, последовали массовые репрессии, главным образом против бывших эсеров.

Ленин был ранен тяжело. Одна пуля раздробила левую плечевую кость и рикошетом застряла в левой дельтовидной мышце. Другая оказалась более опасной, она отколола часть левой лопатки, поранила верхушку левого легкого и остановилась вблизи правого грудинно-ключичного сочленения, пройдя в непосредственной близости от жизненно важных артерий. Врачи полагают, что костные мозоли, обнаруженные при вскрытии, развились под ее влиянием и вызвали преждевременный склероз сонной артерии, проявившийся через три года. Что же касается яда, то он, по всей видимости, не подействовал.

В феврале 1921 года большевики жестоко подавляют бунт моряков, выступивших в Кронштадте под лозунгом «советская власть без коммунистов». Экспроприация хлеба вызывает повсеместные крестьянские волнения, подавление восстания крестьян в Тамбовской губернии стоило сотни тысяч жертв. Голод, разруха, обнищание и недовольство народа угрожают крахом революции и советской власти.

Поняв безнадежность военного коммунизма, 15 марта 1921 года на X съезде партии Ленин провозглашает новую экономическую политику (нэп), заменив продразверстку (экспроприацию хлеба у крестьян) продналогом и разрешив частную собственность. Несомненно, эти события требовали сверхчеловеческого напряжения и подорвали здоровье вождя революции. Именно в этот период появляются первые симптомы болезни Ленина, головные боли, бессонница, онемение конечностей.

С 16 декабря припадки происходят ежедневно, и 24 декабря врачи Кожевников, Крамер и Осипов на приеме у Сталина, Каменева и Бухарина рекомендуют полное запрещение каких-либо посещений и любой информации о политической жизни; больному оставляют лишь право диктовать стенографистке не более 5 — 10 минут в день.

Это решение было на руку Сталину, стремившемуся изолировать Ленина, с которым его отношения складывались не лучшим образом, тем более что Ленин предостерегал партию от сосредоточения в руках грубого и капризного Сталина чрезмерной власти на посту генерального секретаря ЦК.

В это время Сталин оскорбил по телефону Крупскую, пригрозив ей разбирательством в ЦКК ее разговоров с Лениным, которому она якобы сообщала то, что было запрещено врачами. В ответ на ее замечание, что она жена Владимира Ильича и лучше знает, что и когда можно ему говорить, Сталин позволил себе заявить, что партии известна другая жена, имея в виду Инессу Арманд. Когда Ленину стало лучше, он, узнав об этом разговоре от Крупской, возмущился и прервал всякие отношения со Сталиным.

Уже фактически отстраненный от власти, Ленин беспокоится о развитии событий. В его письме к съезду партии, напи-

санном в декабре 1922 года и более известном как «завещание Ленина», говорится о противостоянии Сталина и Троцкого в борьбе за руководство партией и государством. Характеризуя каждого из них, Ленин пишет, что Сталин, сосредоточив в своих руках огромную власть как секретарь ЦК партии, вряд ли сможет разумно пользоваться этой властью. Троцкого он характеризует как человека выдающихся способностей, но с большим самомнением, как бывшего меньшевика, мечущегося в разные стороны и стремящегося к чрезмерному администрированию. Через несколько дней, 4 января 1923 года, Ленин добавляет, что Сталин слишком груб и этот недостаток, терпимый в общении коммунистов, невыносим на посту генерального секретаря, вследствие чего необходимо подумать о замене его на этом посту.

Однако уже слишком поздно. Опираясь на решение врачей, Сталин сделал всё, чтобы изолировать Ленина. К тому же 10 марта новый приступ почти лишает больного дара речи. Порывы его бессмысленны, он раздражается по всякому поводу. Лишь благодаря заботам и терпению жены, его состояние к лету 1923 года несколько улучшается. В августе он способен повторять около 350 слов. Временами его возят на прогулки и даже на охоту. В последний раз, 18 октября 1923 года, он совершает поездку в Москву. Урывками пишет или диктует статьи и заметки.

Врачи ломают голову над диагнозом. Отравление свинцом вследствие покушения 30 августа 1918 года — маловероятно, переутомление и атеросклероз — не очень похоже; более всего болезнь напоминает прогрессивный паралич вследствие сифилиса. Действительно, проводимое лечение — препараты мышьяка, ртути, неосальварсан, рекомендованный знаменитым Бехтеревым, направлены на лечение этой болезни по методам того времени. Однако во всех протоколах истории болезни диагноз неясен, всякие намеки на сифилис отвергаются — как же можно потворствовать гнусным измышлениям эмигрантских писателей Бунина и Шульгина и порочить имя великого вождя мирового пролетариата!

После смерти и вскрытия тела будет сделано специальное заключение, подписанное русскими врачами Осиповым,

Фельдбергом, Крамером, Кожевниковым и Гетье и немецким профессором Фёрстером. Все они, или почти все, — крупнейшие специалисты по сифилису. В заключении говорится: «В виду циркулирования слухов в России и за границей о специфическом характере заболевания покойного В.И. Ульянова (Ленина) врачи, пользовавшие покойного, заявляют, что никаких указаний на люэс (сифилис) нет ни в его анамнезе, ни в результатах исследования крови и черепно-мозговой жидкости, ни в данных произведенного вскрытия тела».

На фоне некоторого облегчения 21 января 1924 года Ленин чувствует общее недомогание, вялость. Он показывает на свои глаза, но известный офтальмолог, профессор Авербах, не находит каких-либо отклонений от нормы. Осмотревшие его после обеда профессора Фёрстер и Осипов не обнаруживают никаких тревожных симптомов. Однако около 6 часов вечера состояние больного резко ухудшается, появляются судороги, учащенное дыхание достигает 36 в минуту, пульс 120 — 130. Около половины седьмого температура поднимается до 42,5°C.

В 18 часов 50 минут лицо больного делается багровым, затем дыхание прекращается, голова откидывается назад, а лицо становится мертвенно-бледным. Присутствующие врачи констатируют смерть. Заключение о летальном исходе подписано Фёрстером, Осиповым, Елистратовым, Крамером, Кожевниковым и Гетье. Клинический диагноз: смерть наступила от паралича дыхания и сердца в результате кровоизлияния в мозг на фоне общего атеросклероза.

Утром 22 января известный патологоанатом, профессор Абрикосов, производит вскрытие тела в присутствии Фёрстера, Осипова, Гетье, Елистратова и приехавших Дешина, Вейсброта, Бунака, Розанова, Обуха и наркома здравоохранения Семашко. Следует детальное описание состояния тела и внутренних органов. Патологоанатомический диагноз: распространенный атеросклероз с резко выраженным поражением артерий головного мозга, атеросклероз нисходящей части аорты, гипертрофия левого желудочка сердца, множественные очаги размягчения в левом полушарии мозга, свежее кровоизлияние в сосудистое сплетение мозга над четверохолмием.

Ленин умер Началась новая эпоха.

Глава 3

ПРЕДЫСТОРИЯ МАВЗОЛЕЯ

Смерть Ленина обнажила в верхушке правления партии и государства разногласия, подоплекой которых была борьба за руководство и взаимная неприязнь. С одной стороны, Троцкий, имевший репутацию ближайшего сподвижника Ленина, с другой — Сталин, захвативший огромную власть в качестве генерального секретаря Центрального комитета РКП(б). Ленин был председателем Совнаркома, и при нем партия еще не заняла главенствующего положения над государством, лишь впоследствии Сталин сумел устранить и физически уничтожить всех своих конкурентов и захватить неограниченную власть.

Все сходились в стремлении возвеличить имя Ленина, сделав из него своего рода предмет поклонения. Это обожествление, или культ личности Ленина, вызывалось не столько искренним почитанием его, сколько стремлением (особенно у Сталина) укрепить фундамент собственной власти, ведь поклонение богу распространяется и на священнослужителей.

Во время болезни Ленина Сталин с сатанинской хитростью больше всех проявлял заботу о его здоровье, и в то же время, как мы знаем, прилагал все усилия для изоляции Ленина от государственных дел, выведав у врачей мрачный прогноз его болезни. В своей книге «Моя жизнь» Троцкий пишет, что недаром именно Сталина Ленин просил дать ему яд, отлично понимая, что только Сталин — и никто другой из его сподвижников — способен выполнить такую просьбу.

И В Валентинов-Вольский, некогда очень близкий Ленину социал-демократ, затем меньшевик, а при советской власти один из руководителей ВСНХ, эмигрировавший впоследствии в США, пишет в своей книге «Новая экономическая

политика и кризис партии после смерти Ленина», что Сталин первый понял, что «Ленину капут», и в соответствии с этим планировал свои действия По свидетельству этого автора, во время последней поездки в Москву, 18 — 19 октября 1923 года, Ленин долго искал в своем кабинете какую-то бумагу, порочившую Сталина Не найдя бумаги, которая, по-видимому, была выкрадена Сталиным или по его поручению, Ленин, не допуская, чтобы в его записях рылся кто бы то ни было, даже Крупская, возмутился и разволновался После этой поездки болезнь его резко обострилась

Далее Валентинов-Вольский пишет, что именно вскоре после этого, в связи с угрожающим ухудшением здоровья вождя, состоялось совещание шести членов Политбюро Сталина, Троцкого, Каменева, Рыкова, Бухарина и Калинина Совещание не протоколировалось и скорее было неофициальной беседой Сталин сообщил, что им получены сведения о резком ухудшении состояния Владимира Ильича и нужно быть готовыми к самому печальному исходу Калинин сказал, что нужно обдумать все, относящееся к похоронам Ленина, похороны должны быть такими величественными, каких мир еще не видывал

Сталин, поддержав Калинина, отметил, что необходимо все обсудить заранее, чтобы в часы великой скорби не было никакой растерянности Он добавил, что этот вопрос очень волнует некоторых товарищей в провинции Подчеркивая, что Ленин — *русский человек и, соответственно, должен быть похоронен по-русски*, они высказались против кремации, которая оскорбит его память По их мнению, *современная наука может с помощью бальзамирования надолго сохранить тело усопшего*, во всяком случае, достаточно долго, чтобы позволить нашему сознанию привыкнуть к мысли, что Ленина среди нас уже нет

Троцкий резко парировал, что хотел бы знать, кто эти «товарищи из провинции», которые, по словам Сталина, предлагают бальзамировать останки Ленина и сделать из них мощи, заменив ими мощи Сергия Радонежского или Серафима Саровского Все это не имеет ничего общего с марксизмом В том же духе высказался и Бухарин, отметив, что превраще-

ние останков Ленина в мумию было бы оскорбительно для его памяти и никак не вяжется с материалистическим, диалектическим мировоззрением Каменев также высказался против бальзамирования, сказав, что видит в этом отголосок того «поповства», которое бичевал Ленин в своих философских произведениях. Позиция Рыкова была не совсем ясна, но он все же подчеркнул, что хоронить Ленина следует как-то по-особому и, во всяком случае, вне братского кладбища.

Тем не менее руководство партии принимает решение сохранить тело Ленина, и в «Правде» от 26 января 1924 года появляется постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР:

«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и обращениями в ЦИК СССР, и в целях предоставления всем желающим, которые не успели прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем, Президиум ЦИК Союза постановляет:

1. Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения.
2. Склеп соорудить у Кремлевской стены на Красной площади среди братской могилы борцов октябрьской революции.

Председатель ЦИК Союза ССР, М. Калинин
Москва, Кремль, 25 января 1924 года»

Надо сказать, что такие заявления и обращения действительно были. Вот некоторые из них, представленные Российским центром хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). (Орфография и пунктуация сохранены полностью.)

В. СРОЧНО
Лично

ТЕЛЕФОНОГРАММА
ЦКРКП/б/ тов. СТАЛИНУ.

Организации рабочих фабрики «Освобожденный Труд» имени Петра Алексеева и имени Таратуты просят вас принять следующее предложение:

«Тело глубоко уважаемого ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА советуем похоронить на середине Красной Площади, дабы каждый рабочий, крестьянин, проходя Красную Площадь мог умственно и сердечно общаться дорогим ИЛЬИЧЕМ. Подписали: Комячейка Кирпичев Завком Спиридонов, Администрация фабрики Маслов Калиш. Ячейка РКСМ Савичев, Женотдела Краюшкина Москва 24-го Января 1924 года.

Передал МАСЛОВ

Приняла КУЛАГИНА.

МОСКВА ДЗЕРЖИНСКОМУ

СИРОТЫ ДЕТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ УЧЕЛЕЦ ДАРОГОГО ВОЖДЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ТРАУРНОМ ЗАСЕДАНИИ ВОЛКОМА ВОЛИСПОЛКОМА КОМ ПРОФСОЮЗОВ ПАСТАНОВИЛИ ПРОСИТ КОМИССИЮ ПОХОРОНАМ ТРУП ЛЕНИНА НЕ ЗАРЫВАТ ЗЕМЛЮ КАК ОБЫКНОВЕННОГО СМЕРТНОГО НЕ СКРЫВАТ НАШИХ ГЛАЗ ИБО БОЛЬШИНСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ НЕВИДЕЛИ ЛИЦА ОТ КАТОРАГО МОЖНО МНОГО УЗНАТ ЧУВСТВОВАЛИ ОСТАВИТ ЗА БАЛЬЗАМИРОВАННЫМ МЫ СПЛОЧЕННЫМИ РЯДАМИ ДОЛЖНЫ ЗАМЕНИТ ФИГУРУ ЛЕНИНА ШАРПЫКСКИИ ВОЛКОМ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

В КОМИССИЮ ПО ПОХОРОНАМ В.И. ЛЕНИНА
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ.

При обсуждении вопроса о похоронах ИЛЬИЧА у нас запала гениальная мысль НЕ ОПУСКАТЬ ЕГО В ЗЕМЛЮ а ПОСТРОИВ ВОЗВЫШЕННОЕ МЕСТО НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ УСТАНОВИТЬ ЕГО В СТЕКЛЯННОМ ГРОБУ ЗАСПИРТОВАННОГО ТАК ЧТОБЫ НАСТОЯЩЕЕ СТОЛЕТИЕ КАК МЫ ТАК И НАШИ ДЕТИ ОБРАЩАЛИ БЫ ВЗОР НА ДОРОГОГО НАМ ИЛЬИЧА

Рабочие завода № 30 «КРАСНЫЙ ПОСТАВЩИК»

В редакцию Центрального
Органа партии
«Московская Правда»
и «Центральный комитет партии»
гор. М О С К В А

Нет товарища ИЛЬИЧА—это тяжелая весть громовым внезапным ударом отразилась в наших сердцах, но мы выражаем надежду, что начатая лямка мирового капитализма продолжится и неизбежен скорый час торжества мирового пролетариата над развалившейся впрах структурой капиталистических построений.

ИЛЬИЧ, боровшийся всю свою жизнь за гегемонию пролетариата будет предан земле.

Нет, по моему мнению будущие поколения должны увидеть величайшего человеческого гения своими глазами. Будущим научным деятелям необходимо будет изучать строение черепа великого человека, а поэтому предлагаю труп ИЛЬИЧА не предавать земле, а забальмировать по способу египетских мумий и поместить в центральный музей.

Этим самым рабочие будущих веков всегда будут иметь возможность своими собственными глазами увидеть труп /забальмированный/ великого человека.

Рабочий Окуловских
Писчебумажных фабрик
Владимир ПАВЛОВ

П.С. Если найдете возможным то предложите комиссии по погребению ИЛЬИЧА обсудить этот вопрос.

П.П.С.

Жаль. Медицина делающая на страницах печати громаднейшие успехи не могла спасти жизнь любимого вождя пролетариата.

ПАВЛОВ.

ПОДОЖДИТЕ ХОРОНИТЬ ИЛЬИЧА ДАЙТЕ ВОЗМОЖНЫМ ВИДЕТЬ ЕГО МИРОВОМУ КОНГРЕССУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОТДАЛЕННЕЙШИХ УГОЛКОВ ЗЕМНОГО ШАРА ПОХОРОНЫ ЛЕНИНА ДОЛЖНЫ СТАТЬ ВОСКРЕСЕНЬЕМ ПРОЛЕТАРИАТА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЧАЛЫЙ
Г. КАЗАТИН

Но, разумеется, не эти трогательные в своей искренности и непосредственности заявления сыграли решающую роль.

Согласно документам (РЦХИДНИ), решение о длительном сохранении тела Ленина было принято сразу после его смерти, когда тело, привезенное из Горок, было помещено в Колонный зал Дома Союзов. Соорудить склеп было решено на заседании Политбюро ЦК партии 23 января 1924 года. В тот же день на Комиссии по организации похорон (впоследствии — по увековечению памяти) Ленина ее председатель Ф.Э.Дзержинский сообщает об этом решении и говорит: «Если наука может действительно сохранить его тело на долгие годы, то почему бы это не сделать. Царей бальзамировали, потому что они цари. Мы это сделаем, потому что это был великий человек, подобных которому нет. Для меня основной вопрос — можно ли действительно сохранить тело».

Уже в то время решение фактически принимает Политбюро, но для видимости публикуется постановление ЦИК. Для обоснования во второстепенной газете «Рабочая Москва» можно было прочесть: «Что говорят рабочие (из разговоров в Доме Союзов): «Надо сохранить тело Ильича. Ударисься в оппозицию, пойдешь к телу Ильича и станешь опять на правильный путь» или: «Тело Ленина надо сохранить. Рабочие этого хотят. Как это сделать?»

Этому намерению резко противостоит обращение вдовы Ленина Н.К.Крупской, опубликованное в «Правде». Она пишет:

«Товарищи, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки! Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не

устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т.д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича — устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т.д., и самое главное — давайте во всем проводить в жизнь его заветы»

С мнением Крупской руководство партии не посчиталось. После патологоанатомического вскрытия и временного балъзамирания, проведенного А.И.Абрикосовым 22 января, тело Ленина 23 января в сопровождении вождей партии и «трудящихся масс» было привезено специальным составом на Павелецкий вокзал и в двадцативосьмиградусный мороз перенесено в Колонный зал Дома Союзов.

По сценарию Политбюро в воскресенье 27 января состоялись торжественные похороны на Красной площади. Первоначально похороны были назначены на субботу, 26-е, о чем, не без злого умысла Сталина, сообщили Троцкому, поскольку приехать к субботе он не успевал, так как находился на лечении в Синопе, близ Сухума.

В 9 часов 20 минут под звуки похоронного марша Сталин, Зиновьев и шестеро рабочих выносят гроб с телом Ленина из Колонного зала. На Красной площади Каменев, Аванесов, Рудзутак и Томский устанавливают гроб на деревянном помосте. После траурного парада и речей партийных вождей и представителей народа в 16 часов Сталин, Зиновьев, Каменев, Молотов, Бухарин, Рудзутак, Томский и Дзержинский переносят гроб во временный мавзолей, который, согласно решению Политбюро, был наскоро построен по проекту архитектора А.В.Щусева. В тридцатиградусный мороз промерзшую землю у кремлевской стены взрывают динамитом. В вырытом трехметровом углублении устанавливают гроб, покрытый стеклянной крышкой; над ним стоит темно-серый деревянный куб, во всю длину которого из черных брусков выложено слово: «Ленин». По бокам — две будки для входа и выхода посетителей

В 16 часов по московскому времени на всей территории СССР производится артиллерийский салют, в течение трех минут раздаются гудки фабрик и заводов, на пять минут останавливают транспорт и работу на всех предприятиях.

Вокруг имени Ленина создается культ Петроград переименовывают в Ленинград, именем Ленина называют города, заводы, колхозы, пароходы, больницы и т.п., почти в каждом населенном пункте воздвигают памятники Ленину. Объявляется ленинский призыв в партию, повсеместно пропагандируется огромная историческая роль, гениальность, доброта, скромность Ленина.

В Колонном зале и в мавзолее Ленин лежал в защитного цвета френче, который он носил во время болезни в Горках. На левой стороне груди у него орден Красного Знамени. В отличие от последующих вождей, например, Брежнева, Ленин при жизни не награждался и, по легенде, эту награду в Колонном зале снял с себя и положил на его грудь некий участник гражданской войны. Однако, как мне рассказал отец, при сверке номера ордена выяснилось, что он принадлежал немецкой коммунистке Кларе Цеткин.

Комиссия по организации похорон Ленина под председательством Дзержинского и непосредственно тройка в составе Молотова, Енукидзе и Красина занимаются вопросом о дальнейшем сохранении тела. По этому поводу тройка неоднократно заседает, нередко с участием ученых-специалистов. Никто из них, однако, не предлагает какого-либо надежного способа сохранения.

В беседе с корреспондентом газеты «Вечерняя Москва» профессор А.И.Абрикосов сообщает о произведенном им временном бальзамировании. На вопрос о возможности длительного сохранения тела в неизменном виде он отвечает: «Вы хотите знать от меня, обладает ли наука средством сохранить тело Владимира Ильича на очень продолжительное время. Пожалуй, таких средств нет.» Это интервью 26 января появляется в харьковской газете «Коммунист». Таким образом с ним знакомится профессор анатомии Харьковского университета Владимир Петрович Воробьев.

Имея большой опыт многолетнего хранения анатомиче-

ских препаратов в растворе уксуснокислого калия и глицерина, по методу русского патологоанатома Н Ф Мельникова-Разведенкова, и применяя собственные усовершенствования, позволяющие сохранять цвет препаратов и устранять появляющиеся изменения, Воробьев сделал предположение, что этот способ можно применить и к целому телу. Свои соображения он высказал ассистентам и заведующему отделом медицинского образования Главпрофобра Украины А П. Жуку. Последний сообщил об этом наркому просвещения В. П. Затонскому, а тот дал соответствующую телеграмму в Москву Дзержинскому.

Тем временем на лице и руках мертвого Ленина появляются изменения: темные пергаментные пятна, небольшое расхождение губ и век, местами землисто-серый цвет кожи. Старый большевик Л. Б. Красин предлагает охладить тело и сохранять его в замороженном виде. Отрицательное отношение к этому проекту вызванного в Москву Воробьева и других ученых не остановило Красина. Мало того, на одном из заседаний комиссии, после ухода профессоров, он заявил, что они ничего не понимают, все предлагают разное, и нечего считаться с их мнением, решать нужно самим.

Этот авантюрист Красин в свое время тянул деньги из Саввы Морозова, будучи главным инженером его предприятий, и, похоже, прикончил его под видом самоубийства, дабы получить большие средства, завещанные артистке Марии Федоровне Андреевой, состоявшей в партии большевиков.

Воробьев резко возразил против замораживания. Он отметил, что оно уже имело место, когда тело Ленина везли из Горок в тридцатиградусный мороз и во время церемонии похорон на Красной площади. Это привело к повреждению тканей, которое, несомненно, усилится при новом охлаждении и особенно замораживании и оттаивании, чего избежать вряд ли возможно. Он заявил, что приступать к бальзамированию нужно немедленно, учитывая начинающееся разложение и усыхание тела. Вместе с тем Воробьев, опасаясь огромной ответственности, колебался и не решался братья за эту работу. По-видимому, немалую роль здесь сыграл мой отец, сумевший убедить Воробьева более решительно заявить о возмож-

ности длительного сохранения тела и опасности промедления в этом деле.

Несмотря на явно противоречивые суждения ученых и отрицательные результаты опытов по замораживанию трупов (эти опыты проводились по решению комиссии), инженер Красин, будучи абсолютно некомпетентным в медицине, упорно настаивал на своем проекте, который нашел поддержку Молотова и Дзержинского. Комиссия принимает решение заморозить тело За границей, за большие деньги, заказывают и монтируют холодильные установки

Тем временем состояние трупа становится угрожающим. Комиссия ученых, осмотревшая тело 10 марта 1924 года, отмечает, что ушные раковины сморщены, имеют землистый оттенок, веки запали, губы ссохлись и разошлись на 2 — 3 мм, на темени и лобном бугре выступили пергаментные и буроватые пятна, багровая и зеленовато-серая окраска наблюдается на туловище и руках повсеместно. Эти изменения имеют двойной характер: посмертное разложение и высыхание выступающих частей тела.

Комиссия решает закрыть доступ в мавзолей и провести консультацию с известным специалистом по посмертным изменениям (танатологом) профессором Г.В.Шором. На квартиру Шора в Ленинграде неожиданно явились несколько человек в кожаных куртках, сообщили, что они из ГПУ, и приказали немедленно ехать с ними в Москву. Перепуганный и побледневший как полотно Шор, в полной уверенности, что его арестовывают, простился с женой и наскоро собрал необходимые вещи. В Москве его привезли на Лубянку в здание ГПУ. Каково же было его изумление, когда неожиданно он оказался в кабинете самого Дзержинского, который, попросив извинения за беспокойство, предложил ему принять участие в заседании медицинской комиссии по сохранению тела Ленина

Но надежды на Шора не оправдались. Он сам признавал, что его метод сохранения герметически изолированных анатомических препаратов в глицерине неприменим в данном случае. Предложения Шора — уменьшить объем саркофага, покрыть кожу лаком и т.п. — не решали вопроса и не гаран-

тировали длительного сохранения. Только Воробьев предлагал реальную программу: вынуть тело, тщательно промыть его, удалив кровь и хлористый цинк, обработать спиртами и поместить в бальзамирующую жидкость на основе глицерина. Тем не менее Красин заключает, что такого способа, который обеспечил бы длительное сохранение тела Ленина, не имеется, и продолжает упорно настаивать на замораживании.

Комиссия ЦК и исполнительная тройка поддержали противоречащее мнению ученых предложение Красина. Воробьев возвращается в Харьков и оставляет письмо Красину, в котором делает акцент на тревожном состоянии тела, ухудшающемся буквально на глазах. Он пишет, что вернуть утраченное нельзя, но можно еще сохранить прижизненное сходство, цвет кожи и предохранить тело от разложения на долгие годы. Единственный метод, который может остановить процесс разложения и спасти тело, — это погружение в бальзамирующую жидкость.

В Сенатской башне Кремля и в мавзолее спешно устанавливают охлаждающую аппаратуру. Однако уже наступила середина марта, пригревало солнце, таял снег, и разложение тела резко ускориалось. Работу по монтажу сложных установок, только появившихся в то время, не успевали закончить вовремя, и кремлевское начальство начало привыкать к мысли, что тело Ленина придется захоронить.

Это обстоятельство и активность моего отца, которому удалось встретиться с Дзержинским и Красиным и решительно пообещать, что Воробьев и он смогут сохранить тело, и тем самым придать больше уверенности Воробьеву, привели к тому, что только теперь вернулись к воробьевскому проекту.

Красин приезжает в Харьков, знакомится с анатомическим музеем, впервые видит хорошо сохранившиеся в банках части тела и внутренние органы. Все это производит на него сильное впечатление, он, видимо, подсознательно начинает понимать, что с учеными все-таки надо считаться, и предлагает Воробьеву приступить к бальзамированию. Это предложение подтверждается письмом за подписью Дзержинского, согласно которому принимаются условия, поставленные Во-

робьевым, а именно: ему предоставляется право подбирать помощников, делать необходимые манипуляции (разрезы, инъекции и т.п.), его обеспечивают материалами и реактивами, дается требуемый срок (4 месяца), прекращается допуск в мавзолей, перед началом работы и после ее окончания специальной медицинской комиссией составляется акт о состоянии тела.

25 марта 1924 года в печати появляется следующее сообщение:

После смерти В.И.Ульянова (Ленина) тело его подвергнуто было бальзамированию обычным способом, имевшим целью временное его сохранение.

В настоящее время, идя навстречу пожеланиям широких масс Союза ССР и других стран — видеть облик покойного вождя, комиссия по похоронам В.И.Ульянова (Ленина) решила принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для возможно длительного сохранения тела.

Ввиду сказанного, комиссия поручила известному анатому, проф. Харьковского медицинского института В.П.Воробьеву немедленно приступить к бальзамированию, удовлетворяющему намеченной цели.

К означенной работе привлечены следующие лица: проф. П.И.Карузин (анатом), проф. Б.И.Збарский (биохимик), старший ассистент глазной клиники Я.Г.Замковский, прозектор анатомического театра А.Л.Шабадаш и пом. прозектора А.Н.Журавлев.

Общее наблюдение за этими работами от имени комиссии поручено гг. Л.Б.Красину, проф. Б.С.Вейсброду и проф. В.Н.Розанову.

Доступ к осмотру тела В.И.Ульянова (Ленина) ввиду этого прекращается с 26-го сего марта до последующего извещения.

Председатель комиссии ЦИК Союза ССР по похоронам В.И.Ульянова (Ленина) Ф.Дзержинский.

Состояние трупа стало критическим. Комиссия, осмотревшая тело в отсутствии Воробьева 20 марта и совместно с ним 26 марта, перед началом работы по бальзамированию констатирует существенные изменения и составляет следующий акт:

Комиссия в составе В П Воробьева, Б И Збарского, Б С Вейсброда, П И Карузина, А П Савельева, В Н Розанова, Я Г Замковского и А Л Шабаша тщательно обследовала тело Ленина и пришла к следующим выводам

Общий вид кожных покровов головы желтоватого цвета, слегка землистого оттенка. Землистость более резко выражена в области глазниц, в покровах носа, в области обоих висков и области обеих ушных раковин, правая ушная раковина имеет более землистый оттенок, чем левая. Кожа на всем лице, за исключением мест, указанных ниже, гладка, плотна и имеет консистенцию воска (температура +2,5°R)

Кожа в области правых теменного и лобного бугров имеет пергаментобразный характер, бугриста и имеет цвет буроватого оттенка. Пятно это непрерывно переходит на левый лобный и левый теменной бугор, причем оттенок последнего менее резко выражен, нежели на правой стороне. Передние края этого, общего обеим сторонам, пятна доходят до надбровных дуг.

На месте распила черепа заметно углубление кожи и наружных покровов, симметричное по обеим сторонам, шириной около 1 сантиметра, кожа в области этого углубления пигментирована.

Кончик носа, главным образом с нижней поверхности, а также крылья носа слегка пигментированы, имеют вид шагрени и истончены.

Верхние веки при надавливании легко продавливаются, со стороны глазного яблока нет сопротивления. Кожа век, особенно нижних, резко землиста. Линия смыкания век неправильно изогнута. Левое нижнее веко, ниже нижнего края хряща, запало. Глазные щели слегка приоткрыты.

Расхождение верхней и нижней губы наблюдается на всем их протяжении, причем с левой стороны щель шире, нежели справа. На всем протяжении видны зубы. Расхождение губ в среднем около 4 мм и наибольшее (слева) — около 6 мм. Слизистая губ слегка пигментирована, подсохла, сморщилась. Углы губ расположены асимметрично, левый угол резко приподнят.

По нижнему краю нижней челюсти и ниже, при переходе на шею, — большое количество складок. Обе ушные раковины усохли и слегка загнуты кпереди и кнутри.

Комиссия констатирует прогрессирующие посмертные измене-

ния, усыхание и размягчение частей тела, резкое изменение окраски головы и кистей рук голени по сравнению с данными осмотра, произведенного 10 марта

На руках на правой кисти, сжатой в кулак, — пятно розоватого цвета, закрывающее запястье и тыл пястной и 1-й и 2-й фаланг большого пальца На первой фаланге указательного пальца пятно розоватого цвета, ноготь большого пальца синевато-багрового цвета, часть левой кисти розовато-фиолетовая, ногти — синеватые

На туловище — пятна землисто-багрового цвета, заметно размягчение участков бедер и частей голени

В тот же день, 26 марта 1924 года, Воробьев со своими помощниками приступает к работе

Глава 4

ИЗ ИСТОРИИ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЯ

В наше время покойников, как правило, предают земле или сжигают, однако в древности в некоторых странах тела умерших бальзамировали, и мумии, созданные до нашей эры, сохраняются тысячелетиями до сих пор.

Изредка, в зависимости от характера почвы и климатических условий, например, в сухих песках пустынь, трупы сравнительно быстро высыхают, что предохраняет их от гниения. Иногда при эксгумации находят хорошо сохранившиеся тела в виде высушенных мумий или скелетов, обтянутых кожей. Таковы мощи в Киево-Печерской лавре и других монастырях — сохранение останков приписывается их святости и они являются предметом поклонения верующих.

Естественному сохранению трупов способствует очень высокая или очень низкая температура — как на степных песчаных равнинах или снеговых вершинах гор. Известны случаи сохранения мамонтов в условиях вечной мерзлоты. Тела замерзших альпинистов находили в высокогорных областях Швейцарии и других стран. Изредка попадались окаменевшие трупы, пропитанные солями, в частности, в Сивашском заливе.

Как правило, мумифицированные трупы находят в тех местах, где условия способствуют быстрому высыханию. Испарение влаги препятствует развитию микроорганизмов и гниению. Так, мумифицированные тела были найдены в капуцинском монастыре в Палермо, в свинцовом погребке одной из церквей Бремена, во дворце Кведлинбурга. Хорошо сохранилась кожно-мышечная ткань на трупах помещиков Лизогубов, найденных в 1924 году в Черниговской области. В 30-х годах в Москве присутствующих при эксгумации и перезахороне-

нии порастил почти прижизненный вид тела композитора Николая Рубинштейна. Мало изменившиеся трупы находили также в торфяных болотах Дании, Британии и Флориды. В этих местах сохранность в значительной степени обусловлена действием дубильной кислоты

В подобных случаях имеет место естественная мумификация, в отличие от искусственного сохранения, известного под названием «бальзамирование». Термин «бальзамирование» происходит от слова «бальзам» (смола), что уже указывает на использование тех или иных средств для сохранения тел умерших. Хотя и при бальзамировании обычно получают мумии, его следует отличать от самопроизвольного сохранения. Случаи естественной мумификации, вероятно, в значительной мере определили способы бальзамирования, применявшиеся у древних народов. К основным местам нахождения человеческих мумий, помимо Египта (начиная с третьего тысячелетия до н.э.), относятся также Анды (с четвертого тысячелетия до н.э. до 1700 года н.э.), Юго-Восток США (500—1400 гг. н.э.), Австралия и Меланезия (XIX век н.э.). К этому можно добавить гуанчей (коренных жителей Канарских островов) и древние Финикию, Китай и Японию.

Несмотря на очень длительные сроки хранения и значительные изменения вида и состояния тела, в мумиях обычно сохраняется дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), нередко не изменившая своей первичной структуры. Современные методы полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяют клонировать эту ДНК, что уже сделано с некоторыми мумиями. Например, американский исследователь Сванте Пабо клонировал ДНК мумии, сохранявшейся в течение 4400 лет. Для этого достаточно ничтожного количества исходного вещества, и современные методы позволяют воспроизвести геном (то есть совокупность генов) людей и животных, живших тысячелетия тому назад. То есть теоретически вполне возможно воспроизвести вымершие организмы, и весьма вероятно, что с развитием методов в будущем их удастся воссоздать.

Наибольшего расцвета искусство бальзамирования достигло в Древнем Египте, где его применяли, главным образом,

для сохранения тел фараонов и знати. Бальзамирование трупов производилось особой кастой жрецов, которые жили изолированно от общества, в особых кварталах города.

В этой касте существовало своего рода разделение труда. *Парасхиты* производили разрезы, рассекая брюшную и грудную полости на левой стороне тела, *тарихеуты* затем удаляли внутренности, приготавливали бинты и многократно обвивали ими тело покойного. *Колхиты* составляли солевые ванны, содержащие *натрон* — смесь солей, извлекаемую из соляных озер Египта.

Таинственный ритуал бальзамирования древних известен нам лишь отчасти, главным образом, по греческим источникам, описаниям историков Геродота и Диодора Сицилийского. Геродот (IV век до н.э.) описывает известную ему технику бальзамирования. Диодор Сицилийский (I век до н.э.) основное внимание уделяет мистическим обрядам, связанным с бальзамированием и захоронением умерших. Некоторые сведения получены также при исследовании сохранившихся мумий современными методами. Существовало несколько способов бальзамирования, и они были неодинаковы у разных народов. Простейшие заключались в том, что трупы высушивали или коптили.

В Древнем Египте методы были более совершенными, но и там существовали варианты. Так, наиболее древние, мемфисские мумии очень хрупки и темного, почти черного цвета. Более поздние, фиванские, светлее, желтоватой окраски и в значительной мере эластичны. Однако все древние мумии сохраняли лишь относительное сходство с оригиналом, все они высушены, потеряли естественный цвет. Есть все основания полагать, что эти изменения наступали в самом начале создания мумий, а после, будучи завернутыми в просмоленные бинты, они изменились в значительно меньшей степени.

По преданию, бальзамирование изобрел Гермес Трисмегист, который сохранил труп египетского бога и царя Озириса. Бальзамирование было распространено в Египте в значительной степени потому, что, по верованиям египтян, после смерти души на три тысячи лет переселяются в тела животных. Если же труп невредим, то душа не покидает покойника; в

виде птицы с человеческой головой она витает над ним и не попадает в тела животных.

Согласно описанию Геродота, существовало три варианта бальзамирования тел умерших. По первому, самому дорогому способу, применявшемуся для знатных и богатых покойников, сначала через ноздри металлическим крючком удаляли мозг, затем разрезали каменным эфиопским ножом брюшную и грудную полости и извлекали внутренности, оставляя только сердце и почки. Далее труп погружали в ванну с крепким раствором натрона. Натрон добывали в двух месторождениях: Эль Каб — в Верхнем Египте, и Вади Натрун — в 100 километрах к западу от Каира. Натрон состоит в основном из щелочных солей — карбоната и бикарбоната натрия — и содержит также селитру, хлориды и сульфаты натрия, калия и кальция. В этом растворе тело вымачивали в течение 70 дней. Согласно современным исследованиям, применяли также и сухой натрон, в течение 35 дней обкладывая им труп и помещая его также в полости тела для обезвоживания тканей. Такой пропитанный солями труп высушивали на солнце или в особой каменной трубе, через которую в течение нескольких дней пропускали горячий воздух.

Сделанную таким образом мумию обмывали «священной водой», затем внутрь заливали пальмовое масло и пальмовое вино, пропитывали ее растительными маслами, смолами и бальзамами. Эти процедуры предохраняли от гниения и способствовали длительному сохранению мумии. Затем полости тела набивали опилками, песком, глиной, шерстью и добавляли к ним селитру, известь, асфальт, различные благовония, мирру, кассию, другие ароматные травы и т.п. После труп тщательно бинтовали. Бинты из полотна пропитывали клеем, камедью, высыхающими маслами. Несколько слоев бинтов образовывали герметичный слой, предохраняющий от действия света и воздуха.

В зависимости от знатности покойного вся процедура могла быть более или менее сложной, те или иные этапы бальзамирования опускались или, наоборот, добавлялись. Мумии фараонов клали в деревянный гроб, который имел форму тела человека и закрывался герметически. Таких гробов могло

быть несколько, один в другом. Нередко деревянный гроб помещали в каменный саркофаг, также имеющий форму тела. Снаружи саркофаг разрисовывали стойкими красками, изображая лицо и тело усопшего.

При втором способе бальзамирования тело не вскрывали, внутренности удаляли через задний проход и через него же в тело вливали маслянистую жидкость. Затем тело помещали на 70 дней в солевую ванну с натроном, после чего жидкость удаляли.

Третий, самый простой способ заключался в промывании кишечника умершего редечным маслом и погружении тела на 70 дней в солевую ванну.

Таким образом, во всех случаях основная процедура заключалась в пропитывании натроном. Существенным компонентом, способствующим сохранению мумий, являлся также битум, добывавшийся у берегов Мертвого моря и применявшийся обычно в смеси с воском. До сих пор сохранились мумии двух типов: с разрезом брюшной и грудной полостей и без разрезов.

Слово «мумия» впервые упоминается у греков в III веке до н.э. и, по-видимому, происходит от персидского *мумиа*, что означало битум или дёготь. По другим источникам *мум* по-персидски — воск, применявшийся персами для сохранения тел. Сами древние египтяне называли мумии *габарас*, то есть свято хранимые.

Диодор Сицилийский описывает обряд, сопровождавший бальзамирование. Сначала на левой стороне живота покойника специальный рисовальщик обозначал место, где следовало произвести вскрытие. Затем парасхит вырезал на этом месте часть ткани, которая определялась установленными правилами, и быстро убежал. Окружающие преследовали его и бросали вслед камни, дабы показать, что они не причастны к поруганию мертвого тела, что считалось великим грехом. Затем другой бальзамировщик — тарихеут — удалял через сделанный разрез все внутренности за исключением сердца и почек. Внутренности помещали в специальный сосуд в форме человеческой головы — *каноп*, пересыпали ароматическими травами и под молитву, говорящую о благочестии покойного,

бросали в воду с западного берега Нила. Само тело натирали маслом, миррой, корицей и разными пряностями.

Опыт древних египтян по созданию мумий неприменим к современному бальзамированию. Мумии резко уменьшаются в объеме, сморщиваются и теряют сходство с умершим; они, по существу, представляют собой скелет, обтянутый кожей.

Многочисленные исследования мумий, в частности, анализ мумии Тутанхамона, произведенный Дугласом Дерри, показали, что они хорошо сохранились в основном благодаря сухому климату Египта и стерильности песка и воздуха, а не высокому искусству бальзамирования. Так, останки, найденные в песках Египта, сохранились не хуже тщательно забальзамированных, забинтованных и уложенных в саркофаг мумий. Мало того, например, мумия Тутанхамона — единственная нетронутая и пролежавшая в одном месте в течение тридцати трех веков, оказалась сохранившейся хуже, чем мумии, потревоженные грабителями или пролежавшие в песке. Предположительно причиной этого могло стать окисление масел и смол, частично захватившее бинты и кожу.

Бальзамирование применялось и другими древними народами, однако нигде оно не достигало такого совершенства, как в Древнем Египте. Эфиопы, например, высушивали труп, обкладывая его гипсом и заключая в прозрачную массу, предположительно представлявшую собой каменную соль.

Согласно Геродоту, скифы, кочуя, возили тела умерших вождей с собой и хоронили их только в местах постоянных стоянок. В курганах Пазырык и Шибе на Алтае обнаружены мумии скифских вождей, захороненных в IV веке до н.э. Сохранению их способствовала низкая температура внутри курганов, покрытых каменной насыпью. Недавно в горах Алтая обнаружены хорошо сохранившиеся во льду трупы скифской принцессы и воина. Исследование таких мумий показало, что скифы удаляли внутренности и заполняли выпотрошенный труп осокой, после чего кожу зашивали.

Широко практиковалось бальзамирование у гуанчей. Внутренности трупа удаляли через задний проход, промывали тело внутри крепким раствором соли и тем же путем вводили соки ароматических трав, главным образом, молочая и драцены.

Тело умершего высушивали на солнце или в печи, затем натирали мазью из козьего жира, обвивали козьей шкурой, стягивали ремнями и хоронили в пещерах. Такие мумии они называли *ксаксос*.

Инки в Южной Америке коптели трупы и хоронили в сидячем положении. В Китае бальзамирование применялось лишь в отношении святых и аскетов. У трупа удаляли внутренности и помещали его в деревянный гроб, заполненный золой сандалового дерева и порошком ладана. Затем его засыпали древесным углем и солью. Дикие, нецивилизованные народы мумифицировали отдельные части тела, сохраняя их в качестве амулетов. Так, например, индейцы племени Шуар хранили высушенные головы убитых врагов, имевшие ритуальное значение. Высушенные руки, пальцы, куски кожи становились амулетами для разбойников и воинов варварских племен.

Персы и скифы обливали тело умершего расплавленным воском и нередко применяли также пчелиный мед, обладающий значительными консервирующими свойствами.

Известно, что тело спартанского царя Агезилая, умершего в 360 году до н.э., было покрыто воском и в таком виде доставлено в Лакедемон. По свидетельству Иосифа Флавия, в меду сохранялось тело иудейского царя Аристубула, отравленного в Риме в 49 году до н.э.

В 323 году до н.э. в Вавилоне, на пути домой после великих завоеваний в Азии, скончался от лихорадки Александр Македонский. Его тело было забальзамировано предположительно по одной из модификаций египетского метода и два года хранилось в специях. Затем, по свидетельству Диодора, в специально изготовленном из золота саркофаге в форме храма со сводом, поддерживаемым ионическими колоннами, оно было торжественно перевезено в Александрию, где пролежало 150 лет, пока Птолемей IX не эксгумировал его, желая изъять драгоценный золотой саркофаг и заменить стеклянным. Известно, что через 50 лет Клеопатра показывала останки Александра Юлию Цезарю, но затем следы захоронения теряются, и оно не обнаружено до сих пор. По некоторым сведениям тело Александра Великого во время перевозки хранилось в меду.

У древних греков и римлян не было обычая длительно сохранять тела умерших. Однако до ритуального сжигания, которое как правило производилось на восьмой день после смерти, практиковалось обмывание их благовониями.

Значительно ближе к нам, во времена позднего средневековья, для бальзамирования стали применять некоторые антисептические вещества и консервирующие растворы. Обычно через кровеносные сосуды вводили растворы сулемы, соли мышьяковистой кислоты и цинка, спирт и другие вещества. Эти способы применяли для временного бальзамирования, например, для перевозки умерших вдали от родины к месту погребения. Попытки длительного сохранения тела английского короля Генриха I в 1135 году и папы Александра V в 1410 году окончились неудачно — тела вскоре начали разлагаться и были захоронены.

В эпоху Возрождения появляются методы хранения органов тела и анатомических препаратов. Такие препараты с большим или меньшим успехом удается сохранять без мумификации. Иногда пытались целиком бальзамировать трупы знатных и богатых людей. Способы бальзамирования в эту эпоху отличаются чрезвычайной сложностью; обычно использовали множество различных, далеко не всегда необходимых, компонентов.

Так, во Франции, в первой половине XVI века применяли сложную смесь солей и ароматических масел, поваренную соль, квасцы, мирру, алоэ, полынь, корицу и др. Во второй половине того же века пользовались методом Амбруаза Паре, который заключался в удалении внутренностей, произведении глубоких разрезов, промывании спиртовым раствором алоэ, наполнении маслами и благовониями, втирании скипидара и эфирных масел. Затем тело заворачивали в холст и клеенку и укладывали в свинцовый гроб, устланный ароматическими травами.

Наибольших успехов в этот период добились голландские ученые. Во второй половине XVII столетия голландец Бильс применял сложный способ, используя спирт, уксус, дубовую кору, квасцы, перец, соль. Труп многократно погружали в жидкость и заливали воском в свинцовом гробу, затем высу-

шивали и смазывали бальзамом. Голландский натуралист Сваммердам впервые применил инъекцию в кровеносные сосуды, используя смесь, в которую входили скипидар и уксус. Более долговечными оказались препараты голландского анатома Рюйша, который наполнял сосуды затвердевающими массами (воском, парафином и т.п.), подкрашенными для сохранения цвета. Находясь в Голландии, Петр I был поражен коллекцией Рюйша, содержащей законсервированные уродливые органы и тела младенцев, и в 1717 году купил ее у него. Эта коллекция до сих пор хранится в Кунсткамере (ныне Музей антропологии и этнографии Российской Академии наук в Петербурге).

Во второй половине XVIII века голландский анатом В.Гюнтер применил инъекции артерий, вводя смесь ароматических масел, окрашенную киноварью, а затем другие масла со спиртом.

В XIX столетии французский патологоанатом Шосье использовал для сохранения трупов сулему, а в сентябре 1824 года врач и анатом Буатар бальзамировал тело короля Франции Людовика XVIII с помощью сулемы, спирта и поваренной соли. Тело короля было покрыто лаком, забинтовано несколькими слоями бинтов и похоронено на кладбище в Сен-Дени.

Сходный метод применял в России известный врач И.В.Буяльский. Вскоре для этих целей появилась жидкость Виккерсгеймера, состоявшая из квасцов, поваренной соли, селитры, поташа, мышьяковистой кислоты, глицерина и спирта.

В дальнейшем методы бальзамирования и сохранения анатомических препаратов совершенствовались более интенсивно, и важные успехи в этом направлении были достигнуты и в России. Особый интерес представляет бальзамирование тела знаменитого русского хирурга Н.И.Пирогова.

После смерти Пирогова, последовавшей 23 ноября (5 декабря) 1881 года в его имени «Вишня» под Винницей, из Петербурга вызвали ученика Пирогова, Д.И.Выводцева. К моменту его приезда уже началось разложение трупа, и Выводцев немедленно приступил к работе. Он удалил часть внутренних органов и через сонные и бедренные артерии ввел с помо-

щью сконструированного им аппарата раствор, состоявший из глицерина, воды, спирта и тимола. Формалин для фиксации тканей в то время еще не применялся.

Два месяца тело покойного сохранялось в бедной церкви в селе Шереметка. Затем, в январе 1882 года, его перенесли в склеп, над которым соорудили временное прикрытие в виде часовни. В 1885 году тело Пирогова, одетое в мундир тайного советника, перенесли в заново построенную церковь Николая Чудотворца, где закрыли его в металлическом гробу. В 1927—1928 годах там был произведен ремонт, но в 1930 году могила подверглась ограблению. Похитители разбили стекло и украли ценную шпагу, подаренную Пирогову австрийским императором Францем-Иосифом, и большой металлический крест, находившийся в руках покойного, а тело выбросили из гроба.

Первоначально неплохо сохранявшееся тело после разорения подверглось значительным изменениям. Лицо было мумифицировано, кожа имела бурю окраску с многочисленными пятнами жировоска, обильно произрастала плесень. Эти изменения особенно интенсивно происходили в годы войны 1941—1945 годов.

В 1945 году тело было реставрировано комиссией украинских ученых в составе А.Н.Максименкова, Р.Д.Синельникова, М.К.Даля, Г.Л.Дермана и М.С.Спирова. В результате четырехмесячной работы — погружение тела в ванну с раствором Выводцева, фиксация формалином, помещение в ванны с возрастающей концентрацией глицерина и т.п. — удалось устранить дефекты и восстановить прежний вид трупа. Его поместили в опечатанный гроб. Через 9 месяцев, в начале июня 1946 года, осмотр показал, что лицо находится в удовлетворительном состоянии, но руки и ноги остаются мумифицированными. Тело забинтовали, снова одели в мундир тайного советника, уложили в новый железный гроб, находящийся в наружном дубовом гробу, и установили для обозрения. В 1973 году я видел тело Пирогова, неплохо сохранившее его прижизненный облик.

Это, пожалуй, наиболее удачный до бальзамирования тела В.И.Ленина случай сохранения трупа. Тем не менее метод Выводцева, при всех своих достоинствах, не обеспечивает со-

хранения в течение продолжительного времени на воздухе. Главным его недостатком является слабая фиксация тканей, что в последующем было преодолено применением формалина. Формалин введен в практику в 1893 году голландскими анатомами, отцом и сыном Блюмами. В России первым стал применять формалин известный патологоанатом М.Н.Никифоров.

Формалин хорошо фиксировал ткани и позволял долго хранить их. Именно формалин, обычно в смеси со спиртом и глицерином, применяется и в настоящее время для кратковременного бальзамирования. Этим способом пользовался и А.И.Абрикосов, произведя первоначальное бальзамирование тела В.И.Ленина сразу после его смерти.

Однако применение формалина не предохраняет от высыхания и, что самое главное, вызывает изменение цвета кожных покровов, которые становятся буроватыми. Это обстоятельство удалось преодолеть в 1895 году ассистенту Московского университета Н.Ф.Мельникову-Разведенкову (впоследствии профессору Харьковского, а затем Кубанского медицинского института и действительному члену Академии наук Украины). После фиксации тканей формалином Мельников-Разведенков обрабатывал их раствором, содержащим уксуснокислый калий, глицерин и спирт. Эта удачно подобранная смесь пропитывала ткани, предохраняла их от высыхания и неплохо сохраняла натуральный цвет препарата. Благодаря тому, что глицерин не высыхает, а ацетат калия обладает гигроскопичностью, то есть вбирает в себя влагу, такие препараты сохраняют цвет и упругость тканей, свойственные их исходному состоянию. Несколько позже, в 1896 году, жидкости почти такого же состава предложили Жорес во Франции и Кайзерлинг в Германии. Тем не менее приоритет в этом отношении остается за русским ученым — Н.Ф.Мельниковым-Разведенковым.

Препараты Мельников-Разведенков не только хранил в банках, но и заливал в желатин, обработанный формалином, благодаря чему они сохранялись десятилетиями и могли служить учебным целям. Все же при хранении таких препаратов на воздухе не удавалось избежать пергаментных пятен. Изучая

этот вопрос, В.П.Воробьев нашел способ устранения этих пятен путем локальной обработки разведенной уксусной кислотой и перекисью водорода. Проникая в ткани и разрыхляя их, эти вещества способствуют пропитыванию обработанных участков бальзамирующей жидкостью, устраняя пятна и восстанавливая нормальные тургор (то есть эластичность и упругость) и окраску. Это своего рода метод «оживления» тканей. Впоследствии Воробьев усовершенствовал его с помощью А.Н.Баха и Б.И.Збарского, применяя катализаторы, ускоряющие разложение перекиси водорода.

Для бальзамирования тела В.И.Ленина на длительный срок В.П.Воробьев применил процедуру, основанную на усовершенствованном им методе Мельникова-Разведенкова. Нельзя не отметить, что ряд ученых, принимавших участие в обсуждении возможности сохранения тела Ленина на длительный срок, отлично зная эти методы, не решались применить их для сохранения целого трупа; в числе их был и сам Мельников-Разведенков. Только В.П.Воробьев и Б.И.Збарский взялись за это ответственное дело, осложненное длительным хранением тела до начала работы, частичным замерзанием его во время сильных морозов и откладыванием начала работы из-за попытки сохранить тело путем глубокого замораживания, на котором настаивал Л.Б.Красин.

После бальзамирования тела В.И.Ленина искусство сохранения тел значительно прогрессировало, совершенствовались старые и появились новые методы как в России, особенно в лаборатории при мавзолее В.И.Ленина, так и за границей. Интересно, что в 1952 году испанский врач Педро Ара, работавший атташе по культуре в испанском посольстве в Аргентине, успешно бальзамировал тело Эвы Перон, жены президента Аргентины Хуана Перона. Ара медленно вводил в тело парафин, предварительно инъецировав воск. После долгих перемещений, связанных с политическими пертурбациями в Аргентине, тело Эвы Перон находится теперь в семейном склепе на кладбище в Буэнос-Айресе. Любопытно, что в 1923 году Педро Ара предлагал советскому правительству свои услуги для бальзамирования тела Ленина.

МОПШК (Московская опытно-показательная школа-коммуна Наркомпроса) находилась недалеко от Остоженки, напротив действующей церкви Ильи Обыденного. Учились в школе, главным образом, отпрыски ответственных работников, особенно высшего ранга. В нашей группе (так тогда называли классы) учились сын Ногина — Владя Ногин, Юра Карпов, а также сын Варги; годом старше — Ян Дзержинский, сын Ф. Э. Дзержинского, двумя годами младше — Наталка Рыкова, Петя Ворошилов; еще на два-три года младше — Васька Сталин. Это был противный рыжий мальчишка, злой, своенравный и не желавший учиться. На замечания учителей он отвечал: «Я — Сталин», — и все вопросы отпадали.

Директором школы был Моисей Михайлович Пестрак, которого за глаза звали Мойшей. Мойша мало занимался нами и пропадал где-то в верхах, в Наркомпросе. Тем не менее он решительно вводил новые, революционные методы преподавания на основе «Дальтон-плана». Эти методы прежде всего заключались в том, что мы должны были в основном заниматься самостоятельно в кабинетах физики, химии, биологии и других. Экзаменов нам не устраивали, и успеваемость учитывалась на основании впечатления учителей и опросов на уроках. Всячески процветала и поощрялась «общественная работа», особенно в «учкоме», который обладал большей властью, чем преподаватели. Общественная работа была престижна и почетна, учебные занятия оставались на втором плане.

Одним из видов общественной работы являлась ликвидация безграмотности (ликбез). Мы должны были учить грамоте главным образом старушек, не научившихся читать за свою долгую жизнь; мне приходилось посещать их на дому, преодо-

левая их сопротивление. Помню деревянный домик, вернее, избу в окрестностях Москвы. На окнах герань, двойные рамы тщательно законопачены для сохранения тепла; в доме затхлый, тяжелый воздух. В углу киот, иконы. Сидящая старушка в платочке нехотя, под моим давлением, зубрит буквы, которые она забудет на следующий день, но я обязан доложить, что обучил грамоте столько-то человек — в стране не должно оставаться ни одного неграмотного. Хотя обучить этих старушек вряд ли возможно. Нередко думалось, что эта общественная работа — впустую, она создана главным образом для того, чтобы не оставалось свободного времени и мы не поддавались бы чуждому антисоветскому влиянию «обывателей».

Всякие личные интересы преследовались; должны были не просто преобладать, но быть единственными общественными интересами, подчиненными коммунистической морали. Последняя основывалась на учении Ленина, согласно которому все, что способствует «мировой революции» и строительству коммунизма, — морально, все остальное — аморально.

1926 год, нэп в самом разгаре, жизнь сносна, в магазинах все можно купить и, как писал В.В.Шульгин в книге «Три столицы», «все было как в доброе старое время, только похуже». Правила все же «диктатура пролетариата», и наша страна была «государством рабочих и крестьян». Слово «интеллигент» рассматривалось как ругательство. Я страдал от того, что слыл «интеллигентом», и всячески старался подражать рабочим. Рабочих и даже детей рабочих в школе почти не было, но «рабочие черты» насаждались неуклонно.

Это выражалось прежде всего в тщательном искоренении «буржуазных манер» — мы стремились употреблять больше простонародных слов, ругаться, плевать и т.п., — а также в простоте и небрежности в одежде; даже имея хорошую рубашку или носки, предпочитали надевать поношенные, штопаные, потертые, а иногда и рваные, пореже мыться. Особым шиком считалась полувоенная форма «юнг-штурм», напоминавшая брюки и гимнастерку, в которых ходил Сталин. Господствовало однообразие, серость и стремление выглядеть «по-пролетарски».

Однажды несколько ребят из нашей группы сговорились из

озорства прийти в школу в галстуках, как это делали ученики некоторых других школ. Нас за это отругали, проработали на пионерском собрании и отбили всякую охоту сохранять «интеллигентские черты». Впоследствии почти полное отсутствие рабочих поставило школе в вину и были приняты меры к «орабочиванию» коллектива. Для этого в разные группы школы приняли несколько детей рабочих, на которых мы старались равняться. Кроме того, нас водили на соседнюю фабрику — «в пролетарский котел», но, кажется, более всего я усвоил то, что рабочие этой фабрики устраивали кулачные бои с рабочими другой фабрики на льду Москвы-реки.

Название «коммуна» теперь никак не подходило к нашей школе и осталось с того времени, когда «школу-коммуну», организованную где-то в Белоруссии, в 1918 году перевели в Москву. Несмотря на все новшества и строгости, в школе преподавали старые учителя, от которых мы получали неплохие знания. Однако учебный план уже тогда был существенно переделан. Русский язык и грамматику упразднили, вместо истории ввели обществоведение, согласно которому все начиналось с Карла Маркса и I-го Интернационала. Все, что было до Маркса, как бы не существовало. Из иностранных языков преподавали, и то плохо, только немецкий. Программа по литературе включала лишь краткие сведения о классиках и подробное изучение «пролетарских писателей», ныне забытых.

Лучшим представителем русской классической литературы считался Максим Горький, воспевались бездарные вирши Демьяна Бедного и «комсомольские стихи» Александра Безыменского, «Цемент» Федора Гладкова и «Железный поток» Александра Серафимовича. Из классиков русской литературы и литературы XX века избирались отдельные, далеко не лучшие, но идеологически безопасные произведения: «Преступление и наказание» (но не «Бесы» или «Братья Карамазовы») Достоевского, «Двенадцать» Блока, «Рабочий» Брюсова. Но чтение, например, Есенина преследовалось, а о Гумилеве, Ахматовой, Сологубе и многих других поэтах и писателях даже упомянуть было опасно.

В школе распространился слух, что вскоре насовсем приедет в Россию Максим Горький, находившийся на лечении за

границей, на острове Капри в Италии. Мы с несколькими школьными товарищами бросились встречать Горького и смешались с толпой на площади Александровского (Белорусского) вокзала. На том самом месте, где теперь стоит памятник писателю, на постаменте стоял живой Горький и, утирая слезы, умилялся встречей с Родиной; он все время вещал, какие мы хорошие, как он рад видеть социалистическую Россию и восхищался успехами советской власти. Почти непрерывно он лил слезы и повторял: «Я не могу говорить», по поводу чего очень скоро родилась острота: Лев Толстой сказал: «Не могу молчать», а Максим Горький — «Не могу говорить».

Нас неплохо учили математике, физике, химии, биологии. Преподавание этих предметов было поставлено много лучше, чем в современных советских школах, где химии, например, иногда учат без пробирок и практических занятий. В нашей же школе были оборудованные кабинеты по естественным наукам, и мы проводили практические занятия по физике и химии, которые не уступали практикумам первых курсов университета. Много внимания уделялось работе в мастерских: слесарной, столярной и переплетной; нас знакомили с основами технологии и водили на фабрики и заводы.

За пять лет, с 1926 по 1930 год, многое переменялось в жизни всей страны и, конечно, школы. В незабываемом 1929 году была проведена сплошная коллективизация сельского хозяйства, и за каких-нибудь два года жизнь изменилась коренным образом. Общеобразовательная школа была признана порочной, и у нас появилось два «уклона» — механический и химический. Школа стала девятилеткой, и нас выпускали как молодых специалистов, нужных стране. Я выбрал химический уклон. Химию преподавал у нас Дмитрий Максимович Кирюшкин. Это был очень живой, несколько суетливый человек, хорошо знающий свое дело, и особенно химические производства, с которыми он нас прилежно знакомил. За лысину, обрамленную остатками черных волос, мы звали его «плешь с перекисью марганца», а будучи в хорошем настроении — Менделюшкиным. Хотя мы и посмеивались над ним, но относились к нему с симпатией. Я думаю, что многим обязан ему за внимательное отношение к нам и проведение

практических занятий, которые включали даже элементы качественного и количественного анализа. Он рассказывал нам о химических производствах, и мы, таким образом, усвоили пользу химии в «делах человеческих»

Математику преподавала Елизавета Савельевна Березанская. Она была требовательна, толково объясняла нам предмет и, несмотря на требовательность, а может быть, и благодаря ей, мы слушались ее и любили.

Обществоведение вел строгий Алексей Иванович Стражев, по прозванию (по первым буквам имени, отчества и фамилии) Аист. Мы его побаивались и недолюбливали. Как-то, через много лет после окончания школы, я встретил его, и он показался мне маленьким, щуплым и совсем не страшным старичком.

Литературу преподавала Ангелина Даниловна Гречишниковна, это была милая женщина, не оставившая у меня глубокого следа. Как я теперь понимаю, вероятно, ее, как и Аиста, глубоко угнетала новая программа занятий, из которой было выхолощено все или почти все важное и необходимое для культурного человека. В старших классах ее сменил полнотелый и какой-то гладкий Василий Григорьевич Совсун, которого мы звали, производя от имени, отчества и фамилии, «Вагрисов». В отличие от Аиста Вагрисов был либерален, не лишен фантазии и способности к экспромту, и мы любили его уроки, хотя нередко он приходил «на взводе».

Вспоминается преподаватель астрономии. Про него говорили, что он первым записался на межпланетный полет, но, увы, до него не дожил.

Упомяну весьма темпераментного учителя физики, Александра Васильевича Перышкина. Это был молодой, подвижный, энергичный человек с взъерошенными волосами. Он учил хорошо и настойчиво, но нередко выходил из себя, нервничал и сердился. Почему-то он недолюбливал меня и, вызывая к доске, часто называл «братец ты мой», что было у него знаком недовольства

Были у нас и другие предметы: немецкий язык, черчение, география, но о них у меня остались весьма смутные воспоминания. Нельзя, однако, обойти вниманием мастерские, в кото-

рых нас приучали к труду Я немного работал в столярной мастерской и более длительно — в переплетной. Учил переплетному делу нас старый рабочий Симонов. Когда начался нэп, он вышел из партии и стал убежденным последователем Троцкого. Поэтому он неустанно вел троцкистскую пропаганду, которая у некоторых из нас имела успех.

Троцкий был очень популярен, особенно среди молодежи, которой нравятся решительные и волевые преобразования. В Москве, в отличие от Ленинграда, преобладали антитроцкистские настроения. Как-то на демонстрации 7 ноября; кажется, 1928 года (а на демонстрации преданности партии нас сгоняли каждый праздник в обязательном порядке), наша колонна надолго встала на Тверской у Страстной (Пушкинской) площади. В угловом доме, на балконе второго этажа, стояли несколько человек, которые выкрикивали какие-то лозунги, было шумно, и разобрать их не представлялось возможным. Вдруг на наших глазах с улицы на балкон влезли проворные молодые люди, побили и втолкнули в комнату тех, кто находился на балконе. Много позже я узнал из книги Троцкого, что это были его последователи, которых прогнали агенты ГПУ. Троцкого я видел, когда он, уже будучи отстраненным от руководящих должностей, в качестве председателя Научно-технического отдела ВСНХ посещал Физико-химический институт имени Л.Я.Карпова, заместителем директора которого был мой отец.

Когда я учился в школе, имя Троцкого упоминалось часто, среди школьников было немало его сторонников. Я, однако, никогда не сочувствовал тому, что получило название «троцкизма», как впрочем и политике Сталина, которую он проводил в жизнь под видом «генеральной линии партии».

Через много лет, когда имя Троцкого опасно было даже упоминать, я был во Франции и прочел в парижской библиотеке его книгу «Моя жизнь» и книгу об убийстве Троцкого. Не могу не признать, что книга его написана талантливо и интересно. Меня особенно взволновали знакомые эпизоды и события, освещенные им с других позиций.

В МОПШКе была традиция. между 8-м и 9-м годами обучения весь класс выезжал на длительную, около месяца, экс-

курсию на заводы и фабрики. Старшая группа ездила на Урал, нас повезли на Украину. Нашим начальником во время экскурсии был Д.М.Кирюшкин, человек мягкий и нерешительный. Слушались его мы плохо, фактически командовала нами его жена — женщина крупная и властная, которая держала нас в страхе и повиновении.

Экскурсия оказалась предприятием несколько авантюрным и нелегким. Несомненно, устраивать нас на ночлег в школах, кормить и водить по заводам и фабрикам было не просто. Тем не менее именно эта экскурсия запомнилась мне более всего из моих школьных лет и, я думаю, дала мне много такого, что не могла дать никакая школа. Мы посетили стекольные заводы в Константиновке, металлургические в Запорожье и Кривом Роге, химические производства, стеклодувные и многие другие мастерские. Возможность видеть все это в натуре, вникнуть и понять рабочую жизнь, почувствовать условия работы стала настоящим введением в жизнь, несравнимым со стажировкой или работой в школьных мастерских. Мы побывали в Харькове, в Киеве, в Запорожье, Сталино (нынешнем Донецке), посетили угольные и соляные шахты, присутствовали на строительстве Днепрогэса — Днепрострое. Несмотря на то, что мы были неустроены и голодны, было интересно и весело.

На Днепрострое мы купались в Днепре, и из мальчишеского удалства я переплыл Днепр. Выйдя на противоположном берегу, почувствовал, что доплыть обратно не смогу. К счастью, мимо проплывал на лодке рыбак, и я обратился к нему с нижайшей просьбой перевезти меня на тот берег. По моемуговору он определил, что я не местный, и спросил, откуда я. Он был очень удивлен, что я переплыл такую реку, но, услышав, что я из Москвы, воскликнул: «Ну, конечно, у вас же там Волга!»

Мы устали от поездки, но когда в конце экскурсии поплыли на пароходе из Днепропетровска в Киев и отведали прекрасной киевской клубники, усталость как рукой сняло и остались лишь яркие и приятные воспоминания.

После поездки на Украину нам было предложено написать нечто вроде дипломной работы. Мне, совместно с другим уче-

ником, досталась тема о химии металлургического процесса. Мы прочли несколько специальных книг и написали довольно объемистое сочинение, в котором детально были описаны доменный и мартеновский процессы со схемами и рисунками, формулами и выкладками. Это был, наверное, мой первый научный труд по химии.

Между 7-м и 8-м классами я опять был изъят из школы и учился дома. Гуманитарные предметы, историю и элементы философии преподавал мне Николай Николаевич Вильям (или Вильям-Вильмонт), шурин архитектора Александра Леонидовича Пастернака. От него я узнал, что «какая-то история» была и до I-го Интернационала; он увлекательно рассказывал мне о Древнем Египте, Древней Греции и о философских школах помимо «единственно правильного» диалектического материализма. Благодаря ему образование мое и интересы значительно расширились. Русской литературе и искусству учила меня Наталья Ильинична Игнатова, наконец, физике и математике я обучался у Всеволода Ивановича Кобозева. Мне нравился этот молодой и собранный человек, благодаря которому я научился думать о законах природы.

Надо сказать, что домашнее обучение, хотя и было отрывочным и несистематическим, расширило мой кругозор за пределы школьной программы и того ограниченного пространства, что нужно «строителю коммунизма». Мои домашние преподаватели были представителями старой интеллигенции, критически относившимися к советской власти и коммунизму; высказывания их не зависели от жестких границ школьной программы и недремлющего ока бдительности.

Тем не менее все мы, молодежь, были против «буржуев» и не сомневались в правильности коммунистической идеологии. В отличие от молодых людей прежних поколений, описанных в классической литературе, мы не задавались вопросом, что есть истина. «Истину» нам прививали усердно и методично, и сомневаться в ней было немыслимо. Поэтому я, конечно, был пионером и мечтал, чтобы меня приняли в комсомол. В девятом классе я подал заявление. На собрании сочли, что я хорошо знаю устав и программу и «предан делу партии и комсомола», но нет у меня «комсомольского духа». Из-за от-

существования «духа» я был принят лишь в кандидаты комсомола и только через два года — в члены.

В это время (1929—1930 годы) у меня впервые появились сомнения в правильности генеральной линии партии. Это было вызвано не только и не столько приходом к власти Сталина, коллективизацией, индустриализацией и сопровождавшими их лишениями, голодом, всеобщим недовольством и ропотом, сколько постоянными размышлениями о философских и экономических основах социализма. Особенно тяжело было угнетение прав личности, стрижка всех под одну гребенку, ограничение свободы мысли. Стало опасно не только говорить что-то «лишнее», но даже думать об этом. Все мы славословили «мудрую генеральную линию партии» и «гений великого Сталина» — малейшая неосторожность приводила к аресту, а нередко и к расстрелу. Кругом кричали о «вредителях» и «врагах народа». Вслед за уничтожением «бывших» и дворянства шло истребление интеллигенции. Разжигали ненависть к ученым, инженерам, деятелям культуры, ко всем, кто не повторял как попугай лозунги и указания партии. Судилища над инженерами — Шахтинское дело, затем процесс Промпартии — должны были показать низость и падение «буржуазных специалистов» и необходимость создания новой рабочей интеллигенции.

Незадолго до окончания школы мы, несколько «мопсов», совершили прогулку на велосипедах из Москвы в Редькино и обратно. Близ Редькина находилось торфяное хозяйство, созданное и возглавлявшееся Иваном Ивановичем Радченко, старым большевиком и соратником Ленина, дядей одного из наших товарищей — Богдана Хачатурянца. Кстати, поселок Редькино и ТОЗ (торфяной опытный завод) позднее стали носить имя Радченко.

Кроме Богдана, в этой небольшой экскурсии приняли участие Юра Карпов, Володя Травкин и Женя Горбатов. Володя Травкин был принят в школу в порядке «орбочивания», вследствие чего мы все старались подражать ему как представителю рабочего класса. Ехали мы по Ленинградскому шоссе, тогда местами мощенному булыжником; по пути встречались лошади, коровы, все прохожие были плохо одеты, как и мы.

В это лето 1930 года шла коллективизация, и жить стало труднее. Продуктов, кроме хлеба, с собой почти не взяли, но была у нас мелкокалиберная винтовка, а у меня еще и пистолет.

Вскоре проголодались и, проехав километров сто, стали искать пропитание. В лесу подстрелили сову и, поджарив ее на костре, съели. Уже подъезжая к Редькину, поймали гуся, скрутили ему шею и снова поджарили на костре. Уехать нам удалось незамеченными, но все-таки это была, конечно, кража — наши моральные устои были еще довольно зыбкими.

В Редькине подъехали к Волге. Было холодно, сентябрь, но я из молодечества демонстративно искупался в реке. Под утро нас навестила группа местных ребят, которые решили, что мы приехали отбивать у них девчонок, и нам с трудом удалось уладить назревавший конфликт. Вернувшись домой, я отлеживался после трудной дороги, но с удовольствием вспоминал это приключение.

С началом коллективизации обстановка в стране резко переменялась. Помимо ухудшения материального положения, введения карточек на продукты и начинавшегося голода, на смену относительной свободе времен нэпа пришли террор, аресты и прочие репрессии. Усилилась повсеместная слежка, стали сажать в тюрьму за неосторожное слово и особенно за антисоветские анекдоты; самым опасным было рассказать анекдот про Сталина, которых ходило множество.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ ЛЕНИНА

26 марта 1924 года В.П.Воробьев со своими помощниками П.И.Карузиным, Б.И.Збарским, А.Л.Шабадашем, А.Н.Журавлевым и Я.Г.Замковским приступил к работе по бальзамированию тела В.И.Ленина на длительный срок. Общее наблюдение за этими работами было поручено подкомиссии в составе Л.Б.Красина и профессоров Б.С.Вейсброта и В.Н.Розанова. Наиболее важные вопросы решались Комиссией по увековечению памяти В.И.Ленина или лично ее председателем Ф.Э.Дзержинским. Поскольку Дзержинский возглавлял тогда ГПУ, аппарат этого мощного ведомства и Комендатура Кремля привлекались к удовлетворению нужд и потребностей, возникавших в ходе работы.

Задача бальзамирования тела Ленина являлась не только очень ответственной, что создавало напряженную обстановку, требовавшую постоянного внимания и связанную с опасностью малейшей неудачи, но и чрезвычайно сложной по сути дела. Были необходимы оригинальные изыскания, нередко приходилось решать непредвиденные проблемы.

Учитывая удручающее состояние тела, Воробьев придавал особое значение акту Правительственной комиссии. Чтобы наглядно показать состояние кожных покровов, Б.И.Збарский пригласил архитектора А.Л.Пастернака, который акварельными красками скопировал на ватманскую бумагу цвет девяти участков кожи трупа.

Действительно, во всем мире не было ни определенного опыта сохранения прижизненного облика умершего на длительное время, ни готовых проверенных способов для решения такой задачи. Существовали лишь отдельные фрагменты, представлявшие собой, главным образом, методы хранения

анатомических препаратов Использование и обобщение таких фрагментов требовали напряженной мыслительной и экспериментальной работы, в ходе которой намеченные пути то и дело приходилось менять по мере того, как появлялись неожиданные затруднения и препятствия.

Трудность задачи усугублялась тем, что после смерти Ленина прошло уже более двух месяцев, тело хранилось при меняющейся температуре, частично при сильном морозе, в условиях, когда при прохождении массовых делегаций существовала опасность занесения тех или иных микроорганизмов. В марте с весенним потеплением появились значительные изменения, связанные с высыханием и начавшимся разложением некоторых частей трупа. К тому же при вскрытии были перерезаны кровеносные сосуды, из-за чего осложнялось пропитывание тела бальзамирующими растворами.

Как уже говорилось, в основу сохранения тела был положен метод русского патологоанатома Н.Ф.Мельникова-Разведенкова, разработанный в конце прошлого века и испытанный на отдельных частях тела, анатомических препаратах, погруженных в жидкость или залитых в желатин, и усовершенствованный В.П.Воробьевым. Это касалось удаления пергаментных и других пятен при помощи мацерации растворами уксусной кислоты и обработки перекисью водорода с дальнейшим пропитыванием смесью глицерина и уксуснокислого калия. Для дезинфекции и устранения начавшегося разложения использовали хинин, тимол и другие дезинфицирующие вещества. Раствор уксуснокислого калия и глицерина соединял эластичность тканей, благодаря пропитке глицерином, с удержанием влажности, обеспечиваемой гигроскопичностью ацетата калия. Особенно важным было сохранение натуральной окраски кожных покровов и предохранение от появления бурого оттенка, вызываемого фиксацией формалином.

На следующий день после смерти Ленина А.И.Абрикосов, вскрывая тело, ввел в аорту специальный раствор, состоявший из 30 частей формалина, 20 частей спирта, 20 частей глицерина, 10 — хлористого цинка и 100 — воды. Это обычное бальзамирование предназначалось для сохранения тела

на несколько дней до похорон. Однако, как уже говорилось, пока в Политбюро и в Комиссии по увековечению памяти Ленина шли дискуссии, прошло более двух месяцев, и в состоянии тела произошли значительные изменения, зафиксированные Правительственной комиссией 26 марта перед началом работы по бальзамированию.

Мозг, сердце и пуля, извлеченные из тела Ленина при вскрытии, были переданы 24 января 1924 года на постоянное хранение представителю Института Ленина при ЦК РКП(б) А.Я.Аросеву.

Мозг тщательно изучался в специально созданной Лаборатории по изучению мозга В. И. Ленина, которая вначале помещалась в шести комнатах Института Ленина, а затем была преобразована в Институт мозга (теперь Институт мозга Российской Академии медицинских наук). Основная работа была проведена немецким профессором Оскаром Фогтом в Берлине и в Москве с участием советского профессора С.А.Саркисова. Были описаны многочисленные болезненные изменения в мозге, но отмечалось, что он, в особенности в лобной доле, был богат бороздами и извилинами, что указывало на выдающиеся способности.

Сердце и пуля, вместе с частями органов, оставшимися после микроскопического исследования, были переданы на хранение в постоянный мавзолей, о чем свидетельствует расписка коменданта мавзолея В.В.Тренина от 25 ноября 1931 года.

Бальзамирование на длительный срок начали с промывания всех полостей тела водой, содержащей немного уксусной кислоты, и разведенным раствором перекиси водорода. Затем все тело обработали формалином. Он фиксирует ткани и является мощным дезинфицирующим средством, подавляющим микроорганизмы и действие ферментов Вату, пропитанную однопроцентным раствором формальдегида, наложили на лицо и руки, а для проникания формалина в глубь тканей расшили наложенные швы и произвели разрезы на спине, животе, плечах, предплечьях, голених и на нижней поверхности кистей рук и пальцев. Постепенно повышали концентрацию формальдегида, вводя раствор путем вливания в полости тела

и инъекций. Затем тело погрузили в ванну с трехпроцентным формальдегидом. В течение всего процесса бальзамирования Воробьев тщательно устранял потемневшие участки кожи, размягчая их разведенной уксусной кислотой и отбеливая перекисью водорода.

Через неделю хорошо зафиксированное формалином тело погрузили в ванну с 20-процентным спиртовым раствором, по мере необходимости обрабатывая лицо и руки раствором большей концентрации. Эта процедура значительно повышала проницаемость растворов и улучшала окраску кожи. Затем в ванну стали добавлять глицерин, доведя его концентрацию до 20%, и пропитывали тело этим спирто-глицериновым раствором в течение двух недель. После чего тело погрузили в водный раствор глицерина, постепенно повышая его концентрацию.

На этом этапе ткани стали мягче и эластичнее, и в конце апреля удалось вставить глазные протезы и аккуратно сшить веки и губы, устранив их расхождение. В течение июня постепенно добавляли уксуснокислый калий, и к концу этого месяца ванна содержала 240 литров глицерина, 110 килограммов ацетата калия и 150 литров воды. Этот раствор пропитывал все ткани, придавал им эластичность, сохранял окраску и предохранял от высыхания. Для дезинфекции добавляли хинин и тимол. Применение тех или иных дезинфицирующих средств и неиспытанных химических реактивов было связано с особыми трудностями и требовало срочных лабораторных опытов, проводимых главным образом Б.И.Збарским, пользовавшимся консультациями своего учителя А.Н.Баха и находившегося тогда в Москве известного немецкого биохимика Карла Нейберга. На протяжении всей работы, по мере необходимости, отдельные места локально обрабатывали формалином или спиртом и отбеливали пятна с помощью уксусной кислоты и перекиси водорода.

Мавзолей находился в ведении Комендатуры Кремля, в свою очередь подчиненной на первых порах Ф.Э.Дзержинскому, который руководил не только ОГПУ—НКВД, но и Комиссией по увековечению памяти Ленина, а затем В.Р.Менжинскому, Г.Г.Ягоде и Н.И.Ежову, последовательно сменяв-

шим друг друга в должности начальника ОГПУ—НКВД. Благодаря этому всеильному ведомству все необходимые реактивы выписывались из-за границы. Поскольку в других научных учреждениях выписка реактивов практически не производилась, этим преимуществом нередко пользовались и для исследовательской работы, не связанной с сохранением тела Ленина.

В соответствии с пожеланиями Воробьева на время бальзамирования, с 26 марта 1924 года, мавзолей был закрыт для посещения и обеспечивались все условия, необходимые для работы. С первых дней работа была крайне напряженной и нервной. Но по рассказам отца, отношение медицинской комиссии, наблюдавшей за бальзамированием, в составе наркома здравоохранения Н.А.Семашко и профессоров В.Н.Розанова и Б.С.Вейсброда, и особенно Правительственной комиссии и возглавлявшего ее Ф.Э.Дзержинского, было очень внимательным и предупредительным.

Работали в глубинном, плохо приспособленном помещении мавзолея при температуре около 0°, днем и ночью, ни на минуту не оставляя тело без присмотра, сознавая крайнюю ответственность поручения, буквально не отрывая глаз от трупа, неимоверными усилиями стараясь приостановить начавшееся разложение и высыхание.

Самые напряженные первые дни доводили В.П.Воробьева, Б.И.Збарского и других участников работы до истощения, и они с трудом добирались до выделенных им двух комнат в гостинице «Варваринское подворье». Из воспоминаний Б.И.Збарского: «Мы почти не выходили из Мавзолея в течение нескольких дней. Без сна и отдыха мы настолько переутомились, что едва держались на ногах. Узнав об этом, Ф.Э.Дзержинский вызвал меня к себе: «Что вы делаете? Разве так можно?» Узнав от меня, что предпринятые нами мероприятия требуют непрерывного наблюдения, он взял с меня слово, что мы с Воробьевым будем чередоваться и часть дня отдыхать. Через два-три часа после этой беседы на Красной площади появилась группа рабочих и инженеров, и в течение одной ночи к Мавзолею проложены были трамвайные рельсы и провода, а на другой день возле Мав-

золея появился специально оборудованный вагон трамвая. В этом вагоне были приготовлены для нас постели, умывальные принадлежности, электрические плиты и т.п. В рабочем помещении поставили нагревательные приборы, доводя температуру до $+16^{\circ}$ ».

В первые же дни работы необходимо было поместить тело в специальную ванну для наилучшего пропитывания бальзамирующими растворами. Воробьев отказался от обычной ванны, так как металл мог вступать в реакции с компонентами бальзамирующей жидкости. Этих недостатков был бы лишен сосуд из стекла, для чего немедленно дали поручение руководителю участвующей мастерской, изготавливавшей стеклянные изделия, Н.И.Курочкину срочно, в течение одного-двух дней, изготовить требуемую ванну.

Насмерть перепугавшись срочного вызова к Ф.Э.Дзержинскому, Курочкин обещал выполнить этот заказ при надлежащих условиях (что он и сделал впоследствии), но сказал, что срочно выполнить его не сможет.

Тем не менее потребность в ванне была неотложной, поэтому решили на первых порах воспользоваться резиновым сосудом. Была суббота, кончился рабочий день. Дзержинский вместе с учеными отправился на завод «Каучук» на окраине Москвы, нашел директора и объяснил ему, что изделие требуется срочно для дела правительственной важности. Включили гудок, перепуганные рабочие прибежали на сигнал тревоги, Дзержинский обратился к ним: «Товарищи! По правительственному заданию срочно нужна резиновая ванна к понедельнику». Коллектив завода тут же взялся за выполнение необычного заказа, и он был выполнен в срок. Так же быстро удовлетворялись и другие потребности в реактивах и оборудовании. Вскоре на заводике Н.И.Курочкина была изготовлена и специальная стеклянная ванна.

Приблизительно через месяц после начала работы напряжение несколько спало, казалось, что все идет удачно. Воробьеву разрешили краткую передышку, с тем чтобы после него отдохнуть смог и Збарский. Однако в этот период применение одного дезинфицирующего средства вызвало неожиданное потемнение кожи, и испуганный Збарский в два часа

ночи, по прямому проводу из секретариата ГПУ, вызвал Воробьева. Будучи расстроенным и взвинченным, он громко кричал в трубку, прося Воробьева срочно приехать и объясняя ему, что произошло. Неожиданно, к его удивлению, перед ним возник Ф.Э.Дзержинский. Оказалось, что он в это время спал у себя в кабинете и отец разбудил его своим криком. Феликс Эдмундович пригласил отца в кабинет, успокоил его, попросил рассказать, что произошло, и выразил надежду, что в спокойном состоянии легче будет во всем разобраться и привести в норму. Несмотря на временные неудачи, работа продвигалась вперед и по прошествии полутора-двух месяцев уже было видно, что она должна завершиться успешно.

В конце мая 1924 года проходил XIII съезд партии, первый после смерти В.И.Ленина. По просьбе делегатов съезда 26 мая, во время перерыва, им было разрешено посетить мавзолей и осмотреть тело Ленина. Те из них, кто видел Ленина живым, отметили сохранение сходства, что вдохновило участников бальзамирования, укрепив в них уверенность в успехе. Особенно важным было свидетельство Н.К.Крупской и брата Ленина Д.И.Ульянова. Оба они признавали: сходство сохранено настолько, что можно подумать, будто Владимир Ильич спит. Вот слова Д.И.Ульянова: «Я сейчас ничего не могу сказать, я сильно взволнован; он лежит таким, каким я видел его тотчас после смерти».

В первой половине июня в Москве проходил V конгресс Коминтерна. По предложению Комиссии по увековечению памяти Ленина работа была прервана на короткий срок и на один день мавзолей был открыт для делегатов конгресса. Так как работа продвигалась в соответствии с планом и должна была закончиться в ближайшем будущем, в газетах появилось следующее официальное сообщение:

От Комиссии ЦИК СССР по увековечению памяти В.И.Ульянова-Ленина.

В первую же ночь после смерти Владимира Ильича тело его было подвергнуто бальзамированию и вскрытию, результаты которого своевременно опубликованы в печати.

Бальзамирование было произведено профессором Московского

университета А.И.Абрикосовым, которому была поставлена задача сохранить тело В.И. на ближайшее время до предания его земле.

Утром 23 января тело Владимира Ильича перевезено было в Москву и помещено в Колонном зале Дома Союзов.

Всем памятни дни, когда сотни тысяч людей при 28 градусах мороза простаивали часами на улице, стремясь увидеть облик Владимира Ильича и запечатлеть черты любимого вождя.

26 января последовало постановление II Съезда Советов Союза ССР о сохранении тела Владимира Ильича.

В течение трех суток непрерывно был открыт доступ в Дом Союзов, но срок этот оказался недостаточным для значительной части населения Москвы.

Затем Правительством было принято решение не предавать тело Владимира Ильича земле, а поместить его в Мавзолей и продлить доступ желающим.

Целый ряд рабочих организаций Москвы и приезжих делегаций союзных республик, многие из которых не имели возможности увидеть Владимира Ильича при жизни, непрерывно притекали на Красную площадь. В течение полутора месяцев было допущено в Мавзолей более 100 000 человек.

В этот же период поступил ряд писем и телеграмм от представителей иностранных организаций с просьбой дать возможность и им увидеть покойного.

Первоначальное бальзамирование имело целью сохранение тела на короткий срок, но время делало свое дело. В некоторых частях тела появилась пигментация, изменение цвета покровов, что указывало на начавшиеся процессы, могущие повлиять на дальнейшее сохранение тела. Ввиду этого Комиссия ЦИК СССР по увековечению памяти В.И.Ульянова-Ленина устроила ряд совещаний со специалистами, вызванными из разных мест республики, для выяснения вопроса о возможности длительного сохранения тела Владимира Ильича без изменений.

В результате совещаний специалистов выяснилось, что для длительного сохранения тела необходимо новое специальное бальзамирование, которое было поручено профессору анатомии Харьковского мед. института В.П.Воробьеву.

К новой бальзамировке приступили 26 марта, о чем своевременно появилось официальное сообщение.

Способ бальзамирования заключается в 1) придании однообразного характера тканям, изменившим цвет и консистенцию, с тканями нормальными; 2) введении веществ, препятствующих автолизу. 3) замещении тканевой влаги неиспаряющимися веществами.

Со времени начала бальзамирования прошло два месяца, наиболее трудные этапы его пройдены. В настоящее время процесс, находясь в последней стадии, дал возможность делегатам XIII съезда РКП увидеть облик покойного руководителя Партии.

Доступ в Мавзолей для широких масс будет возможен в ближайшем будущем, о чем комиссия своевременно сделает соответствующее сообщение.

Пока в подземной части мавзолея шла работа по бальзамированию тела В.И.Ленина, на поверхности производилась реконструкция самого мавзолея и Красной площади. Еще 26 февраля 1924 года, то есть за месяц до начала работы В.П.Воробьева и его помощников, на заседании исполнительной тройки был утвержден окончательный проект временного деревянного мавзолея, представленный академиком А.В.Щусевым, с поправками, касающимися верхушки здания в виде усеченной пирамиды на пятнадцати колоннах, покрытых медью. Еще до этого, на заседании 21 февраля, было принято решение о создании института и музея В.И.Ленина.

Получив правительственное задание перестроить мавзолей, выдающийся архитектор А.В.Щусев представил удачный проект, согласно которому здание имело монументально-художественный вид, сохранив архитектурное сочетание с Кремлевской стеной и Красной площадью и служа при этом своего рода трибуной, с которой вожди партии и государства могли принимать парады и демонстрации.

Этот второй деревянный мавзолей был построен уже летом 1924 года. Он был прототипом современного гранитного. По размеру значительно крупнее первого временного склепа, он представлял собой единое здание, в центре его находилась широкая входная дверь, по сторонам которой стоял почетный караул. С обеих сторон имелись боковые лестницы, ведущие к трибунам, расположенным по краям мавзолея. В средней

части здания находилась усеченная пирамида из шести ступеней, на широкой второй ступени черными брусками было инкрустировано. «ЛЕНИН». Пирамиду венчал портик — пятнадцать небольших колонн квадратного сечения подпирали трехступенчатую усеченную пирамиду.

Основная часть мавзолея продолжала оставаться под землей. Там находился траурный зал, в центре которого поместили саркофаг с телом В.И.Ленина.

Мавзолеем окружал шестиугольный сквер, окаймленный невысокой металлической решеткой. Одновременно была произведена первая реконструкция Красной площади с устранением памятников и монументов; в том числе была разобрана статуя рабочего, стоявшая у Сенатской башни, возле самого мавзолея. Строительство начали в марте 1924 года и завершили в конце мая, но мавзолеем оставался закрытым до окончания процесса бальзамирования.

Работа по сохранению тела В.И.Ленина на длительный срок приближалась к завершению. Были устранены изменения, вызванные морозом, оттаиванием и хранением в течение двух с лишним месяцев в условиях посещения мавзолея делегациями и отдельными посетителями. Теперь все тело было пропитано бальзамирующей жидкостью, сохранив нормальный тургор и окраску, свойственную только что умершему. Тело либо лежало в ванне, либо, во время осмотра посетителями, его обматывали бинтами из натурального каучука и надевали полученные Б.И.Збарским от Н.К.Крупской белье и френч — тот самый, что Ленин носил в Горках.

Хранение в таком полувлажном состоянии требовало постоянного наблюдения и ухода, состоявшего в частом смачивании лица и рук, открытых для обозрения, и периодического проведения профилактических работ, включавших погружение тела в ванну с бальзамирующим раствором. Отсутствие полной стерильности не исключало попадания микроорганизмов, в особенности плесени, удаление которых требовало специальной обработки.

Напряженная работа по бальзамированию была завершена, как и предполагал Воробьев, за четыре месяца. Перед принятием работы Комиссией по увековечению памяти Лени-

на Воробьев потребовал, чтобы тело осмотрела и дала компетентное заключение специальная Правительственная комиссия экспертов. Эта комиссия работала с 22 по 27 июля 1924 года и составила следующий акт:

Комиссия в составе Н.Ф. Мельникова-Разведенкова (Краснодар), В.Н. Тонкова (Ленинград) и К.З. Яцуты (Ростов н/Д) ознакомилась с протокольным материалом и изучила вид и состояние тела В.И. Ленина в течение 22 — 27 июля 1924 г. после бальзамирования, проведенного профессором В.П. Воробьевым, и единогласно пришла к заключению:

1. Проведенное бальзамирование считать вполне удавшимся.
2. Все ткани равномерно пропитаны бальзамическими и невысыхающими веществами.
3. Полное и совершенное пропитывание достигнуто при помощи хорошо продуманной и искусно выполненной системы поверхностных и глубоких, коротких и длинных, сообщающихся между собой разрезов, открывших доступ бальзамическим жидкостям ко всем тканевым элементам и даже костям.
4. Наружные покровы окрашены в ровный, мертвенно-бледный с желтоватым оттенком цвет, без следов пергаментных и других каких бы то ни было пятен. Кожа и подлежащие ткани отличаются влажностью, полупросвечивают; консистенция их эластичная, приближается по напряженности к нормальной.
5. Окраска улучшилась. Не только прекращен начавшийся процесс разложения, но и удачно ликвидированы вредные для сохранения последствия от него.
6. Бальзамирование проведено на прочных научных основаниях, дающих право рассчитывать на продолжительное, в течение ряда десятилетий, сохранение тела в состоянии, позволяющем обозревание его в закрытом стеклянном гробу, при соблюдении необходимых условий влажности и температуры.
7. Для длительного сохранения тела необходимо постоянное внимательное наблюдение и уход.
8. Научное единение даровитых представителей анатомии (В.П. Воробьев) и биохимии (Б.И. Збарский) вселяет уверенность в длительном сохранении тела В.И. Ленина.
9. Опыт сохранения анатомических препаратов по принципу

профессора В.П. Воробьева доказывает их стойкость в течение не менее 30 лет.

24 июля мавзолеей посетила комиссия Наркомздрава РСФСР в составе наркома Н.А. Семашко, профессора В.Н. Розанова и доктора А.П. Савельева. Осмотрев тело Ленина в присутствии экспертов (Н.Ф. Мельникова-Разведенкова, В.Н. Тонкова и К.З. Яцуты), комиссия отметила равномерную, желтовато-бледную окраску всего лица и тела; отсутствие землистого оттенка губ, которые, как и веки, плотно соединены между собой. По мнению этой комиссии, консистенция всей кожи мягка, равномерно эластична. Следов тления не наблюдается. Общий вид улучшился и приближается к виду недавно умерших. Комиссия отмечает необходимость постоянного наблюдения и периодического осмотра экспертами.

Наконец, 26 июля, ровно через четыре месяца после начала бальзамирования, как и обещал Воробьев, работу приняла Комиссия по увековечению памяти В.И. Ульянова-Ленина в составе Ф.Э. Дзержинского (председатель), В.А. Аванесова, В.Д. Бонч-Бруевича, К.Е. Ворошилова, А.С. Енукидзе и Л.Б. Красина в присутствии народного комиссара здравоохранения Н.А. Семашко, коменданта Кремля Р.А. Петерсона, его помощника А.Я. Беленького и профессоров и врачей: В.П. Воробьева, А.Н. Журавлева, Я.Г. Замковского, Б.И. Збарского, П.И. Карузина, Н.Ф. Мельникова-Разведенкова, В.Н. Розанова, А.П. Савельева, В.Н. Тонкова, А.Л. Шабадаша и К.З. Яцуты.

Эта расширенная комиссия произвела детальный осмотр тела В.И. Ленина в стеклянном гробу и пришла к заключению, что Владимир Ильич выглядит почти как в день смерти: «Это блестящий результат работ, проведенных под руководством профессора В.П. Воробьева».

На заседании этой расширенной комиссии в тот же день был заслушан подробный доклад В.П. Воробьева, получивший полное одобрение. Комиссия отметила, что примененный новейший способ сохранения на длительный период тела Владимира Ильича вполне удачен.

Затем выступил Л Б Красин по вопросу о медицинском надзоре за дальнейшим сохранением тела В И Ленина По его выступлению была принята следующая резолюция

а/ Общий надзор принадлежит Комиссии по увековечению памяти В.И Ульянова-Ленина

б/. Периодический осмотр и наблюдение возложить на В П Воробьева и Б.И. Збарского с предоставлением им права выбирать себе помощников и заместителей по их личному усмотрению

в/. Поручить комиссии в составе В П. Воробьева и Б.И. Збарского выработать подробную инструкцию по наблюдению за состоянием тела В И. Ленина.

Вслед за этим Л.Б Красин внес на рассмотрение вопрос о научном описании истории бальзамирования тела В.И Ленина. По этому вопросу решено было поручить В.П Воробьеву и Б.И. Збарскому:

а/. Составить подробное описание всей проведенной работы и всех результатов по бальзамированию тела В И. Ленина Описание передать в Институт Ленина

б/. Составить популярную брошюру о бальзамировании (вообще) и описании методов, примененных при бальзамировании тела В.И. Ленина.

в/. Разрешить В.П. Воробьеву и Б И Збарскому опубликование научных статей, связанных с бальзамированием. Все записи и рисунки передать в Институт Ленина

К сожалению, последнее решение не было выполнено, если не считать изданной в 1944 году и переизданной в 1945 и 1946 годах брошюры Б.И. Збарского «Мавзолей Ленина» и подробного описания им истории и методов бальзамирования тела Ленина, хранящегося под грифом секретности в лаборатории при мавзолее В И Ленина

В заключение заседания секретарь президиума ВЦИК А.С. Енукидзе сказал.

«По поручению Комиссии по увековечению памяти В И Ульянова-Ленина, позвольте обратиться к вам, многоува-

жаемый Владимир Петрович Воробьев, и к вашим ближайшим коллегам по работе, профессорам Збарскому, Шабашу, Журавлеву, Замковскому и Карузину, а также ко всем товарищам, присутствующим здесь и принимавшим участие в этой работе, со следующими словами

Сохранению тела Владимира Ильича не только данная комиссия, но и вся наша партия и заседавший в январе II съезд Советов Союза ССР придавали и придают громадное значение... Не было еще человека в мировой истории, который пользовался бы при жизни такой величайшей популярностью и любовью со стороны широчайших масс рабочих и крестьян всего мира. Мы хотели сохранить тело Владимира Ильича не для того, чтобы просто популяризовать его имя, а придавали и придаем величайшее значение сохранению облика этого замечательного вождя для подрастающего поколения и для будущих поколений, а также тех сотен тысяч, может быть, миллионов, людей, которые будут в высшей степени счастливы увидеть облик этого человека. Поэтому вы прекрасно понимаете то волнение, которое мы переживали в первый период работы за сохранение тела Владимира Ильича. Было много колебаний и сомнений и среди Комиссии, и среди тех специалистов, которых мы привлекли к этой работе.

Четыре месяца тому назад, когда мы на одном из заседаний не могли прийти к твердому убеждению, что мы сумеем сохранить на длительное время в достаточной степени облик Владимира Ильича, мы все прекрасно помним, как тогда профессор Воробьев взял на себя, я бы сказал, очень смелую задачу. И сегодня, ровно через четыре месяца, как и обещал нам профессор Воробьев, результаты произведенных им работ, по определению авторитетнейших экспертов, вселили в нас уверенность, что эта работа завершилась удовлетворительно

Мы с уверенностью констатируем, что те сотни тысяч, я уверен, что даже миллионы, людей, которые горят желанием посетить Мавзолей Владимира Ильича и взглянуть на облик великого вождя, получают возможность в ближайшие годы и десятилетия посещать эту могилу

Сотни тысяч людей с благодарностью вспомнят имена и работу тех, кто создали возможность посещать могилу Владимира Ильича и видеть его облик. Ваша работа, безусловно, создаст вам большую популярность как со стороны партийных товарищей Владимира Ильича во всех странах мира, так и со стороны широких народных масс...

Могилы Владимира Ильича — это единственная могила, к которой никогда не зарастет путь, и можно смело сказать, что она будет посещаемая во все времена.

Позвольте мне поблагодарить вас, Владимир Петрович, от имени Комиссии за ту блестящую и неустанную работу, которую вы проделали за эти четыре месяца, и за те большие достижения, которые вы получили, и притом в срок».

После окончания бальзамирования в газетах от 30 июля появилось официальное извещение об открытии мавзолея: «29 июля Комиссия по увековечению памяти В. И. Ленина сообщила, что открытие Мавзолея Владимира Ильича Ленина состоится 1 августа в 18 часов». К открытию было приурочено торжественное перенесение знамени Парижской коммуны 1871 года, переданного 6 июля французскими коммунистами рабочим Москвы, из помещения Московского комитета РКП(б) в мавзолей. Знамя заключают в деревянный футляр под стеклом и устанавливают у изголовья В.И. Ленина. У знамени стоит почетный караул. Прохождение рабочих и воинских делегаций длится до поздней ночи.

На следующий день в «Известиях» появились портреты и краткие биографии профессоров В.П. Воробьева и Б.И. Збарского.

28 августа 1924 года в газетах было опубликовано постановление Совнаркома СССР.

Ознакомившись с результатами работ по бальзамированию тела Владимира Ильича Ульянова-Ленина, произведенных группой профессоров и врачей, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Выразить благодарность от имени Правительства следующим работавшим по бальзамированию тела Владимира Ильича Ульянова-Ленина гражданам:

Проф. Воробьеву Владимиру Петровичу, д-ру Журавлеву Александру Николаевичу, д-ру Замковскому Якову Григорьевичу, проф. Збарскому Борису Ильичу, проф. Карузину Петру Ивановичу, д-ру Шабадашу Арнольду Леоновичу.

2. Профессору Воробьеву Владимиру Петровичу, руководившему означенными работами, присвоить звание заслуженного профессора.

Благодарность была объявлена также профессорам Б.С. Вейсброду, Н.Ф. Мельникову-Разведенкову, В.Н. Розанову, В.Н. Тонкову и К.З. Яцуте, а также доктору А.П. Савельеву и народному комиссару здравоохранения РСФСР Н.А.Семашко.

Звание заслуженного профессора присуждалось впервые и, поскольку тогда еще не существовало заслуженных деятелей науки, у Воробьева оно является единственным в своем роде.

Я окончил среднюю школу с химическим уклоном в 1930 году. Этот год следовал за «годом великого перелома» — 1929-м, когда проводилась сплошная коллективизация и ликвидация кулачества как класса. Деревня роптала, миллионы крестьян ссылали в концентрационные лагеря, и за относительным благополучием нэпа наступила нужда, а затем и голод. За коллективизацией последовала ломка всего уклада жизни, включая и образование. Решили покончить с буржуазными традициями, создавать социалистическое общество и рабоче-крестьянские кадры во имя «светлого будущего — коммунизма».

Мне еще не было семнадцати, и меня не принимали в вуз, хотя я очень хотел учиться и потеря каждого года казалась мне огромным упущением в жизни. Помимо этого, отец внушал мне, что учиться в школе легко и просто, для этого не нужно ни способностей, ни прилежания, а вот высшее образование не для каждого, оно требует знаний, способностей, напряженного труда и т.п. Я был напуган и отнюдь не уверен, смогу ли продолжить образование.

Прошел год, в течение которого несколько месяцев я проработал лаборантом в аналитической лаборатории Центрального института курортологии Наркомздрава СССР, надеясь поехать в экспедицию в далекие, неведомые и привлекательные края. Однако это мне не удалось, и остальную часть года я проболтался, много читая и немного занимаясь науками.

Работы в Институте курортологии было мало, но зато я научился грамотно производить анализ минеральных вод, овладел умением точно титровать и методами определения радиоактивности, которая тогда рассматривалась как лечеб-

ный фактор. Как-то у входа в институт прилично одетая дама спросила меня, не знаю ли я одну сотрудницу аналитической лаборатории. Забыв о «комсомольском духе», я вежливо объяснил ей, что я как раз из этой лаборатории, и проводил ее туда. Она повернулась ко мне, поблагодарила и сказала: «Вы очень хороший молодой человек». И добавила: «Вы очень *несовременный* молодой человек».

Впереди была жизнь, и, как все юноши, я много думал о смысле ее и о том, чему я должен посвятить себя. Мысленно я описывал свои переживания, увлечения, радости и разочарования, всплески вдохновения и отчаяния. Мне казалось, что я смогу многое — общечеловеческое и понятное людям — отразить на бумаге, и мне хотелось писать и писать.

Однако всякое искреннее выражение мыслей и чувств грубо подавлялось и рассматривалось как вылазка классового врага. Дневники или другие рукописи, в которых искренне выражались мысль и душа, несли в себе роковую опасность: за них арестовывали, ссылали или даже расстреливали. Я не мог писать неискренне, и хваленая советская литература, которой пичкали нас в школе и которую настойчиво пропагандировали в печати, вызывала у меня отвращение. Советских писателей того времени я воспринимал как приспособленцев и проституток, а проституткой я быть не хотел и не мог.

Несмотря на то, что нам вдалбливали «истину», а религиозная и всякая немарксистская литература, да и любое вольномыслие были запрещены, я подолгу думал и старался осмыслить как законы природы и общества, так и окружающую действительность. Я перестал воспринимать все на веру и проникся скепсисом. Политика и диктатура Сталина были мне омерзительны, а разрушение старой России и нарастающие репрессии меня подавляли и порождали ненависть.

Видя, что малейшее сомнение в правильности «генеральной линии партии» приводило к арестам и исчезновению множества людей, я научился тщательно скрывать свои чувства и мысли. Под этим гнетом пришлось прожить почти всю жизнь, и только постоянная осторожность и скрытность, а может быть, и случайность, спасли меня от жестоких репрессий. Приходилось, как и всем, долбить «единственно пра-

вильную» философию, теорию коммунизма и историю партии и вдалбливать все это другим

Но оставалась наука, к которой я питал глубокий интерес. К науке я относился с чрезвычайным пиететом и уважением, призвание свое видел в исследовании, познании неизвестного, проникновении в тайны природы. В силу традиции, да и интереса, я хотел стать химиком или биохимиком, как мой отец. И поэтому решил пойти учиться в Московский университет, который был для меня храмом науки.

В это время, однако, происходила коренная ломка науки и образования. «Буржуазная интеллигенция» не устраивала «диктатуру пролетариата». Недавно прошедшие Шахтинское дело и процесс Промпартии должны были показать, что эта самая буржуазная интеллигенция занималась вредительством, сознательно разрушала экономику и культуру строящегося социализма. Она, эта интеллигенция, была виновата во всех недостатках и недочетах в нашей стране. Считалось, что вместо старых специалистов нужно взрастить новую интеллигенцию — от станка и от сохи. Поэтому в высшие учебные заведения принимали по принципу социального происхождения только рабочих или крестьян или, в крайнем случае, детей рабочих и крестьян. Для детей ученых, специалистов и служащих путь к высшему образованию был закрыт. Экзамены, как буржуазный пережиток, были отменены, а поскольку набрать студентов от станка с законченным средним образованием было невозможно, то принимали на основании социального происхождения, не учитывая подготовки.

Соответственно и мне, как сыну профессора, следовало не учиться, а вариться в рабочем котле. Спасло то, что отец был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В то время это было редкостью, орденов было еще немного, и награждение орденом приравнивалось к рабочему происхождению. Только благодаря этому я получил право поступить в университет.

Летом 1931 года я пришел на химический факультет Московского государственного университета имени М.Н. Покровского (так он тогда назывался) и попытался подать заявление и документы на отделение органической химии. К моему ра-

зочарованию, мне ответили, что такой специальности нет. «Ну что же, тогда, может быть, физической химии?» — «Такой специальности тоже нет». — «Какие же специальности есть?» — «Есть “инженер по производству серной кислоты”, “инженер по производству анилокрасителей”, “инженер по производству пластмасс”, “инженер...”» — «Простите, но я имел в виду учиться химии». — «Нам нужны не кабинетные ученые, а специалисты, необходимые для социалистической промышленности». — «Но ведь это же университет!» — «Ну и что же, химический факультет, наверное, вскоре отделят от университета и создадут химический институт».

Получив такую информацию, согласно которой заниматься химией, а не определенным химическим производством нельзя, я пошел на биологический факультет университета. Оказалось, что такого не существует; есть зоологическое и ботаническое отделения. Когда я сказал, что хочу заниматься биологической химией, мне ответили, что такой специальности нет, а есть охотоведение (бывшая зоология позвоночных), рыбное хозяйство (бывшая ихтиология), борьба с вредителями (бывшая энтомология), физиология труда (бывшая физиология животных) и т.д. и физико-химическая биология. По-видимому, не могли придумать, во что ее переделать. Так как эта специальность показалась мне единственной, где сохранилась наука, я подал туда документы и был принят.

1 сентября 1931 года должны были начаться занятия. Нас собрали, и весь первый курс зоологического отделения (около 300 мужчин) направили в военные лагеря под Москвой. Мы жили в палатках. Подъем в 5 утра, все время, до позднего вечера — муштра: строевые занятия, марш, стрельба, разбор и чистка винтовки и пулемета, вахта на часах и т.п.

За это время мы перезнакомились. Подавляющее большинство принятых были значительно старше меня, рабочие со стажем в возрасте от двадцати до тридцати лет без законченного среднего образования. Многие были мобилизованы с фабрик и заводов, но из-за слабой подготовки их не приняли на привилегированное физико-математическое отделение и зачислили на зоологическое как наименее престижное и не требующее глубоких знаний. Средняя подготовка была низ-

кой, в числе принятых находились и такие, кто буквально не мог подписать своей фамилии.

Среди этой серой массы было лишь три-четыре «интеллекта», каким-то чудом, как и я, принятых в университет Им, однако, следует отдать должное. Это были молодые люди, имеющие хорошую подготовку и глубокий интерес к биологии, весьма не престижной в то время. С двумя из этих молодых людей я сблизился. Один из них, Коля Виолович, работал лаборантом на кафедре энтомологии (простите, борьбы с вредителями!) и уговаривал меня сразу поступить на третий курс, поскольку на первых двух «делать нечего»: студенты безграмотны, и уровень преподавания очень низок. Другой — Алеша Сергеев — зоолог, сын известного историка, напротив, считал, что учишься раз в жизни и нужно пройти весь курс. Я колебался.

Когда мы вернулись из военного лагеря и начались занятия, оказалось, что физико-химическую биологию, на которую я поступал, так и не смогли ни во что перековать и попросту ликвидировали. Все остальные специальности не только переименовали, но и в корне перелопатили их учебные планы и приблизили к практическим задачам социалистического строительства.

Специализация начиналась с первого курса, и учебный план включал только те предметы, которые считались необходимыми для данной профессии, и, конечно, политпредметы — историю партии, политэкономия, экономику социализма, исторический материализм, диалектический материализм и диалектику естествознания. Эти дисциплины занимали более трети учебного времени.

Деваться было некуда, хотелось чему-нибудь научиться, и таким образом я попал на «физиологию труда». На этом отделении, по крайней мере, сохранились курсы математики, физики и химии, которые были исключены из программ обучения на таких кафедрах, как, например, «борьба с вредителями» или «охотоведение».

Начались занятия. Добрую половину времени мы проводили на заводах, с секундомером в руках записывая, сколько времени рабочий тратит на каждую операцию и на отдых

Этот предмет назывался «Хронометраж». Остальные дисциплины ничего не добавляли к моим знаниям, полученным в школе. Ну, и, разумеется, самая главная и мучительная часть программы — политпредметы.

В первые же дни я решил попытаться перейти сразу на второй курс. Для этого нужно было пройти собеседование по каждому предмету. Оказалось, что моих школьных знаний было более чем достаточно для того, чтобы преподаватели физики, химии, биологии и истории партии сочли, что материал первого курса я знаю. Загвоздка вышла только с качественным и количественным анализом. Строгий одноглазый преподаватель Пржевальский отказался меня спрашивать и сказал, что «анализ, милый мой, нужно отработать», что я и проделал вместе с первокурсниками, учась уже на втором курсе. Должен сказать, что за это я благодарен Пржевальскому до сих пор. Сделав одну ошибку, я получил по количественному анализу оценку «хорошо», но, кроме меня, никому не было поставлено ни «хорошо», ни тем более «отлично».

На втором курсе нас разбили на бригады, по три-четыре студента в каждой. Лекции, как буржуазный способ преподавания, были отменены. С восьми утра до двух дня проходили бригадные занятия, с двух до четырех — перерыв на обед и с четырех до десяти вечера — семинарские занятия, по существу не отличающиеся от школьных уроков. Все это было обязательно, а после десяти вечера — не менее обязательная общественная работа. И так каждый день, с понедельника по субботу включительно. По воскресеньям — «субботник», на строительстве метрополитена или на овощной базе. Экзамены были отменены наряду с лекциями, и успеваемость оценивалась главным образом по дисциплине, то есть по посещаемости бригадных и семинарских занятий.

Такая нагрузка была для меня тяжела, я нередко опаздывал на бригадные занятия и висел на черной доске, числясь неуспевающим. Бригадные занятия заключались в совместном чтении учебников и «проработке» материала. В действительности же мне приходилось буквально вдавливать учебный материал в головы совершенно неподготовленных членов бригады. Все они были много старше меня, мне было во-

семнадцать, а им по двадцать семь — тридцать, и они мне казались стариками

Вскоре, однако, начальство поняло, что бригадные занятия в такой форме неэффективны, но, так как они были декретированы, решили создать «бригады равных темпов». Я попал в первую, то есть самую сильную бригаду

Поскольку уровень преподавания ориентировали на среднего студента, а уровень этот был очень низок, на бригадных занятиях нам делать было нечего и мы, в основном, рассказывали друг другу анекдоты. На бригадном собрании я, по молодости и легкомыслию, сказал, что привык заниматься один и думаю, что это будет много полезнее, чем зря проводить время в бригаде. Сергей Бычков, способный студент из рабочих, тут же отчитал меня, обвинив в приверженности к буржуазным методам образования, и я отчетливо понял, что еще одно такое выступление грозит мне, по меньшей мере, исключением из университета

Биология, то есть зоологическое и ботаническое отделения университета (факультетов тогда не было), считалась наименее престижной, и на эти отделения направляли в порядке партийной или комсомольской дисциплины самых слабых студентов с отделений механики, физики и химии. Помимо такой, моральной, непрестижности, это выражалось и в том, что студенты других отделений получали по карточкам 400 граммов хлеба в день, а мы — только 200 граммов. Обед в студенческой столовой состоял из несъедобных блюд, стыдливо именовавшихся «заменителями», дабы не употреблять слово «суррогаты», которые нам все-таки приходилось есть за неимением другой пищи и, как следствие этого, терпеть постоянные нелегкие расстройства желудка и кишечника. Тем не менее в столовой толпились голодные люди, которые набрасывались на недоеденные порции и моментально поглощали их. Надо сказать, что я как «сын обеспеченных родителей» не получал стипендии, а дома, по «щедрости» моей мачехи, денег мне почти не давали

Однажды было созвано собрание всех студентов зоологического отделения. На собрании декан отделения Анна Марковна Быховская объявила, что все студенты третьего и чет-

вертого курсов лишаются стипендии, поскольку на старших курсах учатся «классово неценные» студенты. Все знали, что малейшее возражение чревато немедленным исключением из университета, и молчали. Однако нашелся студент третьего курса — Гололобов, который заявил, что он — рабочий от станка и сын рабочего, следовательно, классово ценный, учится на третьем курсе, работать, при такой нагрузке, не может и считает, что имеет право на стипендию, без которой он лишается средств к существованию.

На это тут же последовал крайне резкий отпор. Гололобова обвинили в том, что он классовый враг или агент классового врага, выступает против правильных решений партии и советского правительства, не понимает, что необходимо создавать свою рабочую интеллигенцию и т. д. и т. п. Гололобов был немедленно исключен из комсомола и из университета, а в стенгазете появились разгромные статьи против Гололобова и «гололобовщины».

Мы все жили в унижительной бедности, донашивали тряпье, заштопанные рубашки и носки. Очень редко получали ордера на приобретение какого-нибудь предмета туалета. Даже наши ежедневные 200 граммов хлеба по карточкам не всегда можно было получить. А все, что не по карточкам или на рынке, было доступно лишь ограниченному кругу очень богатых людей. Процветали так называемые торгсины — магазины, где за иностранную валюту можно было купить любые товары и продукты. Принимали там и драгоценности, и измученные нищетой люди несли туда последнее, что удалось сохранить, — серебряные ложки, обручальные кольца, оклады с икон. Все это было горько и унижительно.

В общежитии студенты жили по 5—7 человек в комнате, в коммунальных квартирах была не меньшая теснота, грязь, запущенность, отсутствие ремонта в течение многих лет, обшарпанные потолки и стены, неработающие лифты, клопы, а зачастую и блохи.

Не менее материальных трудностей угнетало полное подавление личности. Все время было занято бесполезной и непродуктивной работой. Бригадные и семинарские занятия, собрания, политкружки, общественная работа — все это

было обязательно и выполнялось неукоснительно. Личной жизни не существовало, любое неосторожное слово, благодаря миллионной армии доносчиков (сексотов), становилось известным и могло привести к аресту или даже расстрелу. Студенты и преподаватели то и дело исчезали, и мы шепотом сообщали друг другу об их аресте и ссылке.

Молодость, однако, брала свое; мы не унывали и искали развлечений и веселого времяпрепровождения в обществе. Иногда устраивались вечеринки, но на них, во избежание неприятностей, приходилось непременно приглашать комсорга и старосту группы и устраивать угощение в складчину, на собранные деньги. Деликатесами служили рыбные консервы — бычки или кильки в томате, — леденцы, чай и, по возможности, водка. Было все же весело, и мы отвлекались от серости повседневной жизни.

Материальные условия изменились лишь к 1935—1936 году. Карточки были отменены, появились хорошая еда, вино, сладости. Вплоть до самой войны можно было прилично питаться при наличии достаточного количества денег, которые были, конечно, не у всех. Следует отметить, что это относительное благополучие наблюдалось только в Москве, отчасти в Ленинграде и Киеве. В остальных городах, в особенности в маленьких поселках, по-прежнему ничего купить было невозможно. Так было и после войны. Например, когда мы приобрели «поместье» в Удомле в 1951 году, то каждый год приходилось привозить запас продовольствия на все лето: крупы, макароны, масло, сахар и т.д. — на месте удавалось доставать только хлеб и молоко. Сыр или колбаса были в тех местах редкостными привозными продуктами, и многие жители их даже не видели.

Помню комический случай. Директор инвалидного дома, расположенного в бывшем имении Рябушинского неподалеку от нашей дачи, и его семья всегда охотно помогали нам. У них мы покупали овощи с огорода, ставили машину, переплывая на остров на лодке. А мы, в свою очередь, привозили им из Москвы колбасу, сыр, конфеты — то, чего нельзя было достать на месте или поблизости. Однажды решили сделать им подарок и привезли ананас. Хозяйка поблагодарила.

А немного спустя рассказала моей жене, что не знала, что с ним делать, и... сварила суп.

На фоне этой тесноты, нищеты и неустроенности все средства массовой информации вещали об огромных достижениях и преимуществах социализма, о вводе в строй новых фабрик и заводов, повышающейся продуктивности сельского хозяйства и лишь иногда упоминали о «временных трудностях». Писали, например, что Советский Союз производит в день столько продукции, сколько царская Россия производила в 1913 году в течение года.

Пренебрегая ужасными жилищными условиями народа, в это время строили огромный «Дом правительства» для партийных и государственных чиновников — отдельные комфортабельные квартиры, горячая вода, все удобства.

Этого, однако, начальству было мало. На месте взорванного храма Христа Спасителя строили колоссальный Дворец Советов. Это грандиозное здание, увенчанное стометровой статуей Ленина, должно было вознестись выше Эйфелевой башни и превзойти все сооружения мира. Уже снесены были вокруг все церкви, и станция метро «Кропоткинская» переименована в станцию «Дворец Советов».

Сколько домов для людей, живущих в скотских условиях, можно было построить на эти средства! Внутренне я был возмущен, но самые мысли об этом таили опасность, возможно, даже смертельную.

Окончив второй курс, я попросил предоставить мне путевку в Дом отдыха МГУ, находившийся в Геленджике, на Черном море. К моей радости, путевку (то ли бесплатную, то ли за треть цены) мне выдали, и первые три-четыре дня я наслаждался купанием в море и приемлемым питанием. Но не тут-то было. Нас созвали на общее собрание отдыхающих, на котором директор Дома отдыха объявил, что профбюро университета выдало путевок больше, чем имеется мест; и новую партию отдыхающих разместить негде. Поэтому останутся только классово ценные студенты. Все классово неценные, согласно зачитанному списку, немедленно снимаются с довольствия и в 24 часа должны покинуть Дом отдыха. В списке классово неценных (человек 20 — 30) числился и я.

Денег у всех у нас было очень мало или не было вовсе. Купить что-либо без карточек было невозможно, а по свободным ценам наших средств хватило бы разве на один завтрак или ужин. Все мы, «классово неполноценные», оказались в тяжелейшем положении. Некоторые устраивались на работу в совхозы, другие слали телеграммы родителям с просьбой выслать денег на проезд.

Мне помогло то, что один студент с физического отделения, с которым я подружился, оказавшийся в том же списке, был более приспособленным к советским условиям, чем я. Будучи снятыми с довольствия, в течение двух-трех дней мы пользовались щедростью повара и продолжали питаться в столовой. За этим занятием нас и застукал директор и в самой категорической и грубой форме потребовал, чтобы мы немедленно убирались. Мы продолжали молча есть, директор свирепел все больше; тогда Степан, так звали моего приятеля, не говоря ни слова спокойно показал пальцем на плакат, висевший над головой. На нем большими буквами было написано: «КОГДА Я ЕМ, Я ГЛУХ И НЕМ». Это вызвало краткое замешательство и позволило нам докончить обед, но после этого пришлось срочно уехать.

Степан сообщил мне, что в Севастополе живет его дядя — директор банка, и что он сможет отправить нас в Москву. За небольшую сумму, которая у нас была, он предложил мне совершить путешествие по Кавказскому побережью, а на обратном пути доехать до Севастополя, благо, проезд мы оплачивали по студенческому литеру с большой скидкой (то ли вдвое, то ли вчетверо).

На палубе парохода мы доплыли до Сухуми. Там нашли школу, свободную от занятий, так как были каникулы. Учителю показали наши студенческие билеты и попросили пустить нас, бедных студентов, переночевать. На это мы получили ответ: «Были у нас студенты из Ташкента, да школу обворовали». Нам стоило немалых трудов уговорить учителя — это был высокий полный человек с добродушным лицом — пустить нас, аргументируя тем, что Московский университет не Ташкентский и что мы будем вести себя хорошо.

Хлеб, который мы стащили из столовой, кончился к вечеру, с утра мы почувствовали муки голода и в поисках пищи набрали на заросли лесных орехов, несколько часов «паслись» и набрали орехов с собой, что обеспечило нас питанием на целый день.

Погода была прекрасная, сияло солнце, блистало спокойное, голубое море. Мы гуляли по городу и глазели на разные сценки из местной жизни. Вечер провели в порту, зашли в какую-то пивную или таверну, взяли кружку пива на двоих и с интересом наблюдали за матросами: я впервые видел, как договариваются с девицами легкого поведения. Мы очутились в какой-то иной атмосфере, пьянящий аромат которой давал возможность забыться. Мы были молоды и любознательны, лишения и неудобства переносили легко и с юмором.

В ту же ночь сели на пароход, взяв по студенческим билетам билеты третьего класса до Севастополя. Ехать на палубе было не холодно, над нами мерцали звезды, слышен был приятный мелодичный шум моря и судового двигателя. Рассвело, все было не так плохо, но... пришла естественная надобность, и мы отправились в уборную, соответственно третьего класса. То, что мы увидели, ошеломило даже нас, студентов, привыкших к советским условиям. И мы тайком пробрались в уборную второго класса. Однако на выходе нас сцапал дюжий матрос, отобрал билеты и пригрозил, что высадит нас в Новороссийске. Наши мольбы — «мы бедные студенты, едем к дяде в Севастополь» и т.п. — привели лишь к тому, что нам было велено явиться к второму помощнику капитана. Второй помощник, снизойдя, потребовал штраф, кажется, по 4 рубля с носа, которых у нас, конечно же, не было. Он долго не поддавался уговорам, но наконец уступил и, учитывая, что мы едем по литеру, штраф с нас взял со скидкой. Так мы добрались до Севастополя. В Севастополе дядя, показавшийся мне очень солидным и старым, хотя, вероятно, был вовсе не стар, встретил нас умеренно радушно. Степана он устроил в дом отдыха в Крыму, а меня отправил на поезде в Москву.

В университете обстановка продолжала оставаться гнетущей. Казалось, все делалось для того, чтобы учиться, приобрести знания было невозможно или, по крайней мере, затруднительно. Все наше время по-прежнему занимали бесполезные бригадные занятия, общественная работа, работа в колхозах, субботники, вызывающие отвращение политпредметы. Малейшее недовольство таким порядком немедленно каралось исключением из университета и из комсомола, а иногда и более жестоко. Настоящих знаний от нас никто не требовал, мало того, хорошо учиться, интересоваться наукой, проявлять инициативу было подозрительно и небезопасно. Нелепость этой системы была ясна каждому. Как-то раз я высказал эту мысль Сергею Бычкову, с которым у меня установились дружеские и конфиденциальные отношения. Он остроумно ответил мне, мол, диалектика в том и заключается, что каждый в отдельности понимает нелепость социалистического соревнования, но все вместе не только не понимают, но даже поддерживают его.

Угнетающее впечатление производило лизоблюдство и подхалимаж профессоров перед деканом зоологического отделения — Анной Марковной Быховской, имевшей весьма отдаленное отношение к науке. Выступая на собраниях, профессора расхваливали бригадную систему обучения и превозносили «мудрое руководство» Анны Марковны.

Так прошел год. Повеяли новые ветры, сверху спустили наконец директиву прекратить бригадные занятия и разрешить лекции, посещение которых, конечно, было обязательным. Теперь с таким же рвением, с каким прежде расхваливали бригадный метод, декан, а за ней и профессора, поносили бригады и восхваляли необходимость лекций и экзаменов. Стало чуть легче, но общая угнетающая атмосфера осталась.

Несмотря на то, что лучшие профессора были изгнаны из университета как «реакционные», уцелевшие все же стремились передать нам знания и увлечь наукой. Энтузиазм преподавателей и жажда знаний студентов порой пробивали барьеры тупости и скованности, и университетский курс все-таки

давал основы знаний, по крайней мере тем, кто к этому стремился

Курс эмбриологии, а также общей биологии и методики преподавания читал у нас Григорий Григорьевич Щеголев, по прозвищу Гри-Гри, высокий, худощавый, очень живой, с тонкими чертами лица. По-видимому, он не являлся большим ученым, но у него был божий дар преподавателя. Лекции его доходили до каждого и запоминались надолго. Студенты называли их «поэмой о Сперматозоиде». Рассказывали, что Григорий Григорьевич был усыновлен бездетными богачами Щегловыми — они подобрали в Париже гамена (уличного мальчишку) и воспитали его в России. Помимо физико-математического факультета, он окончил также юридический, что, вероятно, в особенности развило у него дар красиво и убедительно говорить.

Я до сих пор хорошо помню его лекции и приемы. Гри-Гри много жестикулировал, но каждый жест его был продуман, пояснял мысль; вся эта риторика, жесты, модуляции голоса достигали цели увлечь студента. На старших курсах лекции его могли показаться неглубокими, но для начала обучения они были превосходны.

Критерий пролетарского происхождения и преданности марксизму-ленинизму, и в особенности самому Сталину, касался как студентов, так и профессоров и преподавателей. Знания и научный авторитет имели второстепенное значение или вовсе не учитывались. Некоторые крупные ученые, например, Николай Константинович Кольцов, были уволены из университета и заменены малоквалифицированными преподавателями. Кольцов, именем которого назван Институт биологии развития Академии наук, где я работаю уже более 40 лет, был выдающимся биологом и организатором науки. Он впервые высказал мысль о матричном синтезе белка, поставил на научную основу изучение генетики в СССР, организовал в 1918 году Институт цитологии, эмбриологии и генетики, наследником которого является наш институт. В 1917 году Николай Константинович был казначеем партии кадетов, за что большевики приговорили его к расстрелу. Ожидая расстрела, он не потерял интереса к науке, следил за своим

пульсом и состоянием и записывал их как наблюдения над человеком, приговоренным к смерти. Его научный авторитет спас его от этой участи, но в тридцатые годы из-за политической неблагонадежности его выгнали из университета, а в 1940 году он неожиданно умер — считается, что от инфаркта, но я хорошо помню, как говорили, что он отравился ветчиной. Весьма вероятно, что смерть его была не случайной.

Все же еще оставались старые профессора, старавшиеся донести до студентов настоящую науку. Все-таки это был Московский университет, и традиции его, как ни пытались их искоренить, жили. Именно это, что и должен был дать университет, запало в наши души и сознание.

Физическую химию читал Хомяков. Лекции его были не столь живы и увлекательны, как лекции Щеголева, но он системно излагал предмет и глубоко заинтересовал нас. Несомненно, большинство студентов из-за слабой подготовки не понимали лекций и не интересовались ими. Однако мы с Сергеем Бычковым стали слушать лекции профессора А.В. Раковского по этому предмету на химическом отделении. Это был глубокий и интересный курс физической химии, который доставлял нам истинное наслаждение.

Нашей кафедрой заведовал профессор Иосиф Львович Кан. В благословенные годы нэпа он успел поработать длительное время в Англии, у Старлинга, и в нем сохранилась какая-то английская чопорность и высокомерие. Читал он лекции на избранные темы по сравнительной физиологии, не имевшие ничего общего ни с учебной программой, ни с практическими занятиями. Студенты, даже самые сильные, пялили глаза на какого-нибудь королевского краба и вряд ли что-нибудь усваивали.

Практический курс квалифицированно вел доцент Николай Андреевич Киселев; с особенным интересом и увлечением он читал лекции по электрофизиологии. При кафедре физиологии труда, или физиологии животных, как она наконец стала снова называться, проводилось несколько специальных курсов: высшей нервной деятельности (проф. Л.А. Андреев), патофизиологии (С.М. Павленко), органов чувств (С.В. Кравков), биохимии (С.Е. Северин). Молодой и очень активный

Сергей Евгеньевич нередко опаздывал на лекции, но читал живо и увлекательно, каждый раз принося новости научной литературы, не нашедшие еще отражения в учебниках. Именно его лекции и интерес к химии, который был у нас изначально, определили то, что под его руководством мы с Сергеем Бычковым стали специализироваться по биохимии.

Как-то на экзамене по биохимии, который принимал Северин, присутствовал ректор университета Касаткин. Я ответил на все вопросы Северина, получив «отлично», и даже заметил ошибку в написанной им формуле. Касаткин не забыл этой возмутительной моей выходки. Вскоре он присутствовал на экзамене по историческому материализму (предмету, конечно же, более важному для биохимика!). После того как я правильно ответил на все заданные мне по программе вопросы, он спросил меня об объективных и субъективных идеалистах. Я назвал соответственно Гегеля и Беркли. Этот ответ его не удовлетворил: «Кто еще из философов является субъективным идеалистом?» Я задумался, и он «подсказал»: «Из трех букв...» Это совсем сбilo меня с толку. Философом «из трех букв» оказался Кант. Затем последовал вопрос о роли немецких социал-демократов в приходе фашизма к власти в Германии. Я ответил, что они вели себя пассивно и не оказали должного сопротивления Гитлеру. Этого оказалось мало. Нет, парировал он, они *активно подготовили* приход Гитлера к власти. В результате я получил «удовлетворительно» по такому важному предмету, и это было очень плохо. Из приблизительно тридцати студентов нашей группы «удовлетворительно» получили только трое, все остальные — «хорошо» и «отлично». В просьбе пересдать экзамен мне было отказано. Таким образом презренный интеллигент был поставлен на место и остался с «тройкой» (единственной за весь университетский курс).

Гистологию читал у нас профессор Г.И. Роскин, тот самый Роскин, который получил впоследствии скандальную известность в связи с препаратом «КР». У него было три ассистента: Евгений Матвеевич Вермель, Лев Бенедианович Левинсон и Константин Богоявленский. Все они были яркими личностями. Широко образованный Вермель был прирож-

денным биологом, превосходно знающим дисциплину. Левинсон прекрасно знал методики гистологии и был незаметным как экспериментатор. Богоявленский тоже великолепно знал и развивал свою дисциплину и впоследствии стал профессором гистологии в Рижском медицинском институте

Л.Б. Левинсон принимал у меня экзамен по гистологии, показывая микрофотографии тканей из французского атласа. Он был поражен тем, с какой точностью я узнавал гистологическое строение всех представленных там органов, и поставил мне «отлично». По-видимому, ему не могло прийти в голову, что студент того времени может знать французский язык и запросто читать подписи к рисункам и переводить их. Левинсон всю жизнь проработал в Московском университете и некоторое время, будучи лишь кандидатом биологических наук, исполнял обязанности заведующего кафедрой. Много позднее он защищал докторскую диссертацию в Институте морфологии животных им. А.Н. Северцова, и мне пришлось выступить одним из его оппонентов.

Вспыльчивый Борис Степанович Матвеев вел занятия по сравнительной анатомии еще в то время, когда лекции были запрещены. Однажды, когда у нас шел семинар по другому предмету, в комнате, где проходили занятия, не оказалось лампочки и было темно. Недолго думая, я вывинтил лампочку в соседнем помещении. Вдруг, в середине семинара, ворвался взбешенный Борис Степанович (который теперь со своими студентами оказался без света) и, размахивая руками и трясая своей козлиной бородкой, истерически закричал: «Студенты.. Московского университета... лампочки воруют!» Я промолчал... и молчал, наверное, более 20 лет, напомнив Матвееву об этом эпизоде лишь в конце 50-х годов, когда мы оба работали в Институте морфологии животных.

Всегда аккуратный, подтянутый и представительный Лев Александрович Зенкевич читал нам зоологию беспозвоночных. Лекции были безупречные по форме и содержанию, но в них не хватало какой-то интимности, контакта с аудиторией, вследствие чего он был как-то далек от студентов.

Успеваемость по биологическим дисциплинам не ценилась и даже рассматривалась как признак чуждой пролетари-

ату буржуазной идеологии. Особое внимание уделялось политпредметам, их было не менее шести. По крайней мере, я помню историю партии, политэкономия, экономику социализма, исторический материализм, диалектический материализм, диалектику природы. К этому следует добавить еженедельные занятия политкружка, в котором я был слушателем, и занятия политкружка, в котором я был руководителем. Пропуск хоть одного такого занятия приводил к исключению из комсомола и из университета.

Преподаватели политпредметов были бесцветны и малообразованны, занятия представляли собой начетничество, скучное и отвращающее. Запомнился Макс Левин, который с сильным немецким акцентом громил «меньшевистствующих идеалистов» и «механистических материалистов». Другим исключением из этой серой массы был преподаватель диалектики природы — Закгейм. Он сумел сделать предмет интересным, допуская значительные отступления от программы, увлекательно рассказывал нам не только о марксистских философах, но и об искусстве и литературе, водил в Щукинскую и Морозовскую галереи, когда прекрасные коллекции импрессионистов еще не были распроданы и разграблены (до сих пор у меня перед глазами стоит бесследно исчезнувшая картина Дега «Весна»). По-видимому, можно вложить живое содержание даже в догматическую и окостеневшую схему, направленную на то, чтобы подавить всякую инициативу и самостоятельное мышление. Недаром оба они — и Левин, и Закгейм — были ликвидированы большевистским террором.

Все наше время было занято лекциями, семинарами и особенно общественной работой и собраниями. Целыми днями мы долбили про «предательство Троцкого» и «ошибки Бухарина». Надо было заставлять себя не видеть действительности и восхвалять «великого Сталина».

Среди студентов и преподавателей процветало и всячески поощрялось доносительство. Доносы эти разбирались на комсомольских и партийных собраниях и часто приводили к организационным выводам в виде исключения из университета, а в легких случаях — к выговорам. Так, на Сергея был

написан донос, что он скрывает свое происхождение — говорит и пишет, что сын рабочего, а руки у него не мозолистые. Соккрытие социального происхождения считалось величайшим преступлением. Опасно было рассказать антисемитский анекдот; еще хуже — выразить сомнение в знаниях какого-нибудь представителя национальных меньшинств. Так, если преподаватель ставил плохую отметку, например, узбеку, не сумевшему ответить на простой вопрос и вдобавок сославшемуся на недостаточно хорошее знание русского языка, это рассматривалось как проявление «великодержавного шовинизма» и приводило к самым печальным результатам.

Все русское, не говоря уже о религии, преследовалось — существовало только «советское»; опасно было говорить о русской науке, русских традициях, русских обычаях. У меня и у большинства студентов это подавление национальных чувств и традиций России вызывало глубокое внутреннее негодование, которое было тем сильнее и глубже, что выразить его мы не могли.

На наших глазах, под предлогом «генерального плана реконструкции Москвы», ломали и уничтожали большинство церквей, взорвали храм Христа Спасителя, снесли Сухареву башню, Красные ворота, Триумфальную арку. Все, что создавало уникальный облик и своеобразие Москвы, было уничтожено, и дорогую мне русскую столицу превратили в безликий, серый «образцовый социалистический город».

В университете то и дело исчезали наиболее способные студенты и преподаватели, а потом мы узнавали об их аресте. Разгромили Кружок юных биологов зоопарка (КЮБЗ), в котором я, в порядке общественной работы, проводил политзанятия. Просто удивительно, как меня не обвинили в том, что я не сумел сделать членов КЮБЗа «сознательными».

Арестовали молодых ученых: Ю.М. Вермеля и Б.А. Кузина за то, что они вместе с Е.С. Смирновым, еще студентами в возрасте 19—20 лет, написали талантливую книгу «Очерки по теории эволюции». В этой книге обосновывалось положение о влиянии внешней среды на наследственность. Их обвинили в «ламаркизме», что послужило поводом для их ареста. Юлий Матвеевич Вермель, брат вышеупомянутого Евгения

Матвеевича, был оригинальной личностью. Одухотворенный, с длинными черными волосами, он ходил в черной шляпе, длинном черном сюртуке и опирался на тросточку, рукоятка которой была сделана из человеческой бедренной кости... Из всех троих уцелел каким-то чудом лишь Евгений Сергеевич Смирнов.

Помимо постоянного морального гнета, требовавшего крайней осторожности, было тяжело и физически. Вероятно, было бы легче, если бы было просто голодно. Питаться приходилось, как я уже говорил, всевозможными «заменителями». Эти суррогаты представляли собой нечто несъедобное, протухшее и опасное для здоровья. На втором курсе я болел дизентерией, на третьем — тяжелым вирусным гепатитом, который тогда называли паренхиматозной желтухой. Несколько дней не мог есть буквально ничего, и меня рвало даже от воды. Лишь через два месяца я смог снова посещать занятия.

Пополнить этот скудный и несъедобный рацион было невозможно, так как по карточкам, которые к тому же часто не отоваривались, ничего другого не выдавали. Зато иностранцы, с которыми всякие отношения считались предосудительными, пользовались всеми благами, покупая товары в торгсине, и относились к нам как к людям «второго сорта». Разумеется, можно было прожить и без торгсина — питаться в ресторанах или покупать продукты в дорогих магазинах без карточек, — но для этого требовались огромные деньги, и доступно подобное было незначительному кругу лиц, главным образом, спекулянтам.

В 1931—1933 годах голод принял чудовищные размеры — люди пухли от недоедания и даже в Москве по ночам на улицах и вокзалах грузовики подбирали трупы. До нас доходили слухи о том, что на Украине умирают от голода тысячи людей, а хлеб у крестьян отнимают и экспортируют за границу.

Каждый учебный год один, а то и два месяца мы проводили в колхозах или совхозах на уборке урожая. Работа была тяжелая, было холодно, спали в основном на полу вповалку, но кормили несколько лучше, чем в Москве. Припоминаю,

что каждый день к обеду давали кружку натурального молока и большой кусок съедобного черного хлеба.

Прошло лишь несколько лет после «года великого перелома» и сплошной коллективизации. Мужики продолжали роптать и возмущаться. Крестьяне говорили, что их ограбили, что идти в колхоз все равно что обречь себя на голод и нищету. Так называемое добровольное вхождение в колхоз происходило в основном под дулом пистолета. Малейшие запасы зерна конфисковывали, а виновных в их сокрытии объявляли «кулаками», арестовывали, ссылали в непригодные для жизни места, где они гибли миллионами, а нередко и расстреливали. Начали с выселения с хуторов, а затем разрушили и многие деревни.

В годы нэпа мы часто ездили к знакомому крестьянину, Василию Федоровичу Барабанову. Он жил на хуторе в деревне Лианозово, теперь уже вошедшей в черту Москвы. У него был большой дом, комнат на восемь, в гостиной хорошая мебель, пианино, напольные часы. Дочери его получили высшее образование и жили в городе. Он разводил клубнику, и наемный труд заключался лишь в том, что летом для сбора урожая он нанимал на один-два месяца двух девушек; а все остальное делал сам и с помощью своей семьи. Это был настоящий труженик, непьющий и работающий. В «год великого перелома» его и жену арестовали, и он исчез, вероятно, погиб. Во всяком случае, никаких известий о нем мы больше не имели. Все его имущество конфисковали, дом превратили во что-то вроде клуба и загадили. Как-то, еще во время нэпа, Василий Федорович рассказывал, что на пути со станции его ограбили два пьяных бездельника. Так как в деревне все друг друга знают, он подал на них в суд. Разбирая дело, суд вынес решение, что это не грабеж, а «классовая борьба в деревне». Барабанов говорил об этом с иронией.

Летом, когда я учился на третьем курсе, отец достал мне путевку в привилегированный санаторий в Солотче Рязанской области. По тем временам кормили там вполне прилично и на фоне тяжелых условий студенческой жизни это было светлым пятном. Кроме того, мое пребывание там скрашивала хорошенькая девятнадцатилетняя Клабочка. Она работала

машинисткой в ЦК комсомола и, наверное, потому попала в этот санаторий. Конечно, Клавочка не училась в университете и вряд ли кончала среднюю школу. Такие слова, как «физиология» или «биохимия», были для нее совершенно незнакомы и относились к какому-то иному миру. Тем не менее это меня не удручало и не умаляло ее прелестей.

Позже, на пятом курсе университета, в нашей группе неожиданно появилась дочь писателя Ильи Эренбурга, Ирина, недавно приехавшая из Франции и еще не совсем понявшая характер нашей жизни и строя. Не знаю зачем, но она аккуратно посещала практические занятия по физиологии и проявляла интерес к науке, хотя занималась литературой и опубликовала книжку, называвшуюся, кажется, «Записки французской школьницы».

Мы в это время жадно поглощали литературные новинки, в особенности все, что выходило за пределы строго рекомендованного «социалистического реализма». В числе этих книг на нас произвела сильное впечатление недавно изданная книжка Эренбурга «День второй», в которой он, как нам казалось, откровенно описал жизнь и лишения молодого человека нашего времени. Этим мы поделились с Ириной, на что она ответила: «Не понимаю, почему эту книгу так сократили и изуродовали, ведь папа там все написал как есть».

В январе-феврале нам полагались двухнедельные каникулы. На третьем курсе, перед каникулами меня и студента Сашу Мельникова вызвали в Московский Комитет комсомола и поручили нам организовать агротехнические кружки в Сонковском районе Московской области. Выдали двухнедельный сухой паек, состоявший из консервов и сухарей, и отправили в командировку.

Саша был ортодоксальным комсомольцем, полностью убежденным в правильности «генеральной линии партии»; однако временами он впадал в состояние, похожее на анабиоз или ступор, которое называл «самобичеванием». Как-то, уже после нашей поездки, он пребывал в таком состоянии, когда товарищ по общежитию спросил его, куда, по его мнению, повесить «это». Не глядя, Саша ответил: «Отстань,

брось куда придется». «Этим» оказался портрет Сталина, и бедного Мельникова таскали по партийным и комсомольским комитетам, он еле отвертелся.

Секретарь райкома партии в Сонкове принял нас и, кроме кружков, поручил проводить в районе мясозаготовки. На наши попытки отказаться от этого непредусмотренного задания он пригрозил исключением из комсомола и, конечно, из университета.

Ни продуктов, ни хлеба, ни керосина в районе не было; пользовались лучиной. Организовать агротехкружки было нелегко, но нехотя председатели колхозов и совхозов соглашались на это. А местное население видело в нас представителей власти и обращалось с множеством просьб и жалоб на несправедливости, которые они претерпевали. С одних бесосновательно требуют налоги и подати, другим не выплачивали полагающееся им пособие или пенсию и т.п. Помочь мы им, конечно, не могли.

Однажды, в сильную непогоду, мы шли несколько верст в одну из деревень. Ноги утопали в снегу, мокрый снег хлестал в лицо, и мы выбились из сил, мысленно и вслух бранились, и это отчасти помогало забывать о невзгодах. Придя в деревню, не нашли начальства на месте, и нас направили в одну избу. В доме было натоплено, пахло водкой и жареной свининой, все — председатель сельсовета, председатель колхоза и несколько членов правления — были пьяны, и никакого разговора о кружках и мясозаготовках вести было невозможно. Нас, голодных и промерзших, принялись усиленно приглашать к столу. Саша проявил комсомольскую стойкость и принципиальность, твердо отказавшись от угощения. Я не смог сопротивляться, когда мне влили в рот стакан самогона и дали закусить куском жареной свинины. Мне стало лучше, и мы легко дошли до следующей деревни, но всю дорогу Саша отчитывал меня за мягкотелость.

Две недели прошли, нам пора было ехать в Москву и приступать к занятиям. Заготовки мяса, конечно, не были выполнены, и выполнить их вряд ли вообще было возможно. К тому же кончились наши продовольственные запасы, и мы радовались, что скоро будем дома. Однако секретарь райкома

объявил, что не отпустит нас, пока мы не выполним мясозаготовок. Он повторил, что если мы нарушим его указание, то вылетим из комсомола и из университета. Тогда это было страшной угрозой, казалось, что выхода нет.

Однако выход нашелся. В то время в сельской местности, наряду с райкомами, функционировали политотделы, проводившие политику партии. Один доброжелатель из райкома комсомола подсказал нам, что секретарь райкома и начальник политотдела находятся во враждебных отношениях — каждый из них считает себя главным — и посоветовал обратиться к последнему.

Придя к начальнику политотдела, мы прежде всего пожаловались на несправедливость секретаря райкома и изложили ему ситуацию. Это нас спасло: начальник политотдела отпустил нас в Москву, и мы уехали.

МАВЗОЛЕЙ. ВНУТРИ И ВОКРУГ

Траурный зал второго временного мавзолея был оформлен в принципе так же, как во временном склепе, но он стал более монументальным; Ленин лежал в гробу, в защитного цвета френче со значком ЦИК СССР и орденом Красного Знамени на груди.

Руки Ленина лежали вдоль тела полусогнутыми. Правая, парализованная рука была зажата в кулак и согнута несколько больше. Сначала труп находился в примитивном саркофаге, не дававшем достаточной изоляции. Так, однажды при осмотре тела в саркофаге была обнаружена муха, погоня за которой оказалась нелегким делом.

Впоследствии этот временный саркофаг был заменен на более совершенный, выполненный в виде стеклянной пирамиды по проекту архитектора К.С. Мельникова, утвержденному 2 июля 1924 года исполнительной тройкой в составе В.М. Молотова (председатель), А.С. Енукидзе и Л.Б. Красина при участии коменданта Кремля Р.А. Петерсона и его заместителя А.Я. Беленького.

Постоянное наблюдение и уход за телом Ленина требовали напряженного внимания и усилий. Дело в особенности осложнялось несовершенством внутреннего устройства мавзолея и частым появлением грибковой инфекции на знаменах, портъерах и других предметах, окружающих саркофаг, а иногда и на самом теле, включая даже лицо и руки. Необходимо было соблюдать по возможности постоянную температуру и влажность и хотя бы минимальную стерильность. Этому в значительной мере мешало нахождение в траурном зале знамен, красной и черной материи на стенах зала, а также постоянное движение людских масс и несовершенство

самого саркофага, недостаточно изолирующего тело от внешней среды.

4 октября 1924 года исполнительная тройка с участием Р.А. Петерсона и А.Я. Беленького наконец решает продать холодильную установку и произвести ремонт мавзолея. В ноябре тройка с участием К.Е. Ворошилова намечает необходимые требования к постоянному мавзолею. В мавзолее нужно устроить дополнительные помещения, а на внутренних стенах должно быть достаточно места, чтобы поместить фрески, изображающие главные этапы мировой революции, в особенности этапы рабочего движения под руководством Владимира Ильича. С внешней стороны мавзолей должен выглядеть как огромная трибуна. На кровле необходимо предусмотреть место для многочисленного президиума всенародных собраний на Красной площади и выдающуюся вперед линию мощной основной трибуны, с которой оратор будет обращаться к народу. Мавзолей должен стать внушительной постройкой, центром притяжения для глаз. Далеко не все эти пожелания воплотились в жизнь, но основные были учтены.

Несовершенство саркофага отражено в акте от 14 октября 1924 года, в котором прибывшие в мавзолей В.Л. Герсон (секретарь Дзержинского) и Б.И. Збарский констатировали, что боковое стекло в верхней части имеет трещину длиной около 5 см, другое боковое стекло — две трещины по 8 см каждая, а верхнее узкое стекло (крышка) содержит две трещины под углом. Причиной появления трещин стало то, что в четырех накладных дубовых барьерах произошло усыхание дерева, и это вызвало перекося, затронувший металлические рамы. Мавзолей пришлось закрыть на пять дней, в течение которых мастер по стеклу Н.И. Курочкин в присутствии Герсона и Збарского установил новые стекла. Гроб с телом был на это время изъят из саркофага, установлен на столе и покрыт знаменем Коминтерна.

Дважды в неделю лицо и руки покойного смачивали бальзамирующим раствором. Для этого в крышке саркофага, над головой, были проделаны два отверстия. При смачивании почти всегда приходилось удалять пылинки. На одежде, подушке, крепе, тканях, покрывающих гроб, а также на стенах и вит-

рине, в которой находилось знамя Парижской коммуны, обнаруживались беловатые с зеленоватым оттенком пятна плесени.

Такие условия не соответствовали требованиям длительного хранения тела, в связи с чем 31 декабря 1925 года В.П. Воробьев и Б.И. Збарский обратились в Комиссию по увековечению памяти Ленина со следующим заявлением:

В Комиссию по увековечению памяти В.И. Ленина

Проф. В.П. Воробьева

Проф. Б.И. Збарского

ЗАЯВЛЕНИЕ

Со смерти В.И. Ленина прошло два года. Около полутора лет тело лежит во временном Мавзолее. Вопрос о строительстве постоянного Мавзолея продвигается крайне медленно. Дальнейшее хранение во временном Мавзолее недопустимо.

Выявлены грибки на материи, обивке стен, знамени Парижской коммуны и даже на одежде, на руке, за правым ухом, на лбу. Дезинфекция всего помещения невозможна.

Отметим тут же, что комиссия, созданная по нашей просьбе в составе А.И. Абрикосова, В.Н. Розанова, А.П. Голубкова, А.Я. Беленького, Р.А. Петерсона, нашла тело в таком же состоянии, как после нашей бальзамировки.

Саркофаг допущен как временный, но он стоит уже полтора года, недостаточно защищая тело.

Просим ускорить постройку нового Мавзолея, вызвать нас на заседание, на котором будет обсуждаться устройство Мавзолея и саркофага.

В.Воробьев

Б.Збарский

Москва, 31/XII 1925 г.

Заявление возымело действие. К.Е. Ворошилов наложил резолюцию. «Вопрос серьезный — обсудить на Комиссии. Временно закрыть доступ в Мавзолей» Комиссия решает ускорить сооружение постоянного мавзолея и поручает А.С. Енукидзе составить комиссию архитекторов с участием В.П. Воробьева и его заместителя Б.И. Збарского, чтобы при-

способить существующий мавзолей для безопасного хранения тела В. И. Ленина. Всю материю на стенах, потолке и т.д. заменяют клеенкой (под кожу).

Интересно, что уже после завершения бальзамирования продолжают поступать предложения из-за границы по поводу сохранения тела В.И. Ленина. Так, в конце января 1929 года нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский направляет письмо в Институт Ленина с приложением полученных им писем из Испании. Испанский писатель Хулио Альварес дель Вайо пишет Луначарскому о предложении анатома Педро Ара. Ара сообщает: он прочел в аргентинских газетах, что советское правительство озабочено сохранением тела В.И. Ленина, и предлагает свои услуги, указывая, что тело он мог бы сохранить идеально. Письмо сопровождается похвальными отзывами, но в нем ничего не говорится о методе сохранения трупа. Рекламный характер этого предложения и отсутствие научных данных, а также надежность метода советских ученых заставили дать отрицательный ответ на это предложение. Примерно такой же характер носило и предложение итальянского профессора Маджиа из Милана, который в числе хвалебных отзывов прилагал письмо военного министра Италии. Профессор А.И. Абрикосов, получивший это предложение на отзыв, также отвечает отрицательно.

На проект постоянного мавзолея был объявлен международный конкурс, о чем широко оповещала пресса. Поступило много проектов, но ни один из них не был утвержден Правительственной комиссией по сооружению постоянного мавзолея под председательством К.Е. Ворошилова, и она снова поручила проектирование каменной усыпальницы академику А.В. Щусеву.

Щусев представил несколько вариантов проекта, в основном являющихся увеличенными и более монументальными вариантами второго деревянного мавзолея, построенного им. Правительственной комиссией был утвержден проект в граните. Щусев изготовил детальные чертежи и совместно с инженером К.С. Наджаровым, представлявшим Правительственную комиссию, стал подбирать необходимые материалы. Нужно было использовать несколько сортов гранита, мрамора,

лабрадора и других ценных пород. Многие из этих материалов приходилось привозить издалека. Так, самый большой монолит из черного лабрадора весом в 60 тонн, на котором затем была выгравирована надпись «ЛЕНИН», везли из Головановского карьера Житомирской области с небывалыми трудностями. Использовали также каменоломни Карелии, Урала, Украины, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана.

На Красной площади место стройки обнесли забором, вблизи производили шлифовку и полировку камней. Одновременно реконструировали Красную площадь, перемостив ее гранитными торцами. Иверские ворота и Казанский собор снесли, а памятник Минину и Пожарскому перенесли к Лобному месту.

Торцовая мостовая нужна была для парадов, так как никакая другая не выдерживала шествия танков и конницы. Что же касается исторических и религиозных памятников — Иверских ворот и Казанского собора — это вряд ли можно оправдать. Памятник Минину и Пожарскому стоял против Кремля, и Минин указывал рукой на Кремль, где засели поляки. Теперь же он указывал на Исторический музей, что нарушило замысел авторов памятника.

Второй временный деревянный мавзолей, воздвигнутый летом 1924 года на месте склепа, простоял 5 лет, до 1929 года. Строительство нового, постоянного мавзолея было начато весной 1929 года и закончено через 16 месяцев, к октябрю 1930 года.

Постоянный мавзолей облицован красным гранитом, серым и черным лабрадором. Над входом, в огромном блоке из черного лабрадора врезана надпись «ЛЕНИН», выложенная из красного кварцита. Так же как и во временном мавзолее, по обеим сторонам здания расположены лестницы, ведущие на трибуны. В 1944 году между двумя боковыми трибунами, выше их, была выстроена еще одна центральная большая трибуна для руководителей партии и правительства.

Внутренняя часть здания, сохранив общий прежний облик, также существенно переделана. Входя в наружную дверь мавзолея, посетители попадают в вестибюль, на задней стене ко-

торого выгравирован герб СССР. Затем спускаются по левой широкой лестнице, стены которой облицованы серым лабрадоритом. Далее проходят в траурный зал, в центре которого стоит саркофаг с телом Ленина. Саркофаг окружает приподнятая платформа из гранита, окаймляющая гроб с трех сторон. Посетители проходят по ней и выходят затем через правую лестницу.

На стенах из серого лабрадорита инкрустирована лента из красной смальты-пурпурина, в виде ломаной линии, изображающей красные знамена. На потолке белым выложены серп и молот. Теперь в траурном зале уже нет материи и т.п., все легче поддается чистке и стерилизации.

Сам саркофаг стоит на возвышении. Двумя наклонными коническими стеклами, скрепленными бронзовой рамой, он накрывает гроб. В верхней части рамы вмонтированы осветительные приборы со светофильтрами, уменьшающими нагрев и придающими оживляющую розовую окраску. Существенным недостатком конического саркофага явилось то, что наклонные боковые стекла давали видимое отражение тела, нарушающее обзор. После войны он был заменен новым, более совершенной формы.

Мавзолей Ленина стал достопримечательностью Москвы, и массы москвичей и приезжих посещали его. Многие делали это, чтобы поклониться праху Ленина, некоторые — из любопытства, но попадались также и враждебно настроенные в отношении советской власти и психически неуравновешенные люди.

Так, один из посетителей, проходя по траурному залу, с силой швырнул в саркофаг молоток с металлической ручкой; молоток пробил боковое стекло и упал на грудь Ленина. Существенных повреждений это не причинило, но пришлось заменить стекло и привести в порядок одежду. Впоследствии было еще несколько покушений на мертвого Ленина, дважды в саркофаг бросали бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась, как-то раз посетитель вскочил на парапет и сильным ударом сапога разбил стекло саркофага. Посыпавшиеся осколки попали на лицо трупа, мавзолей пришлось на некоторое время закрыть для восстановления повреждений. В 30-х

годах колхозник Никитин пытался выстрелить в тело Ленина, был задержан, но успел покончить с собой. У него нашли письмо, в котором он писал, что мстит за ужасные условия существования русской деревни. В мавзолее была усилена охрана, саркофаг оборудовали пуленепробиваемыми стеклами, затем поставили устройство, сигнализирующее о наличии металлических предметов.

Снаружи, у входа в мавзолей, учредили пост охраны («пост № 1»). Этот почетный караул несли делегаты XI съезда Советов РСФСР, лучшие курсанты кремлевской школы имени ВЦИК СССР. Каждый год в день рождения Ленина на этом посту стояли ветераны Гражданской войны, а затем и Отечественной войны 1941—1945 гг.

Внутри мавзолея, в траурном зале, по углам саркофага также стояли караульные. Помимо этой «парадной» части охраны, ее несли сотрудники НКВД в штатском, внимательно следившие за проходящими.

В январе 1934 года, в десятилетие кончины В.И. Ленина, его тело было освидетельствовано Правительственной комиссией в составе профессоров А.И. Абрикосова, А.А. Дешина, Г.Ф. Иванова, В.Н. Розанова, Л.Н. Федорова (председатель), В.П. Воробьева, Б.И. Збарского и коменданта Кремля Р.А. Петерсона. В акте этой комиссии говорится:

1. Задачу сохранения на продолжительное время тела Владимира Ильича Ленина надо считать блестяще разрешенной.

2. 10-летний опыт прекрасного сохранения тела дает полное основание думать, что эта сохранность тела В.И. Ленина будет продолжаться неопределенно долгое время.

3. Эти результаты представляют собой следствие применения научно разработанных новых оригинальных методов бальзамирования. Громадную роль сыграло также постоянное, тщательное и систематическое наблюдение над телом Владимира Ильича и продуманная и умело проводимая организация всего дела.

4. Комиссия считает необходимым подчеркнуть, что результаты сохранения тела В.И. Ленина представляют собой научное достижение мирового значения, не имеющее прецедентов в истории.

5. Комиссия отмечает в этом деле исключительные заслуги Заслуженного Профессора В.П. Воробьева и профессора Б.И. Збарского, проявивших смелую инициативу, затративших огромный труд и энергию в изыскании и применении совершенно новых методов бальзамирования, обеспечивших достигнутые результаты.

6. Благоприятные условия для проведения всей этой работы были обеспечены особо заботливым отношением со стороны Правительства, создавшего хорошие условия морального и материального характера, а также принимавшего непосредственное участие в разработке и проведении всех технических мероприятий.

7. Первое бальзамирование, произведенное проф. А.И. Абрикосовым непосредственно после смерти В.И. Ленина, и неустанное наблюдение Комиссии по увековечению памяти В.И. Ленина, созданной по инициативе товарища И.В. Сталина, несомненно обеспечило дальнейшее успешное завершение этого мирового по своему значению дела.

8. Принимая во внимание громадное научное и политическое значение сохранения тела Владимира Ильича, Комиссия считает необходимым, не предрешая вопросов опубликования, чтобы авторы бальзамирования и ухода за телом В.И. Ленина — проф. Воробьев и проф. Збарский — позаботились бы о своевременном литературном оформлении истории этого дела, описании методов как самого бальзамирования, так и ухода за телом, для использования в будущие времена. Необходимо также позаботиться о подготовке кадров для преемственности и овладения этими методами.

В соответствии с рекомендацией Правительственной комиссии, по ходатайству Воробьева и моего отца, вместе с ассистентом Воробьева Р.Д. Синельниковым, я был зачислен, еще будучи студентом последнего курса университета, в штат мавзолея для помощи по сохранению тела В.И. Ленина.

Не могу сказать, что это меня обрадовало. Несмотря на тяжелейшие бытовые и моральные условия, все мои устремления были направлены на фундаментальную науку, в голове моей роились планы экспериментальных исследований. В науке — Науке с большой буквы — я видел смысл жизни и ради нее готов был отдать все свои силы и терпеть лишения. Однако настойчивость моего отца, нищенские условия суще-

ствования и мизерность моей жизни в университете заставили меня согласиться на эту малопривлекательную работу.

В мавзолее мне назначили зарплату в размере 300 рублей — сумма по тем временам маленькая, поскольку все, что было не по карточкам, стоило несоизмеримо дорого. Тем не менее у меня впервые появились свои деньги, и уже не приходилось выпрашивать у отца по 3 — 5 рублей на мелкие расходы, с чем он обычно направлял меня к мачехе, с которой я предпочитал не общаться.

Я не имел никакого опыта по части бальзамирования, но в связи с работой моего отца и Воробьева в мавзолее проявлял некоторый интерес к истории этого дела. Я знал, что тела умерших сохраняли в виде мумий в Южной Америке, на Канарских островах, в Японии, Австралии, Китае и что наибольшего совершенства это искусство достигло в Древнем Египте.

Меня захватывала мистика священнодействия жрецов. Слово «парасхит» особенно завораживало, в нем было что-то мистическое и колдовское. На первых порах я мнил себя парасхитом и сравнивал нашу небольшую группу со святотатствующими египетскими жрецами. Я даже помышлял написать своего рода роман под названием «Парасхиты», где главными действующими лицами, под вымышленными именами, должны были быть Воробьев и мой отец.

Хотя при изучении университетского курса анатомии я привык видеть трупы и манипулировать с ними, ореол имени Ленина и торжественность обстановки в мавзолее вселяли в меня робость. Однако вскоре я привык к работе, которую приходилось выполнять для сохранения тела, и она стала для меня обычной и рутинной.

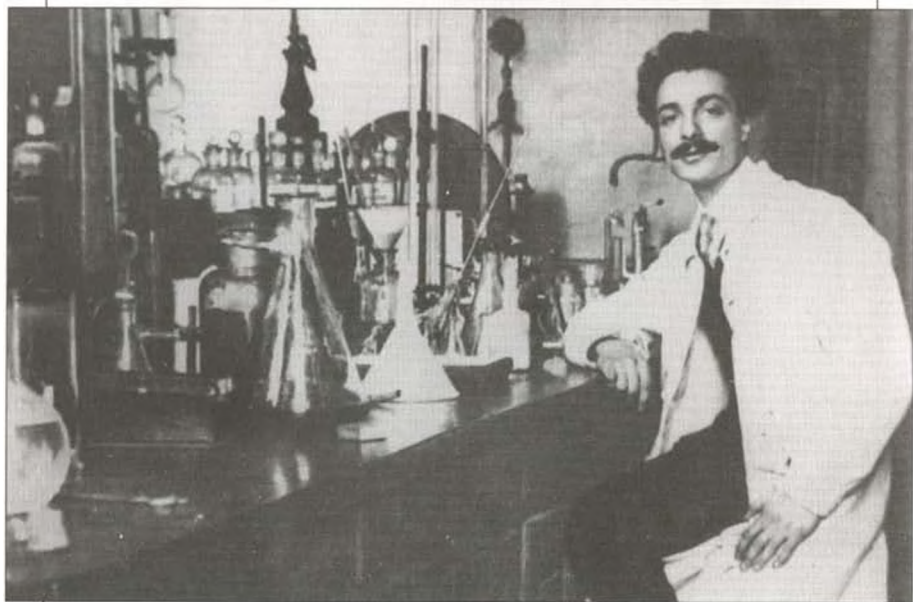
...В полумраке, в центре зала, на гранитной площадке с красным парпетом находится внушительный саркофаг конической формы в бронзовой оправе. На отполированных стенах из ценных пород камня (внизу из черного лабрадора, выше — из серого) инкрустированы красные знамена из смальты-пурпурина. Внутри саркофага гроб, но его не видно, он задрапирован красной тканью. В нем лежит Ленин. Он как будто спит, лицо и руки его освещены розоватыми лучами ламп, вмонтированных в верху конической призмы.

Nov 20
gek

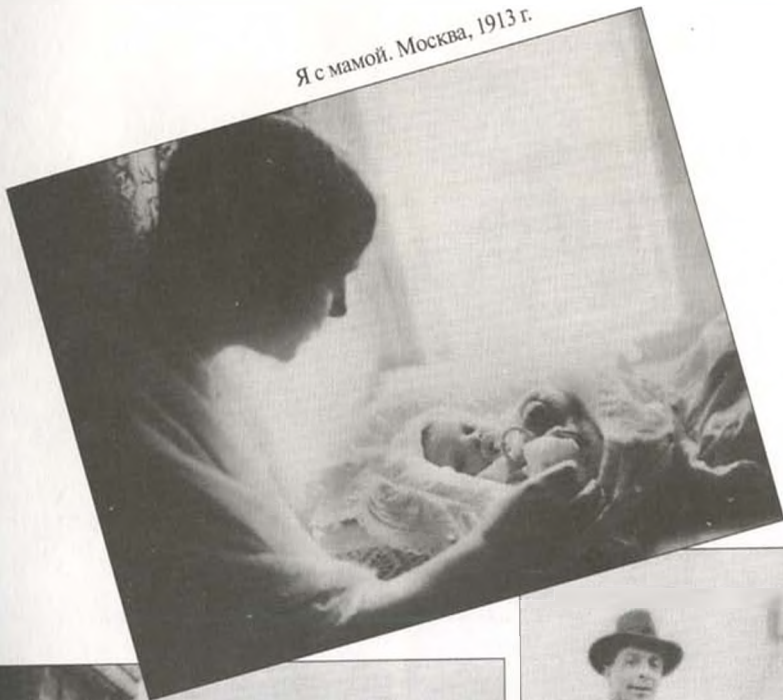


ОБЪЕКТ № 1

Мои родители,
Фаина и Борис Збарские,
студенты
Женевского университета.
1909 г.



Я с мамой. Москва, 1913 г.



Юра Карпов (стоит) и я. 1917 г.
Мы оба тогда не предполагали, что Юра
будет почетным гостем на моем 80-лети.



Мы с отцом за границей.
Франция, Савой.
1923 г.

ОБЪЕКТ №1

Я у Пастернаков в Берлине.
Слева направо: Жозефина, Леонид,
Розалия Пастернак. 1923 г.

Моя мать и Борис Пастернак
во Всеволодо-Вильеве.

*Был утренник, сводило челюсти
И шелест листьев был как бред...*



Евгений Лундберг и Борис Пастернак
в доме Бориса Збарского.
И жизнь, и слава — все еще впереди... 1916 г.

Портрет
моего отца,
работы
Л. Пастернака.
1916 г.



КОТОРА
ИМЬИ И
УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВЪ
ЕЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬСТВА
ЗНАИДАДЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
РАЗВОЙ.

ПРОДАЖА
АКЦИОННО-КИСЛОРОДНОЙ ИЗВЕСТИ.
АКЦИОНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
СОВЕТЪ ДРОВОСЕКОВОГО
РАЙОНА ГРАЖДАНСКОГО
ХЛОБОПРОВОДА
1916. 1918.

№ 100

Издательство "Искусство", Москва, 1916 г.

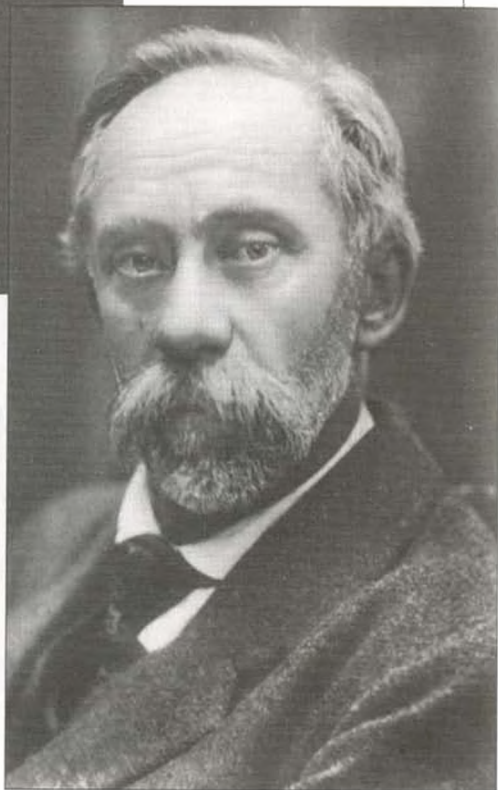
Виссолово-Виллас

Уже и аргументы не нужны
~~В аргументы~~ ~~воспользоваться~~ ~~своим~~
 Последний вечер новыя
 Осенняя ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Часовые ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Звонко ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Через ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Тотъ как ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Падале ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Звонко ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Но ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Как ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 О счастье - ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~
 Я иль кому ~~вечер~~ ~~на~~ ~~после~~

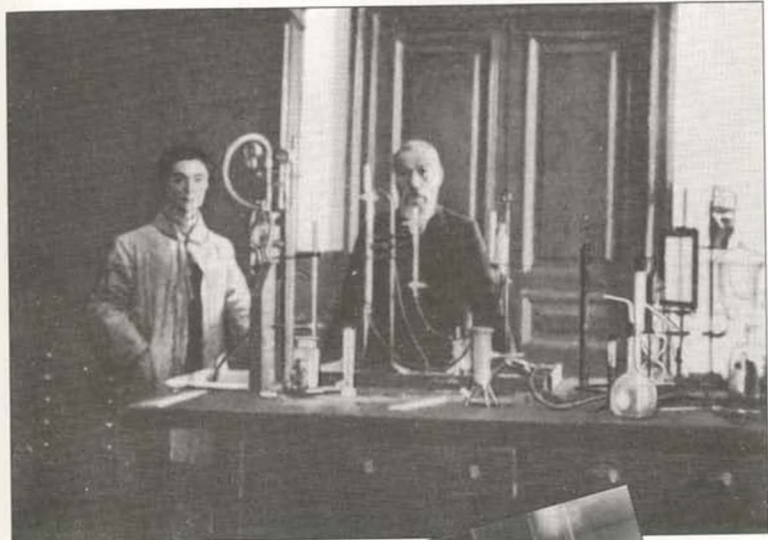
Одно из стихотворений, посвященных моей матери.
Автограф Б. Пастернака.



Профессор В. Воробьев
и профессор П. Карузин.
Этим выдающимся ученым
удалось решить
сложнейшую задачу
бальзамирования
тела Ленина.



Б. Збарский и его учитель А. Бах в лаборатории
Физико-химического института им. Л. Карпова.
Москва, 1921 г.



В. Воробьев и мой отец
в Московском биохимическом институте.
На коленях у отца — я.
1924 г.

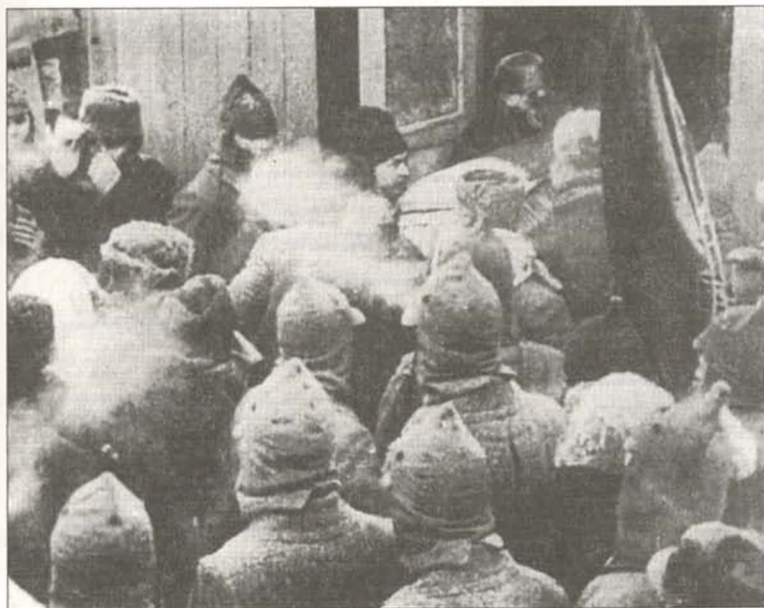


В. И. Ленин
на прогулке
с сестрой Марией
и профессором
Фёрстером.
Народ даже
не подозревал,
насколько тяжело
болен вождь.
Август 1923 г.



Ленин на смертном одре.
Горки. 22 января 1924 г.

Пять дней и пять ночей
нескончаемым потоком люди шли
в Дом Союзов прощаться с Лениным.



Вожди партии вносят гроб с телом В. И. Ленина
в первый временный мавзолей. 27 января 1924 г.

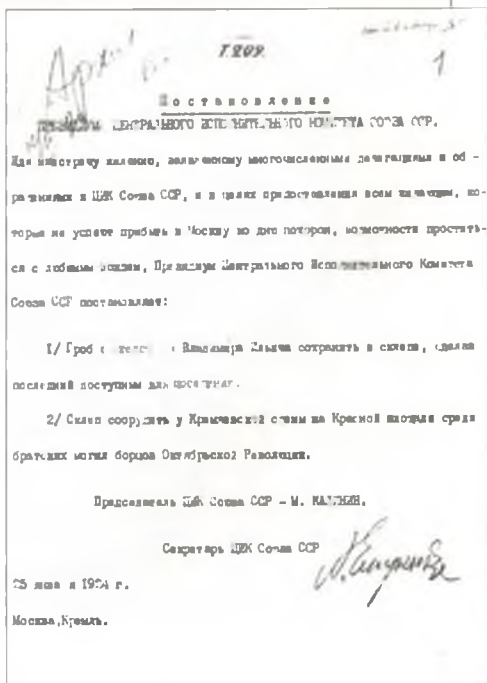


Расширенная Комиссия по увековечению памяти В. И. Ленина (с участниками балъзамирования и членами Правительственной экспертной комиссии).

Слева направо:

- сидят (первый ряд) —
 А. Журавлев, В. Герсон,
 Б. Збарский, А. Шабаш,
 лежит А. Беленький.
 Второй ряд: В. Бонч-Бруевич,
 В. Розанов, К. Яцута, В. Тонков,
 Н. Мельников-Разведенков,
 В. Воробьев, Ф. Держинский,
 Р. Петерсон, А. Енукидзе,
 К. Ворошилов.
 Стоят: П. Карузин,
 Я. Замковский, А. Савельев.

Постановление
 Президиума ЦИК СССР
 о сооружении мавзолея
 от 25 января 1924 г.
 с визой А. Енукидзе.



В. Воробьев, А. Беленький и В. Герсон
во временном мавзолее перед окончанием бальзамирования.
Июль 1924 г.



Здесь был мавзолей мавзолею Воробьева и Беленького.

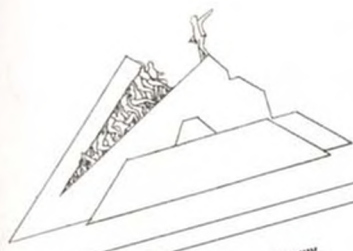
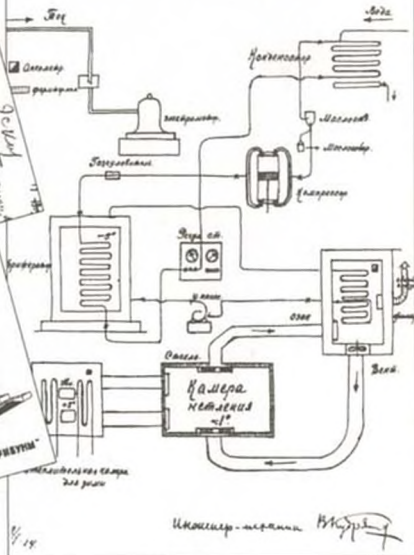


СХЕМА.
ВЫРАЖАЮЩАЯ ИДЕЮ МОНУМЕНТА В.И. ЛЕНИНУ.
(представительное)



Трудающиеся присылали
проекты мавзолеев...

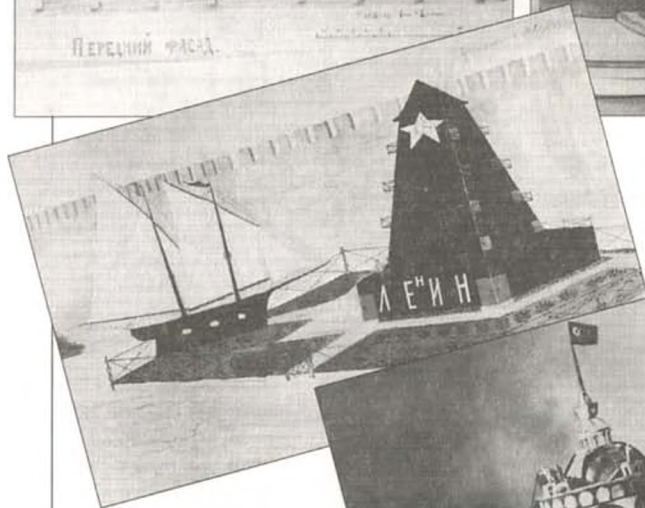
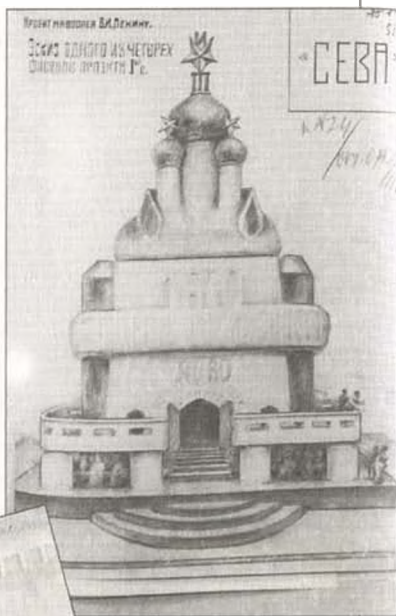
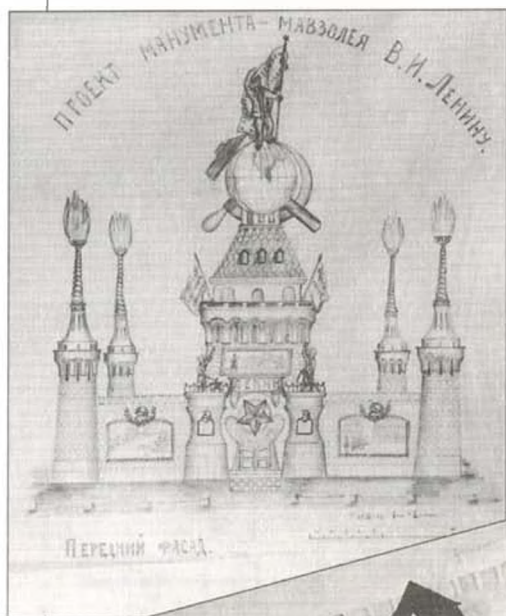
Схема
устройства для нетяжелых трупов
от +1° до -1°; 72% влаги.



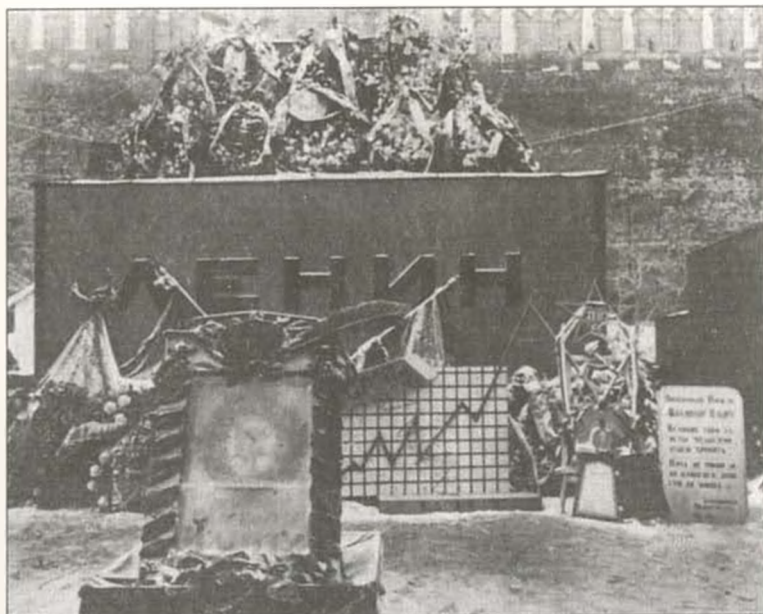
...и даже предлагали способы
бальзамирования тела вождя.

ОБЪЕКТ №1

Проекты множились и множились.
Был объявлен международный конкурс...

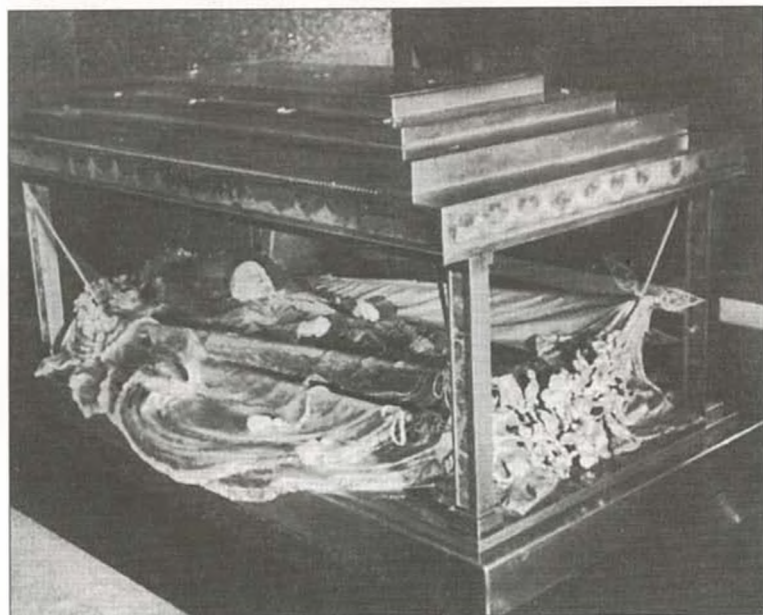
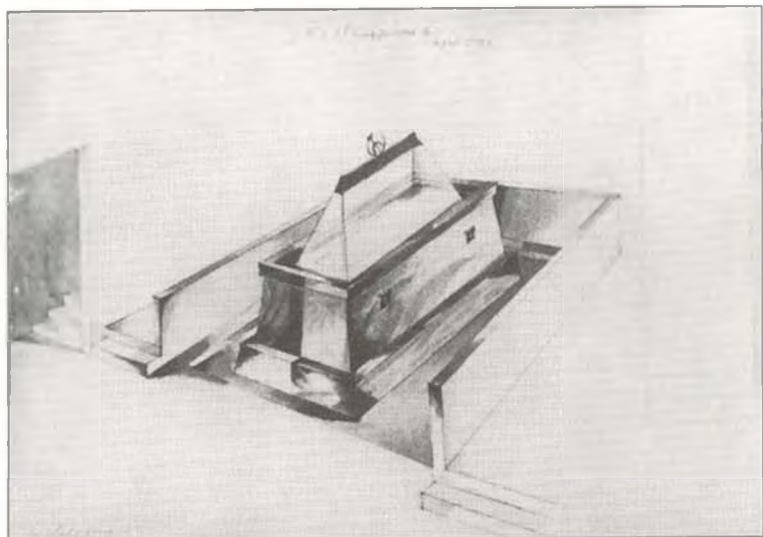


А первый временный мавзолей выглядел тогда вот так.



Летом 1924 года на Красной площади кипела работа: строился второй временный (деревянный) мавзолей.

В саркофаге, созданном по чертежам К. Мельникова, тело Ленина лежало до Великой Отечественной войны.



Новый саркофаг. 1945 г.

В 1930 г. было завершено строительство гранитного мавзолея.
Автором его (как и двух предыдущих) стал А. Щусев.



Усыпальница Ленина с самого начала выполняла
функции трибуны. С нее вожди принимали военные
парады и приветствовали ликующий народ.



Мой отец в 1937 году. Страшное для всей страны время его пока не коснулось. Но только пока...

Саркофаг открывают, слышен мелодичный шум механизма, поднимающего тяжелое сооружение Гроб находится теперь непосредственно перед нами, мы снимаем покрывало и, взяв тело за плечи и за ноги, переносим на хирургический стол на колесах Медленно и осторожно катим его, открыв тяжелые двери, в соседнюю просторную комнату, выложенную плитками Белые стены этой комнаты-лаборатории предварительно протираются спиртом для дезинфекции В ней стоят две стеклянные ванны, большие бутылки с глицерином и с дистиллированной водой, банки с уксуснокислым калием и шкафчики с остальными реактивами

Развязываем тесемки, которыми связан разрезанный на спине френч, осторожно снимаем одежду, разматываем резиновые бинты, тщательно осматриваем со всех сторон прежде скрытые поверхности тела, устраняем всевозможные дефекты и затем бережно переносим тело в заранее приготовленную ванну Кожа гладкая и эластичная, суставы прекрасно сохранили подвижность, однако необходимо тщательно пропитать все тело бальзамирующим раствором При этом производим еще один осмотр и, по возможности соблюдая стерильность, исправляем ранее незамеченные недостатки

Описанная процедура продолжалась в течение месяца ежедневно и повторялась каждый год-полтора Мавзолей (мы называли его «объект № 1») закрывался на этот период для «профилактических работ»

Еще с 1924 года Воробьев и мой отец, а с 1934 года и их молодые помощники — РД Синельников и я — приходили в мавзолей два-три раза в неделю, пристально осматривали открытые части тела — лицо и руки, смачивали бальзамирующим раствором для предотвращения высыхания и пергаментации Попутно устраняли мелкие дефекты потемнение отдельных участков кожи, небольшие пятна, появление пигмента или изменение цвета Временами появлялась также необходимость исправлять изредка обнаруживаемые дефекты объема В таких случаях мы прибегали к инъекциям сплава парафина и вазелина Однако самым тревожным было появление пятен плесени — их приходилось осторожно отмывать и дезинфицировать

Предложенная Н Ф Мельниковым-Разведенковым смесь глицерина с раствором уксуснокислого калия помогала сохранять и эластичность тканей, благодаря пропитке глицерином, и влажность, что обеспечивалось гигроскопичностью ацетата калия. Особенно важным было сохранение натуральной окраски и предотвращение появления бурого оттенка, вызываемого фиксацией формалином. Воробьев существенно усовершенствовал этот метод, устраняя пергаментные и пигментные пятна с помощью обработки разведенной уксусной кислотой и перекисью водорода.

Мне выдали удостоверение — пропуск в мавзолей в любое время дня и ночи на бланке НКВД. Должность — «сотрудник», а впоследствии «ассистент». Работа требовала постоянного наблюдения за состоянием тела и условиями хранения (температура, влажность, освещение, предохранение от бактериального или грибкового заражения и т.п.)

Примечательно, что в то время штат мавзолея состоял из коменданта, старшего электромонтера и трех дежурных электриков. Каждый из нас мог прийти в любое время и с помощью дежурного монтера произвести необходимые манипуляции. С течением времени, во второй половине 30-х годов, все это изменилось. Штат внутренней охраны мавзолея вырос до тридцати человек, включая коменданта и его заместителя; появились специалисты по охлаждению, освещению и т.п. Перед проведением «мероприятий», к которым относились праздники, парады, посещения мавзолея начальством и т.п., каждую щелочку здания, включая лабораторную комнату, тщательно обыскивала целая бригада специальной охраны.

Эта моя работа включила меня в ряды «истеблишмента», или номенклатуры. Нас приглашали на парады на Красной площади, на некоторые приемы, давали билеты на всякие «мероприятия», в том числе на знаменитый процесс правотроцкистского блока в марте 1938 года. Словом, перед нами несколько приоткрывали завесу, скрывавшую от народа жизнь и обычаи верхнего эшелона нашей партийно-бюрократической системы, и особенно полицейской системы НКВД. Несколько раз на моей памяти арестовывали комендантов Кремля и мавзолея, меняли состав охраны. Люди эти бесследно исчезали и,

когда потребовались некоторые протоколы нашей работы, хранившиеся у бывшего коменданта мавзолея, оказалось, что он расстрелян и никаких сведений получить уже невозможно.

Однажды нам с отцом прислали билеты на Красную площадь на торжественный парад и демонстрацию по поводу 20-й годовщины Октябрьской революции, но накануне парада, поздно вечером, к нам явился посыльный, отобрал наши билеты и выдал новые, другого образца. Наутро мы узнали, что в ночь было арестовано все кремлевское начальство, включая коменданта Кремля Петерсона и коменданта мавзолея Тренина.

Позже, в 1953 году, когда меня уже отчислили из спецлаборатории при мавзолее «как совместителя», а по существу из-за того, что был арестован мой отец, на Красной площади происходило «мероприятие», состоявшее в том, что хоронили одного из сталинских сатрапов, Мехлиса. Как всегда в таких случаях, обыскали каждую щелочку в мавзолее и вокруг него. Когда урну с прахом Мехлиса замуровывали в Кремлевскую стену, грянул салют — залп из пушек. Принимавший урну заместитель коменданта Кремля Косынкин, чьи мысли, по-видимому, были полностью сосредоточены на безопасности начальства, за которую он отвечал, вероятно, подумал, что это взрыв, упал, уронил урну и скончался на месте.

Владимир Петрович Воробьев еще до Первой мировой войны 1914 года был профессором анатомии медицинского факультета Харьковского университета. Во время немецкой оккупации Украины в 1918 году немцы заставили его подписать акт о том, что тысячи трупов, найденных под Харьковом, принадлежали людям, злодейски расстрелянным большевиками. Трудно сказать, кто их расстрелял в действительности — большевики, немцы или кто-то еще, например, петлюровцы или махновцы. Тем не менее, когда вернулась Красная Армия, эта подпись под актом стала представлять для Воробьева огромную опасность. Поэтому он эмигрировал в Болгарию, где несколько лет преподавал анатомию в университете Софии.

В 1921 году Владимир Петрович встретился в Берлине с моим отцом во время его заграничной командировки. Как раз тогда в соответствии с предложением советского правительства многие эмигранты возвращались в Россию, и Воробьев тоже решил вернуться на Родину. Он снова возглавил кафедру анатомии Харьковского университета, где оставались работать его ученики и сотрудники.

Мое первое воспоминание о Воробьеве относится к 1922 или 1923 году. Я спускался по лестнице Биохимического института, где мы жили на третьем этаже, и встретил плотного усатого мужчину, поднимавшегося вверх. Это был Воробьев, он остановил меня и предложил апельсин. Шли первые годы нэпа, и я не очень представлял себе, что это за невиданный фрукт. Тем не менее простота и товарищеское отношение этого взрослого солидного дяди ко мне, десятилетнему ребенку, пленили меня.

Владимир Петрович жил в Харькове, но часто приезжал в Москву и останавливался в большой квартире моего отца, сначала в здании Биохимического института на Воронцовом поле, а затем в «Доме правительства» на улице Серафимовича

Живость, простота общения с детьми и молодежью, чувство, что с тобой говорят как с равным, подкупали, и я искренне полюбил Владимира Петровича — с ним мне было проще и легче, чем с отцом, в отношениях с которым я всегда чувствовал дистанцию и некоторую отчужденность. Приезды Воробьева были для меня праздником; он как-то по-дружески и по-просту общался со мной, делился своими мыслями и побуждениями, подкармливал меня и водил в рестораны

Казалось, он хотел получить от жизни все, любил женщин, вино, развлечения. И во всем этом отлично разбирался и судил профессионально. Неоднократно он рассказывал о достоинствах и особенностях женщин разных типов и национальностей, о различных марках вин и других алкогольных напитков. Даже прочел мне две-три лекции о том, как и на что действует тот или иной напиток, когда и по какому случаю его пьют, из какой посуды, чем закусывают и т.п. Лекции эти были столь содержательны, что следовало их застенографировать или хотя бы подробно записать — к сожалению, я этого не сделал. Помню только, что пиво пьют из стаканов толстого стекла, а вино — из тонкого, шампанское употребляют по торжественным случаям и действует оно, главным образом, на ноги, красное вино хорошо пить с дамами, оно придает силы и бодрость, а коньяк пьют после обеда или ужина слегка подогретым, согревая рюмку в руке, и располагает он к дружеской беседе. Но несмотря на столь глубокие познания в этом вопросе, приезжая к нам, Владимир Петрович пил все, что было в доме, и по любому поводу

В 1924 году, после смерти Ленина, когда было решено сохранить его тело, Воробьев, по нерешительности характера, колебался и не готов был взяться за эту работу. Решающую роль сыграло его общение с моим отцом, которому свойственна была некоторая склонность к риску. Отец сумел повлиять на Владимира Петровича. Когда Воробьеву было поручено бальзамировать тело В. И. Ленина, он привлек к этой работе

моего отца, своих ассистентов А.Н. Журавлева, А.Л. Шабаша и Я.Г. Замковского, а также профессора анатомии Московского университета П.И. Карузина (в будущем моего тестя), с которым он, однако, затем повздорил и отстранил его от этой работы. Вся работа проводилась под руководством и в подчинении Комиссии по увековечению памяти В.И. Ленина, конкретно Ф.Э. Дзержинского и Л.Б. Красина. Соответственно, обеспечение работы и наблюдение за ней были возложены на мощнейшую уже тогда организацию — ОГПУ—НКВД.

Иногда Владимир Петрович приезжал в Москву с машинисткой или какой-нибудь другой сотрудницей и при этом откровенно говорил мне: «Ты же знаешь мои слабости». Значительно позже, когда я уже был женат на Ирине Карузиной, я узнал от нее, что именно из-за этих «слабостей» он поссорился с ее отцом, Петром Ивановичем Карузиным, отказался от дальнейшего сотрудничества с ним в мавзолее и впоследствии способствовал тому, чтобы его, еще не очень старого, отправили в отставку и заменили на кафедре 1-го Московского медицинского института Г.Ф. Ивановым.

Своего тестя Петра Ивановича Карузина я застал уже не у дел, на пенсии. Будучи отстраненным от заведования кафедрой анатомии 1-го Московского медицинского института еще в работоспособном возрасте, он, по-видимому, чувствовал себя обиженным, что выражалось в полном пренебрежении к одежде и занятии в основном домашними делами. Он рано вставал и каждое утро ходил за хлебом в ближайшую булочную.

Петр Иванович прекрасно знал латынь и греческий, был живым кладом знаний по истории и древней истории медицины, автором латинского медицинского словаря. Он любил молодежь и, подобно профессорам прошлого, был всегда окружен студентами, которые приходили к нему домой и живо общались с ним. Со мной, тогда еще совсем молодым человеком, он любил подолгу разговаривать и рассказывал много интересного из истории науки и университета.

В отличие от большинства интеллигенции, он спокойно воспринял революцию, продолжал работать в университете, пожертвовал вновь организованному медицинскому институ-

ту в Смоленске свою личную библиотеку, полагая, что все уляжется и он, как прежде, легко сможет восстановить ее.

Причиной его ссоры с Воробьевым послужил следующий инцидент. П.И. Карузин, как все анатомы, тоже любил выпить и артистически готовил всяческие наливки, настойки и ликеры. Однажды на вечеринке в доме Карузинух Воробьев, сильно опьянев, стал недвусмысленно приставать к дочери, вернее, падчерице Петра Ивановича. В какой-то, видимо, достаточно пикантный момент в комнату зашел Петр Иванович и, не сдержав своего гнева, обругал и выгнал Воробьева из дома. Не знаю, что при этом произошло, но экспансивный Владимир Петрович, очевидно, не смог вынести такого публичного оскорбления.

К сожалению, я узнал об этом значительно позднее и понял, что именно это обстоятельство на несколько лет задержало мой брак с Ириной. Я имел неосторожность в начале нашего знакомства сказать ей, что как отца люблю анатома Воробьева, на что она, побледнев, холодно ответила мне, что такого не знает, и лишь через несколько лет рассказала о конфликте между ее отцом и Владимиром Петровичем.

В 1935 году Максим Горький добился у высокого начальства разрешения на организацию крупного научного центра, своего рода прообраза будущей Академии медицинских наук. По этому поводу у Сталина (конечно, с изысканным ужином и застольем — Сталин всегда подпаивал гостей, учитывая, что тогда он лучше узнает их потаенные мысли и намерения) состоялось совещание, на которое были приглашены выдающиеся деятели медицины, в том числе и Воробьев. На совещании решено было перевести старейшее научное учреждение — Институт экспериментальной медицины — из Ленинграда в Москву и создать на его базе крупный центр: Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ).

С этого совещания Владимир Петрович вернулся таким пьяным, что смог только упасть на кровать. Я помог ему раздеться и прийти в себя. Прием у Сталина, по-видимому, произвел на него сильное впечатление, он проговорил: «Я со Сталиным целовался. » В трезвом, или относительно трезвом, состоянии он отнюдь не восхищался Сталиным и даже как-то

назвал его «тупым грузином». Вообще, он испытывал неприязнь к грузинам, армянам и другим кавказским народностям

Как нередко бывает в таких случаях, его единственная дочь, тоже Ирина, вышла замуж за армянина, сообщив ему об этом постфактум, что вызвало у него крайнее раздражение. Однако исправить он уже ничего не мог. Ирина была его дочерью от первой жены, судьба которой мне неизвестна. Знаю только, что у них был также сын, который погиб, и что в молодости у Воробьева был какой-то несчастный случай на охоте; то ли он, то ли кто-то другой случайно застрелил его любовницу. Возможно, именно при этих обстоятельствах и погиб его сын. Во всяком случае, это происшествие оставило в его душе глубокий след и неизлечимую рану. Он невероятно боялся любого, особенно огнестрельного, оружия, а также всякой техники — лифта, автомобиля, иногда даже паровоза.

Когда я узнал Воробьева, он был женат на вдове бывшего владельца глазной больницы в Харькове, Евсея Браунштейна, Марии Григорьевне Браунштейн, с которой он, вероятно, находился в близких отношениях и до женитьбы. Мария Григорьевна, крупная, величественная, церемонная женщина, являвшаяся во многих отношениях противоположностью Владимиру Петровичу, была совершенно лишена его живости, щедрости, доброжелательства и товарищеского отношения к молодежи. Оба ее сына от первого брака стали незаурядными личностями. Старший, Николай Евсеевич, офтальмолог, как и отец, остался в Харькове, младший, впоследствии выдающийся биохимик, академик Александр Евсеевич Браунштейн, внешне походил на Воробьева, что вызывало у меня подозрение, не кровное ли это сходство. Во всяком случае, к Шуру Владимир Петрович относился по-отечески и всячески опекал его.

Помимо контактов с Александром Евсеевичем Браунштейном с самого начала его работы в Биохимическом институте, я часто встречался с ним в нерабочей обстановке. Александр Евсеевич был несколько замкнут и нелегок в общении, чему способствовали его тугоухость и затрудненное восприятие чужой речи. Кроме того, он неумело работал руками, из-за чего Бах считал ошибкой его принятие в аспирантуру при Институте. Это, однако, не помешало Александру Евсеевичу стать вы-

дающимся ученым с мировым именем Он всегда обладал поразительной эрудицией не только в своей области и смежных дисциплинах, но и в далеких от науки вопросах.

Исследования Браунштейна по переаминированию аминокислот, выполненные еще до войны, получили мировую известность и самую высокую оценку, но, как и в большинстве случаев, у нас их оценили только после того, как зарубежные авторы стали писать в своих статьях, что это самое большое достижение биохимии за текущий год.

С возрастом у Александра Евсеевича появилось желание организовать собственный институт энзимологии, при планировании которого он пригласил и меня принять участие в его работе, но этот план не был реализован, и до последнего времени он заведовал отделом в Институте молекулярной биологии Академии наук СССР, руководимом В. А. Энгельгардтом.

В октябре страшного 1937 года у Воробьева обнаружили опухоль в почке. Было подозрение на злокачественность, и после некоторых колебаний решили оперировать. Боясь всего незнакомого, Владимир Петрович отказался от Кремлевской больницы и настоял на том, чтобы оперировал его хороший знакомый и собутыльник, харьковский хирург А. В. Мельников.

Я провожал Воробьева в Харьков. На Курском вокзале, перед самым отходом поезда он помахал мне рукой с площадки вагона и проговорил: «Умирать еду!» Зная его возбудимость и постоянные страхи, я не придавал этим словам серьезного значения и не осознавал, что вижу его в последний раз.

Из Харькова сообщили, что операция прошла успешно и что опухоль оказалась доброкачественной кистой. Однако через день-два состояние Воробьева резко ухудшилось, и вскоре он умер от уремии. Обстоятельства смерти Владимира Петровича вызывают у меня большие сомнения. В 1937 году, да и раньше, многих устранили не только путем арестов и репрессий; часто прибегали и к услугам врачей, и к злодейским приемам самых мрачных времен. Вспомним хотя бы обстоятельства смерти Максима Горького или наркома обороны Михаила Фрунзе.

Действительно, все было странно: так как опухоль оказалась доброкачественной, не было медицинских показаний

удалять почку, но Мельников тем не менее ее удалил. Оставшаяся почка не справилась с выделительной функцией, что и послужило причиной уремии. Перед такой операцией, даже в то время, всегда производилась проверка другой почки. По моим сведениям, эта проверка не была проведена, а может быть, и была, и именно поэтому кистозную почку удалили. Такая гипотеза вполне соответствует духу тех лет. С опаской относясь ко всяким медицинским вмешательствам, Воробьев настаивал, чтобы наркоз был применен не в операционной, а в обычной больничной палате. Эти требования противоречили медицинским правилам, однако они были удовлетворены.

Весьма возможно, что Воробьев, особенно в состоянии подпития, мог в кругу людей, которым он доверял, неосторожно сказать что-то не соответствующее генеральной линии партии и стать жертвой доноса осведомителя.

К сожалению, Владимир Петрович не разбирался в людях. Его близкие ассистенты, Шабдаш и Синельников, оказались лживыми, неискренними людьми. У меня есть основания полагать, что последний был информатором известного учреждения и сообщал о своем шефе весьма неблагоприятные сведения. Я мало знал А.В. Мельникова, но из нескольких встреч до и после смерти Воробьева вынес впечатление о нем не только как о горьком пьянице, но и как об аморальном субъекте. Не исключено, что и этот «друг» Владимира Петровича выполнял чье-то задание.

Воробьев скончался 31 октября 1937 года. Мы с отцом приехали на его похороны и разбирали его архив. В левом ящике стола в беспорядке лежали бесчисленные счета и квитанции, что меня удивило, так как к деньгам, и вообще к финансовым вопросам, он относился безразлично и легкомысленно. В правом ящике оказались интересные материалы, характеризующие историю медицинского факультета Харьковского университета. Был снимок, на котором профессора медицинского факультета сфотографированы в позах и положениях известной картины Рембрандта — у секционного стола — и каждому профессору была дана едкая и остроумная характеристика, написанная от руки.

Первого декабря 1934 года я сидел у радиоприемника. Иностранное радио в те времена еще не научились глушить, что позволяло получать объективную информацию, отсутствовавшую в газетах, которые превозносили успехи социализма и искажали мировые события. Немецкое радио вдруг сообщило, что в Ленинграде, в Смольном, убит член Политбюро, секретарь Ленинградского горкома, Сергей Миронович Киров. Я не верил своим ушам — неоднократно говорили о готовящихся покушениях и заговорах, но ни разу не сообщали об убийстве столь крупного партийного или государственного деятеля.

Странные обстоятельства сопровождали это убийство. Покушавшийся, некто Николаев, был казнен без суда, комиссия по расследованию во главе с заместителем наркома внутренних дел, выехавшая в Ленинград из Москвы на машине, непонятным образом погибла в автомобильной аварии.

Позже выяснилось, что Киров был убит по приказу Сталина. Киров пользовался большой популярностью и многими рассматривался как вероятный преемник вождя; на XIV съезде партии при выборах генерального секретаря он получил четверть голосов, даже не будучи выдвинутым в кандидаты на этот пост. Избавившись от Кирова, Сталин свалил всю вину на «врагов народа», прежде всего троцкистов, и использовал это обстоятельство для развязывания массового террора. Последовали повальные аресты, из Ленинграда выслали чуть ли не большинство коренных жителей.

Все эти годы, особенно с приходом Сталина к власти, с нарастающей жестокостью и неотвратимостью, под победные фанфары об успехах коллективизации, индустриализации и

строительства социализма, на фоне нищеты, унижительного существования и беспощадного подавления всякой человечности, свободной мысли и милосердия, происходили массовые аресты, особенно среди интеллигенции, а также государственных и партийных работников, военных и самих сотрудников аппарата насилия и слежки.

Продолжалась «ликвидация кулачества как класса», а по существу истребление трудолюбивого крестьянства и всего мыслящего слоя народа. Для того чтобы быть арестованным, достаточно было случайно на улице поговорить с иностранцем, рассказать анекдот, выразить малейшее недовольство существующими порядками, плохим питанием, отсутствием самого необходимого. Особенно страшно было высказать хоть какое-то сомнение в гениальности и правильности политики Сталина и его сатрапов; боялись даже завернуть покупку в газету с портретом Сталина, а такой портрет появлялся в печати почти ежедневно.

Все общество опутывала бесчисленная сеть осведомителей НКВД, которые сами тряслись за свою шкуру. В этой жуткой и гнетущей атмосфере пресса и радио на все голоса дружно восхваляли «генеральную линию партии» и «мудрую политику великого Сталина». Не смолкали благодарности за «счастливую жизнь», долдонили об огромных успехах в промышленности и сельском хозяйстве, о преимуществах социализма, загнивании и ужасах капитализма.

В ноябре 1932 года мы узнали о смерти жены Сталина, Надежды Аллилуевой. Газеты и радио сообщали о том, что она умерла естественной смертью, однако слухи о ее самоубийстве оправдались. На торжественном банкете в канун годовщины Октябрьской революции Сталин грубо оскорбил жену, она покинула празднество и той же ночью застрелилась из пистолета «Вальтер», подаренного ей братом.

Однажды, когда я возвращался домой, в «Дом правительства», где мы жили с отцом, встревоженный вахтер сказал мне, что застрелился Серго Орджоникидзе, один из ближайших соратников Сталина. Наутро в газетах было объявлено, что он умер от инфаркта, однако через несколько лет патологоанатом, вскрывавший его тело, рассказывал, что в голове

Орджоникидзе зияло пулевое отверстие. Весьма вероятно также версия, которая, как мне говорили, исходит от его вдовы, что он был убит по приказу Сталина.

До сих пор ходят разговоры об обстоятельствах смерти поэтов Сергея Есенина и Владимира Маяковского, по официальной версии покончивших с собой

На пике террора, в 1937 году, повальные аресты стали повседневным явлением, они достигли самых верхов партийного руководства, старых большевиков, членов Центрального Комитета и Политбюро, никто во всей стране не был уверен в завтрашнем дне; страх и бесправие стали уделом каждого.

В нашем подъезде «Дома правительства» было тридцать две квартиры, и на дверях тридцати из них красовались печати НКВД — их обитатели, в том числе семья Аллилуевых, родственников Сталина по жене, были арестованы. Неопечатанными остались только наша и еще одна квартира. Недаром «Дом правительства» стали сокращенно называть ДОПР (то есть «дом предварительного заключения»).

31 октября 1937 года мы с отцом выехали в Харьков на похороны Воробьева. По дороге я сказал отцу, что слышал об аресте ведущего авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Отец, зная незаменимую роль Туполева в создании лучших советских военных и гражданских самолетов, резко возразил, что это невозможно. Тем не менее по возвращении в Москву мы получили несомненные подтверждения его ареста.

После смерти Воробьева ответственность за сохранение тела Ленина легла на моего отца. Вскоре, однако, и у него странным образом тоже обнаружили опухоль левой почки. Его срочно оперировали в Кремлевской больнице, диагностировав кисту, и почку удалили. По-видимому, во время операции попала инфекция, и болезнь осложнилась гнойным перитонитом (воспалением брюшной полости) Жизнь отца была в опасности, и лишь через несколько недель здоровье его восстановилось.

Во время болезни отца у меня дома раздался телефонный звонок, сам нарком НКВД, товарищ Ежов, срочно вызывал меня. Вместе с Синельниковым мы пришли на площадь Дзержинского в назначенное время. Получив пропуска и пройдя

несколько постов охраны, мы попали в кабинет наркома. В огромной комнате за большим столом сидел маленький щедушный человек с пытливыми глазами. За его спиной на стене висел внушительных размеров портрет Сталина. На столе стоял бюст Сталина и еще один портрет Сталина в рамке. Все это, по-видимому, выражало беспредельную преданность хозяина кабинета вождю.

Предложив нам сесть, Ежов встал, при этом он казался еще меньше, и торжественно провозгласил, что Политбюро ЦК партии поручило ему переговорить с нами. В связи с тем, что жизнь профессора Б.И. Збарского находится в опасности и партия озабочена дальнейшим сохранением тела В.И. Ленина, сумеем ли мы, в крайнем — несчастном — случае, справиться с этим делом?

На это я ответил, что знания и опыт моего отца, Б.И. Збарского, имеют для нас огромное значение, но, в крайнем случае, мы сможем продолжить сохранение тела Ленина. Не успел я договорить, как Синельников вскочил и, перебив меня, отрапортовал: «Товарищ Ежов, заверяю вас, что дело сохранения тела Ленина находится в надежных руках и мы можем нести за него полную ответственность!»

Через несколько лет, в Тюмени, куда во время войны было эвакуировано тело Ленина, мой отец спросил, что мы тогда сказали Ежову. Синельников, не поморщась, ответил: «Как же, Борис Ильич, мы, конечно, доложили, что без вас мы абсолютно бессильны и не сможем продолжить дело». Эта беспардонная ложь потрясла меня, и я восстановил истину, процитировав категоричное заявление Синельникова; при этом я добавил, что, по-моему, так и надо было ответить. Отец согласился со мной в том, что ответить следовало именно так, но, по-видимому, понял, каким лживым человеком был Синельников и, воспользовавшись какой-то небольшой его оплошностью, поспешил избавиться от него.

Я уже упоминал о том, что работа в мавзолее давала нам возможность посещать всяческие парады, приемы, заседания съезда Советов (более скучного собрания я не припомню) и т.п. В числе этих привилегий нам были предоставлены про-

пуска на знаменитый процесс правотроцкистского блока, происходивший в Октябрьском зале Дома Союзов. Это было нечто из ряда вон выходящее, и хотя с тех пор прошло более 60 лет, я помню многое, в том числе из того, что нигде не опубликовано. У меня сохранился стенографический отчет этого «мероприятия», который теперь, вероятно, представляет библиографическую редкость, но и в этом отчете многое опущено или не соответствует действительности.

Судили А.И. Рыкова и Н.И. Бухарина, наркома НКВД Г.Г. Ягоду и еще ряд наркомов и руководящих работников: Н.Н. Крестинского, Х.Г. Раковского, М.А. Чернова, А.П. Розенгольца, Г.Ф. Гринько и других, а также главного врача Кремлевской больницы Л.Г. Левина, профессора Д.Д. Плетнева и доктора И.Н. Казакова. Врачей обвиняли в умышленном отравлении под видом лечения В.В. Куйбышева, В.Р. Менжинского, А.М. Горького и сына Горького М.А. Пешкова.

Обвинительное заключение, составленное по всем правилам юриспруденции, было зачитано генеральным прокурором А.Я. Вышинским, который логично и с пафосом произнес гневную обвинительную речь в классических тонах. Из обвинительного заключения следовало, что существовал правотроцкистский блок, руководимый Троцким, Бухариным и Рыковым, которые являлись иностранными агентами (я уж не помню каких государств, но, конечно, наверняка фашистской Германии, Англии и Франции), что целый ряд бывших ответственных работников, занимавших высокие посты, объединились с целью свержения советского правительства, давно вели антисоветскую и антипартийную деятельность, включавшую подготовку ряда диверсионных актов, а также покушений на жизнь Ленина, Сталина, Молотова и других руководителей партии и правительства. Казалось, что все это, как ни чудовищно, но логично и имеет основания.

Аудитория в сравнительно небольшом Октябрьском зале Дома Союзов состояла на 70—80 процентов из переодетых сотрудников НКВД, но перед нами сидели английский и французский послы. Трудно представить себе все лицемерие этого инспирированного судилища. «Публика» то и дело вмешивалась в ход процесса, эмоционально возмущаясь «мерзкими

предателями, грязными свиньями и врагами народа» Речь Вышинского продолжалась более двух часов, показания подсудимых полностью подтверждали обвинение, и они каялись в совершенных ими ужасных преступлениях

Очень убедительно звучали заявления врачей, признававших, что по указанию Ягоды они намеренно вели лечение Горького, его сына М.А. Пешкова, Куйбышева, Менжинского и других таким образом, чтобы ускорить их гибель. Меня тут же осенила мысль, что эти указания исходили не от Ягоды, а от самого Сталина — об этом было страшно подумать; этой мыслью я не мог поделиться ни с кем, даже с отцом. Позднее то же мнение, даже утверждение, я прочел в книге Троцкого «Моя жизнь». Теперь я встретил его и в наших периодических изданиях.

Самыми незабываемыми и впечатляющими были последние слова обвиняемых после оглашения приговора; они каялись и униженно просили сохранить им жизнь. Ягода плакал, говорил, что чуть ли не каждый день виделся с величайшим гением человечества, признавался в своих грехах, встал на колени и, рыдая, прерывающимся голосом произнес: «Товарищ Сталин, если можете, пощадите меня».

Достоинство вели себя только Рыков и Бухарин. Рыков не каялся, не просил о пощаде; он лишь сказал, что его точка зрения и политика потерпели поражение и дальнейшее сопротивление бесполезно, что он призывает своих единомышленников сложить оружие, прекратить всякую антипартийную деятельность и проводить в жизнь генеральную линию партии.

Самым впечатляющим было последнее слово Бухарина. Он говорил часа полтора-два, неоднократно прерываемый шумом и возгласами «публики», что он оскорбляет советский суд, лжет и т.п. Знаменательно, что в стенографическом отчете об этом процессе последнему слову Бухарина уделено лишь несколько строк, искажающих его смысл. По-видимому, Бухарин тщательно подготовился к выступлению. Опираясь фактами, он, по существу, опроверг все пункты обвинения: и о готовившихся покушениях на Ленина, на Сталина и его соратников, и о шпионаже, и о своей деятельности в период оппозиции «левых коммунистов» Брестскому миру и т. д. У меня не

было сомнения в том, что все приведенные им аргументы верны, и от красноречивого обвинительного заключения Вышинского не осталось камня на камне.

Несмотря на гнетущую обстановку и ту жестокую и возмутительную обработку, которой он подвергся, Бухарин говорил логично, системно и убедительно. Чувствовалось его огромное интеллектуальное и моральное превосходство над обвинителем — Вышинским.

Свою речь Бухарин начал с того, что никакого правотроцкистского блока не было и не существует: «Что у меня общего с палачом Ягодой, чинушей Черновым или шарлатаном Казаковым? Не было никакого центра или блока, просто «Mit gefangen, mit gehangen» («Вместе пойманы, вместе повешены»)...)» Не удержался он и от того, чтобы не съязвить, что «меньшевик Вышинский судит большевика Бухарина!» Он признал себя виновным лишь в том, что взгляды его отличались от линии Сталина, представленной как «генеральная линия партии». Он не просил о помиловании и по существу разгромил весь обвинительный акт, и всё это под непрерывное улюлюканье аудитории.

В современных писаниях я повсюду встречал указания на то, что жестокая обработка обвиняемых, в частности, и на этом процессе, была такова, что все они безоговорочно признавали свою вину и просили о помиловании. Это не соответствует действительности, по крайней мере, в отношении Бухарина и Рыкова. Теперь, через десятилетия после Октябрьской революции и этого омерзительного процесса, совершенно очевидно, насколько эти люди, при всех своих ошибках, были честнее, благороднее и дальновиднее, чем судившая и расстрелявшая их сталинская клика

Работая в спецлаборатории, я постоянно контактировал с Управлением коменданта Кремля, охраной мавзолея и другими работниками НКВД. Я не могу сказать, что все они были мерзавцами. Это были обыкновенные люди, хорошие и плохие, злые и добрые, честные и лгуны. Однако, как и все мы, и даже в еще большей степени, они были запуганы и выдрессированы так, что представляли собой винтики и рычаги тотальной системы полицейской тирании. Под страхом расстрела

они исправно выполняли приказы и указания начальства, вербовали осведомителей, охраняли вождей, арестовывали, допрашивали и пытали заключенных. Сеть осведомителей была настолько разветвлена, что ни с кем, даже с женой, отцом, сыном, братом нельзя было говорить откровенно.

Тем не менее у «чекистов» иногда просыпались человеческие чувства. Так, во время войны и после войны два занимавших довольно высокое положение работника этого учреждения, независимо друг от друга, бескорыстно старались помочь мне в трудные минуты, предупредить от неосторожных шагов и от общения с некоторыми секретными агентами НКВД. Я знаю случай, когда один высокопоставленный сотрудник НКВД помог человеку, которому грозил неминуемый арест, и спас его от задержания, подбросив спичечную коробку, где лежала записка, сообщавшая секретные сведения и совет, как уберечь себя.

Лучшие люди нашей страны погибли в то время. Большевистский террор был массовым, уничтожал миллионы лучших представителей русского народа, а также заодно и других народов России и Советского Союза. Репрессиям, в первую очередь, подвергались наиболее образованные, мыслящие, честные и инициативные, смелые и отважные люди. Сначала это шло под флагом уничтожения «эксплуататоров» — аристократов, дворян, купцов, владельцев фабрик и заводов, затем стали истреблять интеллигенцию — профессоров, инженеров, экономистов, агрономов, врачей и др., на которых, как на «вредителей» и носителей буржуазной идеологии, сваливали все неудачи: развал народного хозяйства, голод, нищенские условия жизни. Под видом «вредителей» и носителей «буржуазной антисоветской идеологии» была уничтожена почти вся интеллигенция.

Далее «индустриализация», «сплошная коллективизация» и «ликвидация кулачества как класса» унесли трудовое, работающее и непьющее крестьянство. Покончив с «бывшими», интеллигенцией и крестьянством, кадетами, эсерами, меньшевиками и др., Сталин принялся уничтожать неугодных ему членов его же партии, прежде всего старых большевиков, которые знали, что он собой представляет

Пожалуй, самым демократичным периодом его владычества оказалась Вторая мировая война. Немного разрешили религию, а иногда люди даже осмеливались говорить то, что они думают. Но и в это время творились ужасы. В армии процветали мордобой и пренебрежение к человеческой жизни. Молодых людей, увезенных в Германию из оккупированных областей или попавших в плен, на родине направляли в концентрационные лагеря и тюрьмы, ссылали в северные, непригодные для жизни районы Сибири, а нередко и расстреливали.

Вскоре после войны все послабления были забыты, появился «железный занавес», началась борьба с «низкопоклонством» и «космополитизмом», прекратилась всякая связь с границей, прокатилась новая волна репрессий. На этот раз она касалась прежде всего лиц еврейского, немецкого и вообще иностранного происхождения. Целые народы Советского Союза, немцы Поволжья, крымские татары, калмыки, чеченцы, кабардинцы были насильно, в 24 часа, выселены с мест постоянного проживания и сосланы в новые, непривычные для них и непригодные районы Сибири и Средней Азии.

Лишь после смерти Сталина, при Хрущеве, и то постепенно и неуверенно, начали выпускать уцелевших арестованных, и террор стал уже не массовым, а избирательным. Еще много лет в биографиях реабилитированных деятелей партии не упоминали о репрессиях, а писали: «Умер в 1937 году» или «в 1952 году». Троцкий, Рыков, Бухарин, Каменев, Зиновьев и другие старые большевики, делавшие революцию, не упоминались в словарях и энциклопедиях.

От этих массовых репрессий пострадали не только десятки миллионов арестованных, но и многочисленные их родственники, знакомые и сослуживцы.

Я окончил университет в 1935 году. В июле нас отпустили на каникулы, а на октябрь была назначена защита моей дипломной работы, которую я делал, по настоянию отца, в 1-м Московском медицинском институте, под его руководством. До этого, на четвертом курсе, под руководством С.Е. Северина, я выполнил, совместно с С.М. Бычковым, курсовую исследовательскую работу по обмену веществ в развитии пчелы. Материал мы брали из ульев, расположенных на балконе зоологического отделения университета на Никитской улице, 6. Исследования проводили с интересом, получили некоторые новые результаты, и наша работа была опубликована в «Бюллетене экспериментальной биологии и медицины», издававшемся на русском и английском языках.

Поскольку я специализировался по биохимии, мне приходилось постоянно контактировать с Сергеем Евгеньевичем Севериным, и он уделял мне много внимания. На протяжении всей жизни я неоднократно встречался с ним в различных ситуациях, и общение это всегда вдохновляло и стимулировало к научной деятельности. Я помогал ему в организации Биохимического общества, исполняя обязанности ученого секретаря Президиума. Был также ученым секретарем, а затем заместителем Северина как главного редактора отдела химии и биохимии Большой медицинской энциклопедии.

Многочисленные ученики любили и уважали Сергея Евгеньевича, чему немало способствовали его доброжелательность и открытый характер. Он несомненно выдающийся ученый, но его широкие интересы и увлеченное занятие преподаванием в какой-то мере отвлекали его от углубленной разработки научных проблем. Наряду с огромной работоспособно-

стью и увлеченностью наукой, в нем всегда была какая-то легкость в общении и изложении любого вопроса. Свое красноречие и живость он сохранил до глубокой старости. Северина я часто встречал также в обществе Энгельгардта и Браунштейна, с которыми мы нередко собирались в неслужебной обстановке.

Темой моей дипломной работы, предложенной отцом, являлось распределение аминокислот между эритроцитами и плазмой крови у собак с удаленной селезенкой.

Тема меня не привлекала, тем более, что я должен был начать с того, чтобы повторить уже проделанную и опубликованную работу. Тем не менее, я аккуратно оперировал собак, из бедренной артерии брал кровь, центрифугировал ее и определял аминокислотный азот отдельно в эритроцитах и плазме крови. Так как взятие крови из артерии весьма болезненно, собак приходилось привязывать к операционному столу. Животных для опытов вылавливали на улицах и продавали в виварий института. Неудивительно, что при этом часто попадались домашние собаки и кошки, имевшие хозяев, которые их любили. Помню, как однажды в комнату ворвалась пожилая женщина и бросилась к клетке с котом, радостно восклицая: «Васенька, милый, наконец-то я нашла тебя!» Кот всеми доступными ему способами также выражал свою радость.

Среди нескольких контрольных собак был большой светло-коричневый немецкий дог, который привлек мое внимание исключительной дисциплинированностью и добродушием. В отличие от других собак он не стонал и не пытался вырваться при болезненном уколе в артерию, и я перестал привязывать его, так как он сам ложился на операционный стол и послушно позволял колоть себя и брать кровь.

Этого пса мы называли Шариком и на лето взяли на дачу к моему отцу в Серебряный Бор. Он был послушным и добродушным со своими, но не пускал никого из посторонних, пока это не было разрешено хозяевами. Вместе с тем он обладал огромной силой. Мы с Юрой Карповым брали толстую палку, хватаясь за ее концы, а Шарик держал ее зубами посередине и, несмотря на то, что мы далеко не были слабыми, он легко перетягивал нас

Однажды отец, как всегда сопровождаемый Шариком, пошел купаться. Во время купанья он нырнул и относительно долго не появлялся на поверхности. Шарик немедленно нырнул за ним, схватил его за ухо и вытащил на берег. Пес, видимо, решил, что отец тонет, и честно бросился его спасать; однако человеческое ухо явно не приспособлено для того, чтобы выдержать вес тела, — оно оказалось почти оторванным, и пришлось срочно наложить девять швов.

Еще в начале моей работы я был поражен тем, что не находил никакой разницы в распределении аминокислот между эритроцитами и плазмой у собак с удаленной селезенкой и нормальных. В дальнейшем никакой разницы также обнаружить не удалось. Работу пришлось прекратить.

Позже, когда я был в Харькове на похоронах В.П. Воробьева, милейшая Людмила Антониновна Шангина, моя университетская преподавательница анатомии, познакомила меня со своей приятельницей Л.М. Туткевич, той самой, которая опубликовала работу об обнаруженной ею резкой разнице в распределении аминокислот между эритроцитами и плазмой крови у оперированных и нормальных собак. Я стеснялся сказать ей о своих результатах, но все же решился это сделать. Реакция ее меня поразила: вместо того, чтобы защищать свои результаты или же проявить крайнее огорчение от того, что они не подтвердились, она улыбнулась и спокойно сказала: «Ну и что же? Я тогда была еще только аспиранткой». Тут я впервые понял то, в чем убедился впоследствии: врачи настолько безграмотны в химии, что выполненные ими биохимические исследования на 90 процентов ошибочны! Этому я могу привести множество примеров и доказательств.

Защита моей дипломной работы прошла успешно, хотя готовился я к защите вяло, без энтузиазма и в последний момент. С защитой у меня связано другое воспоминание. Я ухаживал одновременно за двумя, даже тремя, девушками. На мою защиту в Большую Зоологическую аудиторию пришли две и не пришла третья, которая потом стала моей женой. Пришли Наташа Красина, студентка университета, будущий микробиолог, и Ира Боброва. Обе девушки сидели почти рядом и могли хорошо разглядеть друг друга.

Хотя они были очень разными, и внешне, и по воспитанию (Наташа — блондинка со спокойным характером, очень аккуратная; Ира — темпераментная, эмоциональная и не связанная условностями), обе они казались мне красивыми и привлекательными. От каждой из них после защиты я получил уничтожающую характеристику другой. Здесь было все: и недостатки внешности и фигуры, и безвкусица в одежде, и неумение держаться, и дурные манеры, и множество других недостатков; общая сумма их была примерно равной с обеих сторон. Кажется, тогда я на всю жизнь понял, что такое женский характер.

В 1935 году, когда я делал дипломную работу на кафедре биологической и аналитической химии, в большой аспирантской комнате работали Сергей Бычков и стажерка Зента Нолле, оканчивавшая 1-й Медицинский институт. Зента, интересовавшаяся биохимией, знакомилась с методами и теорией этой науки в объеме, превышающем студенческий курс.

Зента была высокая красивая блондинка, дочь фармаколога Нолле, и наша совместная работа способствовала нашему сближению. Сближение это зашло довольно далеко, и я, по наивности и неопытности, почему-то ужасно боялся, что отец узнает о наших отношениях. Зента была латышка и откровенно говорила мне, что она и ее семья стремятся уехать в Латвию, которая тогда еще являлась самостоятельным государством, и что она очень не любит русских, считает их грубыми и некультурными. Так как я был патриотом, эти ее высказывания коробили меня и я не мог относиться к ней как к очень близкому мне человеку.

Отношения наши продолжались недолго, и я как-то охладел к ней, затем она заболела туберкулезом и слегла в больницу. Вероятно, она любила меня. Недели через две я получил от нее письмо из больницы, в котором она объяснялась мне в любви, писала, что тяжело больна, вряд ли выживет и просит меня прийти к ней. Я смалодушничал и, из боязни, что секрет наших отношений выявится и станет известным отцу, не пошел. Вскоре я узнал от одной сотрудницы кафедры, что Зента умерла. Совесть долго мучила меня, и я по сей день считаю, что это самый дурной поступок в моей жизни. Интересно, что,

когда я рассказал об этом моей будущей жене Ирине, ожидая, что она осудит меня, ей, напротив, как мне показалось, даже приятно было, что я поступил таким образом

Не удовлетворяясь только наукой, наши молодые души жаждали духовной пищи Мы искали живое слово, а не стандартно прославлявшее советский строй Однако все, что не соответствовало партийной идеологии или «социалистическому реализму», безжалостно искоренялось, книги и журналы изымали из библиотек и книжных магазинов, сжигали и уничтожали Поэтому многие лучшие писатели и произведения оставались неизвестными и тщательно скрывались от нас У приезжающих из-за границы приобретенные книги просматривались на таможне, и отбиралось все, что не соответствовало партийным установкам, включая Библию и другие религиозные книги Тех, у кого их находили, лишали выездов за рубеж, а нередко применяли и более суровые наказания.

В библиотеках регулярно производили чистки, а на оставшихся книгах ставили штамп, что они проверены Иностран-ных писателей, выступавших с критикой строя своих государств, считали друзьями Советского Союза и издавали их переводы Однако если они затем критиковали советское государство, они превращались во врагов, и книги их изымали из библиотек и из продажи Так, у нас рекламировали книгу Луи Селина «Путешествие на край света», где он охаивал общественный строй Франции, но когда он опубликовал брошюру с резкой критикой коммунизма, то стал врагом, его не только перестали издавать, но и изъяли уже опубликованные его труды

В поисках свободного слова мы находили немало интересного в дозволенных произведениях классиков, особенно у Лескова и Достоевского Кое-что просачивалось в изданиях иностранной литературы Например, мы увлекались произведениями английского писателя Ричарда Олдингтона «Все люди — враги», «Смерть героя», «Дочь полковника» Как-то в критической статье я прочел, что большое влияние на Олдингтона оказал русский писатель Федор Сологуб, в частности, его роман «Мелкий бес» Я долго искал это произведение, но ни в книжных магазинах, ни в библиотеках его не оказалось оно было изъято Неожиданно я нашел его в библиотеке-

ке Комендатуры Кремля, по-видимому, там цензура работала менее строго

В этот период, весной 1935 года, отец попросил меня перевести с английского фотокопированные материалы о свойствах и методе синтеза активного дезинфицирующего препарата, полученные в США через нашу разведку. Препарат этот представлял собой фенолмеркуринитрат, и синтез его из фенола и солей ртути был сопряжен с нагреванием до кипения. Препарат стали получать на кафедре силами нескольких сотрудников и моими. Синтез производили под вытяжным шкафом в большой комнате. Сотрудники, в том числе и Сергей Бычков, работали не более одного-двух месяцев и получали за это немалые деньги. Меня же отец не отпускал с этой работы более четырех месяцев, так как остальные не хотели продолжать ее.

Я ничего не знал о токсических свойствах ртути и отравлениях ею, но стал чувствовать себя плохо, у меня болела голова, выпадали волосы и кровоточили десны. Начав расспрашивать сотрудников, почему они отказались от продолжения работы, я узнал, что, несмотря на хорошую оплату, они прекратили опыты из-за сильной токсичности ртути, и в особенности ее соединений, являющихся промежуточными продуктами синтеза препарата. Тогда я обратился к отцу и попросил освободить меня от этой работы, так как чувствовал себя очень плохо. Отец отказался и настоял, чтобы я продолжал синтезировать этот препарат, названный «бактерицидом Збарского» (как он объяснил мне потом, ему было предложено выдать препарат за свое изобретение). Отец даже отказался заплатить мне за эту работу, так как ему неудобно было выписывать деньги на свою фамилию «Бактерицид Збарского», или «L Z» («Liquor Zbarsky») испытывался в ряде клиник и дал хорошие результаты.

Мне пришлось травиться и дальше, даже не получая за это денежной компенсации. Спас меня от еще более тяжелого отравления Владимир Петрович Воробьев, которому я чуть не со слезами пожаловался, когда он приехал в Москву. Из другой комнаты я частично слышал его разговор с отцом на повышенных тонах, и только это помогло мне освободиться от

опасной для здоровья работы. Интересно, что через полгода отец, будучи за границей, лечился там серными ваннами от ртутного отравления. А ведь он лишь временами бывал в комнате, где производился синтез, не стоял вблизи вытяжного шкафа, и доза паров ртути, которую получил он, была неизмеримо меньше, чем у меня или даже у других сотрудников.

По окончании университета я продолжал стремиться к фундаментальной науке, у меня зрели мысли и планы научных исследований, мне казалось, что я смогу проникнуть в тайны жизнедеятельности клетки и живых организмов.

Я получил несколько предложений о дальнейшей работе: С.Е. Северин, преподававший биохимию в университете, предлагал остаться на возглавляемой им кафедре биохимии, А.Е. Браунштейн звал меня в его лабораторию в ВИЭМ. Я был склонен принять одно из этих предложений, однако мой отец настаивал, чтобы я занимался наукой под его руководством на кафедре 1-го Медицинского института, и говорил мне, что всю жизнь мечтал работать с сыном. Под его давлением мне пришлось уступить, о чем я сожалею до сих пор. Это сформировало во мне крайне отрицательное отношение к работе с родственниками вообще. Научное исследование — это не рутинные операции, которые мне приходилось выполнять в мавзолее; творческая деятельность требует самостоятельности мышления, но отец подавлял мою инициативу.

Итак, сразу после окончания университета, то есть в октябре 1935 года, я начал работать на кафедре 1-го Медицинского института в качестве аспиранта Лаборатории биохимии опухолей при Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ), которой заведовал отец. Я рассчитывал на то, что в аспирантуре смогу пополнить свои знания и вести интересную исследовательскую работу. Но мне снова была предложена тема диссертации по адсорбции аминокислот эритроцитами, которая меня не интересовала, тем более, что у меня возникали уже и собственные идеи о направлении исследований.

Начав работать в аспирантуре, я, естественно, хотел быть зачисленным и формально, не только из-за стипендии, но и для того, чтобы шел непрерывный стаж работы, что имело большое значение в то время. Мои документы сразу пошли в

Наркомздрав для утверждения, однако прошел месяц, другой, а меня все не зачисляли. Я просил отца помочь, но он ответил, что это не имеет значения, — я и так живу в семье и обеспечен. Наконец я отважился сам пойти в Наркомат. В коридорах особняка в Рахмановском переулке не без труда нашел отдел аспирантуры. Начальник отдела и его заместитель суетились и лихорадочно рылись в каких-то бумагах и брякнули мне что-то неопределенное, им было явно не до меня. Через некоторое время ситуация прояснилась: начальник и его заместитель были арестованы, их постигла участь многих, и отдел длительное время не работал. Меня утвердили в должности лишь в феврале 1936 года, то есть через четыре месяца после того, как я начал фактически работать.

Общее положение в науке оставалось критически тяжелым, научные работники получали нищенскую зарплату и были лишены самых необходимых реактивов и оборудования. Мы находились в лучших условиях благодаря собранным ранее запасам, и в особенности возможностям привилегированной спецлаборатории при мавзолее.

Мои надежды пополнить свое образование не оправдались. Согласно аспирантскому плану я дополнительно занимался высшей математикой, физической химией, иностранным языком и физиологической хирургией, но времени для самостоятельных занятий не оставалось. Каждую неделю проводилось скучнейшее комсомольское собрание, занятие политсеминара по изучению марксизма-ленинизма, занятие политкружка по истории партии, которым я должен был руководить, и еще одно-два собрания. Все это происходило в разных местах, географически удаленных друг от друга, и было строго обязательным.

Таким образом, свободного времени не оставалось, а из рабочего времени науке уделялось менее половины. Любой, даже самый незначительный, намек на необходимость больше заниматься наукой приводил к тому, что меня обвиняли в «академизме» и напоминали, что нельзя уделять внимание ни науке, ни искусству, ни личной жизни, а надо все время быть в «боевой готовности», ибо столкновение с капитализмом неизбежно. Все делалось для того, чтобы не заниматься своим де-

лом, не думать и быть озабоченным лишь выполнением своих обязанностей по линии общественной работы и политпросвещения.

Как-то раз, измученный до последней степени, я пропустил комсомольское собрание на другом конце Москвы. Реакция была незамедлительной и убийственной: меня «прорабатывали» на следующем собрании и обвиняли не только в «академизме», но и в еще больших «грехах». К счастью, дело ограничилось только этим. Однако один из сотрудников ВИАМ, окончивший вместе со мной университет, член партии, рассказал мне, что проработке на комсомольском собрании предшествовало обсуждение в партийной организации и меня хотели исключить из аспирантуры и комсомола, но ему удалось уберечь меня.

Будучи в аспирантуре, я часто бывал на кафедре физиологии Медицинского института. Она находилась в том же университетском дворе, что и кафедра биологической и аналитической химии. Мой друг Юра Смирнов был ответственным за комнату-музей И.М. Сеченова и за библиотеку кафедры. И то, и другое представляло для нас большой интерес, поскольку позволяло знакомиться с историей русской науки и университета. Предшественник нынешнего заведующего кафедрой физиологии Михаила Николаевича Шатерникова, профессор Мороховец, был человеком с широкими интересами. В библиотеке кафедры поэтому сохранилось множество трудов по искусству, истории университета и других научных учреждений, и даже по студенческому быту. Книжки были не только на русском, но и на иностранных языках, главным образом, на немецком и французском. Мы узнали там много интересного о жизни и быте русских и немецких студентов и профессоров, студенческих корпорациях и других объединениях, об условиях жизни и обучения в университетах разных стран.

Значительная часть ассистентов, взятых на работу без согласия заведующего кафедрой профессора В.С. Гулевича, являлись представителями «рабоче-крестьянской интеллигенции», от станка и от сохи. Почти все они были малограмотны, не подготовлены к исследовательской работе, а зачастую и недобросовестны в ней

Увлекаясь идеей об особенностях аминокислотного состава белков различных органов и тканей, отец особенно радовался результатам одной из ассистенток — Веры Владимировны Новосельской, которая находила резкие различия в разных белках. Эти результаты он не раз приводил в своих докладах, статьях и публикациях. На основании ее результатов он предложил мне тему для кандидатской диссертации в том же направлении.

Уже на первых порах я убедился в том, что результаты Новосельской ошибочны. Отец не поверил мне и требовал многократного повторения опытов. Для меня вопрос был совершенно ясен: цифры, представленные Новосельской, высосаны из пальца. Я предложил поэтому дать ей на анализ несколько образцов одного и того же белка, сказав, что это белки разных органов. Отец был против, но С.Р. Мардашев поддержал меня, и мы дали ей несколько образцов казеина, который обычно использовали для контрольных исследований и налаживания методик. Образцы для убедительности были слабо подкрашены в различные оттенки. Результат был поражающим: Вера Владимировна представила сенсационные результаты, свидетельствующие о резких различиях в составе одного и того же белка. Я настаивал на том, чтобы опубликовать опровержение ее результатов, но отец не согласился с этим во избежание скандала. Боюсь, что результаты некоторых других ассистентов, зачисленных в эти годы, были в том же духе.

В ноябре 1936 года лаборатория моего отца в ВИЭМе была ликвидирована, и он перевел меня в аспирантуру кафедры 1-го Московского медицинского института, а мой друг, Сергей Бычков, остался в ВИЭМе и перешел в лабораторию А.Е. Браунштейна. В некоторых отношениях это несколько облегчило мою участь, так как при том же обилии общественных обязанностей уже не приходилось ездить на собрания и политзанятия через весь город.

Аспирантуру я закончил через три года после поступления, то есть формально в феврале 1939 года, и был зачислен ассистентом кафедры биологической и аналитической химии 1-го Московского медицинского института. Практические занятия по биохимии, качественному и количественному анализу я вел

еще в аспирантуре, но теперь педагогическая нагрузка значительно возросла.

Диссертацию на ученую степень кандидата биологических наук мне удалось защитить лишь в начале 1941 года, и я был утвержден в ученой степени всего за месяц до начала войны, в мае 1941 года. Диссертационную работу мне пришлось переделывать несколько раз из-за того, что темы, предложенные мне отцом, оказались непригодными для кандидатской вследствие ошибочных исходных данных других авторов или непродуманности. Последняя предложенная тема также мало привлекала меня. Она касалась влияния инъекций некоторых аминокислот, сделанных подопытным мышам, на рост и аминокислотный состав белков экспериментальных опухолей. Хотя отец ожидал, что аминокислотный состав белков опухолей будет меняться, он оказался неизменным, как и следовало ожидать, по моему мнению. Однако некоторое влияние на скорость роста и выживание мышей все-таки удалось обнаружить, и это позволило мне защитить диссертацию.

В коммунальной квартире в большом доме на Арбате, где жили мы с мамой, помещалось шесть семей. В двух комнатах жил Максим Гугович Марк, сын совладельца фирмы «Вогау и К°», с женой Александрой Константиновной, ее матерью и тремя сестрами: Олей, Верой и Соней. В Верочку Ключковскую я был влюблен, когда мне было пятнадцать, а ей восемнадцать. Максим Гугович был двоюродным братом Ивана Эдуардовича Саломона, заместителя директора Биохимического института по хозяйственной части. Родители Максима Гуговича эмигрировали за границу вместе с его братом Конрадом, убежденным фашистом. Максим Гугович, или Мака, как его звали в семье, еще во время революции вступил в коммунистическую партию, отказался от наследства, которое он мог получить после смерти родителей, и вел скромную трудовую жизнь. Он был инженером-физиком и специалистом по радио. Я знал, что он известен в научных кругах как автор ряда специальных статей, книг и учебников. Много позже, лет через 30, в санатории Академии наук в Кисловодске, я разговаривал с известным ученым в области радио, академиком Александром

ром Львовичем Минцем, и он говорил мне, что Марк был блестящим ученым и стал бы широко известен, если бы жизнь его не оборвалась так внезапно и трагически.

Летом 1937 года вместе с Иваном Эдуардовичем и Максимом Гуговичем мы отдыхали «дикарями» в Плесе на Волге. Я жил на окраине Плеса, а Максим Гугович и Иван Эдуардович снимали избу в деревне на другом берегу. Хозяйка готовила мне кашу и чай. Однажды, поймав рыбу, я попросил хозяйку поджарить ее. Оказалось, что, кроме каши, она ничего не готовила и не знала, как подойти к рыбе. Мне пришлось разделять ее самому. Не имея опыта, я вспомнил занятия по сравнительной анатомии в университете и, с помощью этих знаний, с рыбой все-таки справился.

Неподалеку расположился цыганский табор. На улице я встретил красивую цыганку, которая остановила меня и предложила погадать, сказав, что она «очень интересно гадает». Я вообще не люблю гаданий, но перед ее красотой не устоял и протянул ей руку. Увы, когда она наклонилась и стала гадать, я увидел ее грязную шею, и все очарование мигом пропало.

В овраге, близ моей избы, рос орешник. Был конец лета, орехи созрели, и я дополнял свой рацион тем, что почти ежедневно пасся в этих зарослях. С Иваном Эдуардовичем и Максимом Гуговичем мы часто катались на лодке и однажды попали в грозу, сопровождавшуюся сильным ветром и бурными волнами. С середины реки мы еле догребли до берега и пришли в избу насквозь промокшие.

Плес — красивый городок. На высокий берег вела деревянная лестница, а на горе стояла церковь. Несмотря на суровый и тяжелый 1937 год, сохранилась еще патриархальная прелесть этих мест. Как-то через много лет я вновь посетил Плес. Все, однако, переменялось к худшему. Церковь с росписями Левитана была снесена до основания, и на месте ее фундамента функционировала танцплощадка. Деревянная лестница сгнила, не осталось и ореховой рощи.

Вскоре после нашего возвращения в Москву, осенью 1937 года, ночью в нашу квартиру, где я жил с матерью, явились агенты НКВД с понятым из домоуправления и арестовали Максима Гуговича и его жену М. Г. Марк так и погиб в за-

ключении, известно только, что он находился в лагере где-то на Дальнем Востоке. Назавтра я узнал, что в ту же ночь были арестованы Иван Эдуардович и его жена Фрося. Иван Эдуардович болел туберкулезом и очень скоро после ареста умер. Жёны обоих вернулись. Александра Константиновна отбыла срок и получила «минус шесть», то есть запрет жить в шести больших городах. Иногда она наезжала в Москву из Завидова, где жила. А Фрося была освобождена и реабилитирована при хрущевской «оттепели» и дожила до 1970 года.

В молодости меня одолевала страсть к путешествиям, тянуло к незнакомым и неизведанным местам, особенно пустынным и экзотическим. Так, летом 1939 года я совершил путешествие на Алтай. Нашу небольшую компанию возглавлял Володя Карпов, старший брат Юры. С нами были еще Юрин друг Всеволод Руднев и ассистент кафедры биохимии Алла Шреттер (впоследствии Котельникова). Ехали мы поездом до Новосибирска, затем до Барнаула и Бийска, а оттуда по Катунскому тракту попутными грузовиками до катунских «белков», то есть снежных гор, минуя Чемал, Иню и большие притоки Катуня — Чую и Аргут. Значительную часть дороги пришлось идти пешком с рюкзаками и охотничьим ружьем, которое я прихватил с собой. Пройдя высокогорные тропы, мы остановились наконец у озера в предгорьях высокой снежной горы Белухи, где единственным признаком цивилизации была маленькая метеорологическая станция с одним одичавшим наблюдателем.

По берегам Катуня находились старообрядческие села, жители которых на удивление сохранили старинный русский антропологический тип и поразительно чистый, без какого-либо местного диалекта, русский язык. Староверы жили изолированно, не пили, не курили, не пускали посторонних в свои избы, молились без священников.

Наши «альпинисты» — Володя с друзьями — пошли вверх, на Белуху высотой более 5 километров, а мы с метеорологом на единственной дырявой лодке с ружьем в руке плавали по озеру. Стая гусей тщетно старалась перелететь высокий хребет и несколько дней кружилась над нами. Молодой метео-

ролог кружкой вычерпывал воду из лодки, а я безуспешно пытался подстрелить гуся.

Мы ночевали в метеорологической станции, спали на нарах в спальнях мешках и питались в основном захваченным с собой продовольствием: печеньем и консервами, изредка мне удавалось подстрелить рябчика или тетерку. Метеоролог рекомендовал мне поохотиться на сурков (почему-то он делал ударение на первом слоге), которых в окрестностях множество. Пустившись в поход, я встретил на большом расстоянии горных оленей — маралов, затем, на перевале, на большой высоте, увидел желтоватого зверька, которого принял за «сурка», и приготовился стрелять, но прежде чем я успел нажать на спусковой крючок, моя спутница Алла схватила меня за руку и воскликнула: «Смотри!» Из-за скалы вышла большая кошка — снежный барс, подскочила к зверьку, который оказался детенышем, и убедительным ворчанием заставила его уйти в расщелину между скалами, куда затем скрылась и сама. Детеныш не желал уходить с нагретой солнцем лужайки и нехотя, сопротивляясь, подчинился настоянию матери. Только потом я понял, какая опасность угрожала бы нам, если бы я выстрелил в предполагаемого «сурка».

Кафедра биологической и аналитической химии 1-го Московского медицинского института помещалась в старом здании Московского университета на Большой Никитской (ул. Герцена), в доме № 6. Помещение было очень старое, с толстыми, метра в полтора, стенами, относительно просторное. Кафедрой ранее заведовал академик Владимир Сергеевич Гулевич, известный открытием карнозина и исследованием так называемых экстрактивных веществ. Гулевич был также большим специалистом по аналитической химии, в частности, по анализу мочи и других биологических жидкостей. Благодаря ему и произошло такое своеобразное соединение на одной кафедре биологической и аналитической химии. Когда-то, еще до революции 1917 года, отец некоторое время после окончания Женевского и Петербургского университетов работал на кафедре Гулевича экстерном, то есть не получая жалованья.

После смерти Гулевича в 1933 году кафедра перешла к моему отцу, который до этого читал доцентский курс. Как я уже писал, подбор не только студентов, но, в особенности, научных кадров производился на основании прежде всего пролетарского или, в крайнем случае, крестьянского происхождения и, лишь во вторую очередь, партийности или членства в комсомоле. Научная квалификация не имела никакого значения, а с мнением профессора, руководителя кафедры, никто не считался. Этот принцип стал немного менее жестким лишь после 1934—1935 годов. Набранные таким образом ассистенты кафедры представляли собой жалкое зрелище — в науке, как и в преподавании, они были безграмотны; результатам их исследовательской работы нельзя было верить, почти всегда они были ошибочны.

Между тем старые сотрудники Гулевича, каким-то образом удержавшиеся на кафедре, — доценты Н.Ф. Толкачевская и Л.С. Броуде, ассистенты А.К. Пиккат, Е.А. Свешникова, М.Я. Омельянович-Павленко и А.Г. Бергауз — являлись довольно квалифицированными биохимиками, способными читать лекции, вести практические занятия и даже исследовательскую работу. Все они были много старше меня, и мои контакты с ними ограничивались деловыми вопросами.

Отец, однако, сумел подобрать и зачислить молодых и способных сотрудников, а именно ассистентов Н.Н. Демина, А.В. Шреттер и Б.С. Касавину, а через некоторое время и доцента С.Р. Мардашева.

Варвара Николаевна Серова, невестка художника Валентина Серова, жена его сына Михаила, зачисленная отцом в качестве старшего лаборанта, была интеллигентным человеком «из хорошей семьи». Варвара Николаевна познакомила меня со своим дальним родственником Юрой (Георгием Донатовичем) Смирновым, проходившим аспирантуру на кафедре нормальной физиологии у профессора М.Н. Шатерникова. Юра в то время жил в квартире Серовых на Большой Молчановке. Благодаря ему я довольно близко соприкоснулся с семьей Валентина Серова. После смерти художника и после революции квартиру уплотнили, но часть оставили его большой семье, которая состояла из дочери художника Ольги Валентиновны, сына Михаила Валентиновича с женой Варварой Николаевной, их сына и племянницы Олечки. В квартире оставались картины Серова и других художников и еще не исчез дух старой русской интеллигенции.

Кафедрой органической химии заведовал профессор Александр Васильевич Степанов. Он был колоритной личностью, внешне напоминал старого кота с большими усами, смешно картавил, не выговаривая «р» и «л»: вместо «фурфурол» он произносил «фуйфуйой». Про него рассказывали множество анекдотов. Например, такой: приходит на экзамен студент, говорит: «Здьяствуйте, пьофессой!» — и продолжает отвечать на вопросы в том же духе. Александр Васильевич наконец не выдерживает и говорит: «Пеестаньте меня пеедьязнить!» На что студент отвечает: «Пьостите, пьофессой, я тоже кайтавый».

Я припоминаю «чистку» кафедр 1-го Московского медицинского института Этот термин теперь может быть не всем понятен, но в 30-е годы такие чистки проводились повсеместно Профессора отчитывались, главным образом, о своем социальном происхождении и преданности партии и советской власти, а студенты и представители общественных организаций могли задавать любые вопросы и высказываться по своему усмотрению Нередко при этом «классово ценные» студенты вычищали «классово неценных» профессоров Мне довелось присутствовать на чистке химических кафедр Оказалось, что заведующий кафедрой общей и физической химии профессор Пржеборовский — дворянского происхождения Степанов же на самый важный вопрос ответил, что «пьюисходит из кьесьян Смоенской губейнии» Однако студенты ругали Степанова за то, что он гоняет и нередко проваливает на экзаменах, и хвалили Пржеборовского, который спрашивает не строго и ставит хорошие отметки После обсуждения председательствующий, нарушив обычные критерии, заключил «Вы видите, что можно происходить из дворян и работать хорошо и происходить из крестьян и работать плохо!»

Продолжал свирепствовать террор, условия работы были ужасные, не хватало самого необходимого, кафедра плохо отапливалась, не снабжалась реактивами и оборудованием Нас спасало лишь то, что прижимистый Гулевич скопил много посуды и реактивов

Повсюду поощрялось доносительство, и на основании анонимных доносов нередко арестовывали, ссылали и даже расстреливали В одном из доносов на моего отца было написано, что три аспиранта, конечно, из рабочих, поступившие одновременно с его сыном (то есть со мной), пока не сделали ни одной работы, тогда как его сын (то есть я) сделал уже три Этот возмутительный факт объяснялся только тем, что для сына Збарский создает особые условия, а аспирантам пролетарского происхождения не дает ходу

Мы, молодые сотрудники кафедры, часто проводили время вместе, беседовали на разные темы, что способствовало нашему не только научному, но и общему развитию Николай Николаевич Демин и его жена Алла Владимировна Шреттер при-

ехали из Ленинграда и, насколько я могу судить, были высла-
ны оттуда во время чистки, последовавшей за убийством Жи-
рова. От них я узнал, что в Ленинградском университете не
было такого жесткого классового отбора, как в Московском.
Оба они были хорошо образованны, знали несколько ино-
странных языков, читали текущую научную литературу и име-
ли широкий общий кругозор. Коля Демин знал на память мно-
жество исторических фактов и нередко поражал нас обилием
известных ему сведений. Много дала мне также дружба с
Юрой Смирновым. С ними обоими наша дружба сохранилась
надолго. Наши встречи и вечеринки оживлялись флиртом,
всегда имеющим место в молодой компании. Все мы были
влюблены в хорошенькую лаборантку французского проис-
хождения Лидочку Жаке, которая отдавала предпочтение Юре
Смирнову. Однако все это не исключает, что среди нас не было
доносчиков или секретных осведомителей.

В 1939 году, когда создали спецлабораторию при мавзолее,
нам предоставили несколько комнат на четвертом этаже ста-
рого здания университета, вход был со стороны двора, выхо-
дившего на Моховую улицу, и таким образом спецлаборатория
была отделена от кафедры. Организация этой лаборатории
хотя и прибавляла нам работы, но значительно улучшила
наши возможности заниматься наукой, поскольку, помимо ра-
боты, непосредственно связанной с сохранением тела Ленина,
мы могли вести и интересовавшие нас исследования — ведь
спецлаборатория, в отличие от кафедры, относительно хоро-
шо снабжалась реактивами и оборудованием. К сожалению, я
не мог работать по собственной тематике: моя научная дея-
тельность была ограничена настойчивым давлением отца. Ис-
ключением оказался лишь период во время его продолжитель-
ной болезни.

В штат спецлаборатории были зачислены ассистенты —
С. Р. Мардашев и я, референт Н. Н. Демин и четыре старших
лаборанта. Сергей Руфович Мардашев приехал в Москву из
Ленинграда незадолго перед войной и пришел работать на ка-
федру биологической и аналитической химии 1-го Московско-
го медицинского института в качестве доцента. Перед приездом
в Москву Сергей Руфович стажировался в течение двух

лет в Германии и в США, что вызывало нападки на него со стороны бдительных советских граждан. На него строчили доносы, например, о том, что на лекциях он пишет на доске знак «+» с закорючками, делая его похожим на свастику; не забывали и о том, что жена его немецкого происхождения. Ему, тем не менее, удалось избежать репрессий.

После ареста моего отца он возглавил кафедру и лабораторию при мавзолее В.И. Ленина. Напористость и прагматизм помогли ему стать академиком, а потом и вице-президентом Академии медицинских наук СССР.

Сергей Руфович быстро схватывал новое, провел немало исследований и заслуженно стал одним из ведущих биохимиков страны. Он, как и большинство остальных, конформистски и неуклонно проводил политику партии и, в силу необходимости, после ареста отца дал приказ о моем отчислении из спецлаборатории якобы как «совместителя». Однако при Хрущеве, когда обстановка несколько изменилась, он не забыл обо мне, пригласил вернуться на прежнее место и помог при выборах в Академию медицинских наук СССР. В 1974 году он умер от рака легких, был кремирован, и урну с его прахом перенесли на Новодевичье кладбище.

Спецлаборатория числилась при Управлении коменданта Кремля, то есть была в ведении НКВД, что вызывало некоторые коллизии из-за непонимания начальством, главным образом в лице заместителя коменданта Кремля Н.Г. Шпигова, существа исследовательской работы. Нередко задавались, например, такого рода вопросы: «Зачем вам столько склянок?» или: «Куда столько реактивов?»

Еще в аспирантуре, а затем в должности ассистента мне поручили вести практические занятия со студентами, которые я начал с качественного и количественного анализа. Преподавание отнимало у меня много времени, но оно мне нравилось, по крайней мере, результаты появлялись быстро, в отличие от исследовательской работы, дававшей эффект далеко не сразу. В задачах по аналитической химии четко выявлялась точность определений и знание предмета. Однако большинство студентов не справлялось с химическими задачами, требовавшими педантичной и тщательной работы. Правильные ответы

появлялись в основном благодаря работавшему еще при покойном Гулевиче старому препаратору кафедры Студенты нашли к нему подход. Не получив определенного результата, они обращались к нему с просьбой сообщить состав той или иной задачи. Он с хитрой усмешкой говорил, что «надо сделать реакцию на серебро». Некоторые, понимая его буквально, вновь обращались к нему, не получив желаемого результата, но более смысленные догадывались, в чем дело, и выкладывали «серебро», то есть деньги Лишь немногие правильно и добросовестно решали задачи. Тем не менее средний уровень учащихся был все-таки выше по сравнению со студентами, поступавшими со мною в 1931 году

В одной из моих групп выделялся своими знаниями и усвоением материала студент моего возраста Б.В. Кулебакин. Как-то я спросил его, почему он так поздно поступил в институт и еще только на втором курсе. Оказалось, что в старших классах средней школы он был арестован за групповое чтение стихов Есенина и отсидел 7 лет.

Ведя практические занятия со студентами, я подметил немало интересных закономерностей С точки зрения теории вероятностей распределение студентов по группам должно было быть случайным, а не избирательным. Тем не менее, то ли из-за неравномерности состава групп, то ли из-за определяющего влияния наиболее сплоченной ведущей части студентов, группы были разными по своей подготовке и по отношению к занятиям. Вторая закономерность заключалась в том, что подавляющее большинство студентов старалось как-нибудь сдать контрольные задачи и прибегало при этом к списыванию друг у друга и к фальсификациям Лишь небольшая часть относилась добросовестно и тщательно выполняла работы

На этом общем фоне мое внимание привлекла студентка Кира Цикина, у которой результаты прекрасно сходились с действительными величинами. Такая необычная для студента точность в количественном анализе и биохимических определениях озадачила меня, и я заподозрил, что она каким-то образом получает сведения о составе анализируемого материала Поэтому я несколько раз давал ей нестандартные задачи, от-

личавшиеся от тех, которые предлагались всей группе К моему удивлению, и в этих случаях ответы оказались правильными. Убедившись в тщательности ее работы, я предложил ей исследовательскую тему, за которую она взялась с охотой. У нее получались очень неплохие результаты, и работа шла отлично. Но тут началась война, нас эвакуировали в Тюмень, а Кира попала на фронт, уже в качестве врача. После войны, когда я работал в Центральном онкологическом институте имени П.А. Герцена (ЦОИ), она пришла ко мне, поступила в аспирантуру и стала одним из лучших моих коллег.

Ведала на кафедре всей материальной частью Варвара Николаевна Серова. Как и в другие научные учреждения, время от времени к нам наведывались уполномоченные из «органов» и проверяли имеющиеся в лаборатории реактивы. Уполномоченный руководствовался списком ядовитых веществ, о чем начальство беспокоилось больше всего. Как-то раз он спросил, есть ли на кафедре цианистый калий. Варвара Николаевна ответила, что цианистого калия нет, но есть цианистый натрий, на что последовал ответ: «Это меня не интересует». Такова, по-видимому, была квалификация проверяющих.

Несмотря на коренную ломку всего высшего образования, в университете и отколовшемся от него медицинском институте сохранились старые предания и сплетни. Рассказы о старых профессорах, обычаях и быте университета нередко развлекали нас. Так, рассказывали, как в старые времена, после попойки в «Яре», один из профессоров-биологов залез на Триумфальную арку (она стояла в конце Тверской-Ямской, близ Александровского вокзала) и всю ночь распевал песни. Протрезвев, он не решился спуститься вниз, и его пришлось снимать с помощью пожарной лестницы.

Весьма популярны были бесконечные анекдоты про профессора физической химии, академика Ивана Алексеевича Каблукова, по прозвищу Ваня Медный лоб. Будучи крупным специалистом в своей области, во всем остальном он проявлял феноменальную профессорскую рассеянность и к тому же часто путал слова. Однажды на благотворительном вечере в пользу бедных студентов его попросили продавать газирован-

ную воду, предварительно проинструктировав, что вода без сиропа будет стоить 3 копейки, с малиновым сиропом — 5 копеек, с клубничным — 6, а с апельсиновым — 7. Зная свою рассеянность, Каблуков тщательно записал эти сведения. К нему подбежала парочка студентов и попросила воды. «Вам с сиропом или без?» — «Нам без сиропа...» — «Без какого?»

Про того же Каблукова рассказывали, что, купив коробку шоколадных конфет, он обнаружил, что забыл в каком-то из магазинов, куда заходил, свою трость. У Абрикосова ее не оказалось, но в магазине Эйнама, когда он спросил про тросточку «с набалдым золоташником», ему тут же ее вручили. «Вот, — сказал он, — немцы честные люди, а у Абрикосова не вернули!» На банкете, когда ему предложили какое-то блюдо, он ответил. «Спасибо, я уже соблазненком опоросился». И так далее, и так далее...

В ноябре 1939 года я наконец женился на Ирине Карузиной, которая, вероятно, простила мне мое обожание В.П. Воробьева. В связи с этим я переехал в квартиру уже покойного Петра Ивановича, находившуюся в здании Анатомического корпуса 1-го Московского медицинского института. Мы с Ириной поместились в бывшем кабинете профессора Карузина. У нас была отдельная комната и, что особенно важно, не приходилось ждать очереди в уборную, к умывальнику и к телефону и следить, когда ванная комната на короткий срок освободится от навешанного там белья и наконец можно будет использовать ее по назначению. Но в квартире все же было тесновато, так как жили там, помимо нас, мать и две сестры Ирины, одна из которых с мужем и сыном.

Жилая площадь в те времена не продавалась, и квартиры получали по ордерам, которые выдавались редко и главным образом номенклатурным работникам и начальству. Благодаря тому, что я продолжал работать в мавзолее, через Комендатуру Кремля мне удалось получить отдельную квартиру. В этой квартире мы с женой жили до отъезда в Тюмень и после возвращения, а с 1947 года и с сыном.

В августе 1939 года разразился гром среди ясного неба: был подписан пакт Молотова—Риббентропа. Внезапно, вместо проклятий немецкому фашизму, все средства массовой информации начали твердить о нерушимой дружбе с Германией, восхвалять успехи германского оружия в начавшейся мировой войне и громить «гнилой англо-французский империализм». Уже 1 сентября немцы напали на Польшу, а наши войска, по договоренности с Гитлером, оккупировали и аннексировали ее восточную часть. Про себя я называл это событие присоединением Советского Союза к «Антикоминтерновскому пакту».

Как я уже упоминал, работа на «спецобъекте» давала нам некоторые преимущества. В числе них был у меня шестилампный радиоприемник «Супергетеродин», редкость в то время, и я имел возможность слушать не только московские радиопередачи, распространяемые по сети, но и многие «голоса» из-за рубежа.

В мае-июне 1941 года, защитив кандидатскую диссертацию, я продолжал преподавать и вести исследования на кафедре биологической и аналитической химии. В это время, особенно недели за две до нападения Гитлера на СССР, английское радио неоднократно передавало сообщения о концентрации немецких войск на советской границе; сообщалось о числе дивизий, которое превышало две сотни, и прогнозировалась дата агрессии. О том же говорили многие люди, приезжавшие с Украины и из Белоруссии. Сообщали о полетах немецких самолетов над пограничными районами страны, провокациях на границе и т.п. Наши пограничные войска, по приказу свыше, вели себя так, будто ничего этого не происходит

К границе не подтягивали войск. Не проводили также никакой подготовки к обороне и в тылу, даже прежние оборонные занятия, касавшиеся, главным образом, защиты от газовой атаки, значительно сократились.

Соответственно, по советскому радио и в прессе беспрерывно твердили о нерушимости советско-германской дружбы и провокациях англо-французских империалистов. Одобрительно сообщалось о победах доблестной германской армии и оккупации Франции, Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии. Этому дружно вторили передачи немецких радиостанций. Хриплый истерический голос Гитлера и медовый, велеречивый дискант Геббельса всячески поносили прогнивший плутократический строй Англии и Америки, загнивающий капитализм, управляемый евреями и плутократами. Немцы непрерывно твердили о преимуществах социализма и аргументировали это тем, что промышленное производство и валовой национальный продукт капиталистических стран не растут, а временами и снижаются. Так, Гитлер вещал, что в этих странах за пять лет промышленная продукция увеличилась только на 3%, тогда как в Советском Союзе, где имеется социалистическая система, она возросла на 40%, а в Германии — на 120%!

Рано утром, часов в шесть-семь, 22 июня 1941 года, меня разбудил телефонный звонок. Был день рождения моей матери, отличная погода, безмятежное солнечное настроение... В трубке отрывистый голос Сергея Руфовича Мардашева: «Ты радио слушал?» Гудки, положил трубку. Включаю свой шестилампный «Супергетеродин». Как обычно, бравурная музыка, затем последние известия — началась уборка урожая, досрочно построена электростанция, перевыполнен план по заготовкам кормов, стахановец такой-то вырабатывает пять норм по добыче угля; ураган и безработица в Америке, забастовка в Англии, успехи германского оружия, варварский налет английской авиации на Берлин отражен — и все в таком роде.

В недоумении я перезваниваю Мардашеву. «Не то радио слушал!» — говорит он. Рыскаю по коротким волнам. Четкий голос немецкого диктора. «Наши доблестные войска в че-

тыре часа утра пересекли границу и успешно продвигаются вперед; да поможет им Бог!» Затем полтора часовой меморандум Гитлера: Советский Союз не государство, а географическое понятие... смешение рас и народов.... Оно населено варварами и управляется сталинской кликой, целью которой является разрушение европейской цивилизации....

В доказательство приводилась запись переговоров Молотова с Гитлером, согласно которой «географическое понятие» требовало присоединения к себе не только прибалтийских государств, Бессарабии и части Польши, но также Финляндии и Босфора с Константинополем. Для спасения европейской цивилизации доблестные германские войска перешли границу в 4 часа утра и успешно продвигаются вперед, да поможет им Бог!.. Опять и опять.

Все утро я не отрывался от радио. Немцы уже сообщают о первых победах. А что же наши передачи? Все то же: как у нас хорошо и прекрасно, трудящиеся наслаждаются воскресным отдыхом. Почти полдень, война идет восьмой час, и лишь за 15—20 минут до полудня передача вдруг прервалась и диктор объявил, что в 12 часов по радио выступит председатель Совнаркома товарищ Молотов. Некоторое время продолжалась музыка, и ровно в 12, то есть через 8 часов после нападения на СССР, выступил Молотов. «Т.т.аварищи...» — начал он. Он вообще заикался, и это заикание возросло в несколько раз, даже по радио было слышно, как он растерян и крайне взволнован. Прерывающимся голосом Молотов сообщил, что сегодня, без объявления войны, фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, неожиданно, предательски напала на Советский Союз, наши войска оказывают героическое сопротивление и отражают атаки врага.

В чем же дело, почему Молотов, а не Сталин? О Сталине не было никаких сведений в течение нескольких дней. Он не верит сообщениям о германской агрессии, однако отлично сознает свою предательскую роль, из-за него Советская Армия не готова к отражению нападения, из-за него гибнут миллионы наших солдат и командиров

По непроверенному рассказу одного моего знакомого, контактировавшего с Н.С. Хрущевым (уже после его отставки),

когда Хрущев с другими членами Политбюро пробился к Сталину, первым порывом вождя было бежать, и только после того, как он понял, что пришли не арестовывать его, а образумить, он стал вменяемым. Нет сомнения, что в любой другой стране руководитель, ставший предателем, немедленно был бы снят и отдан под суд.

В течение ряда лет нам внушали на политзанятиях и в печати, что военное столкновение с капитализмом неизбежно, и всячески готовили к войне. Мы должны были постоянно «быть в боевой готовности», не отвлекаться ни на что, в особенности на личную жизнь. Неустанно проводились занятия по обороне. Считалось, что непременно будут применяться отравляющие вещества. Нам подробно рассказывали об их свойствах, проводили учения с противогазами, учили, как предохраняться от химического заражения и отмывать от газов жилища. Считалось, что растения адсорбируют газы, и в Москве вырубали деревья вдоль центральных улиц, безобразно оголив их. Мы должны были знать свойства отравляющих веществ и отвечать на вопросы, как распознавать их и какие меры применять для обеззараживания.

Когда началась война, она оказалась совсем непохожей на ту, какой ее нам представляли, — ни виды оружия, ни способы защиты не имели ничего общего с теми сведениями, которыми нас настойчиво пичкали до войны. Не газовые атаки, а голод и лишения, а также бомбардировки и убежища были главной заботой людей.

Вечером я снова прильнул к радиоприемнику. Советские передачи сообщали о доблестном отпоре наших пограничников врагу, немцы — о победах и быстром продвижении в глубь страны. Около 7 часов вечера выступил по радио Черчилль. Этот блестящий оратор и политик (я всегда питал к нему уважение) сказал, что, не изменив отношения к коммунизму, он неоднократно предупреждал Сталина о готовящемся нападении немецких фашистов на СССР, чего Сталин не принимал во внимание, но что теперь у нас общий враг и Англия окажет СССР полную поддержку и помощь в борьбе против этого общего врага — немецкого фашизма.

Сравнительно недавно стало известно, какие ужасные по-

тери понесли наши вооруженные силы в первые дни войны. В это воскресенье, 22 июня, на аэродромах, на земле, были уничтожены сотни советских самолетов, немцы стремительно продвигались по территории нашей страны и уже в первые дни оккупировали Прибалтику, почти всю Белоруссию и дошли до Смоленска. Предательство Сталина стоило нашему народу сотен тысяч жизней, невосполнимых потерь солдат и военной техники.

В эти страшные дни продолжались еще занятия в Медицинском институте, страна еще не перешла на военное положение, но была объявлена мобилизация и, несмотря на гнет сталинского режима, я был полон патриотических чувств.

Быстрое, даже более быстрое, чем можно было представить, продвижение немцев и неспособность нашей армии отразить нападение вызывали ощущение подавленности, казалось, что мы терпим сокрушительное поражение. Немцы неуклонно приближались к Москве и Ленинграду, захватили значительную часть Украины, а о Сталине не было никаких сведений.

Вдруг в эти тяжелые дни ко мне на кафедру пришел Максим, сын Фроси и Ивана Эдуардовича Саломонов, находившихся в заключении с 1937 года. До этого я несколько раз ездил в Болшево, где он жил у их бывшей домработницы Маши. Мы помогали ему, я отвозил деньги и продукты, но ко мне он не приходил ни разу. Теперь этот уже семнадцатилетний красивый парень победно, смело и нагло попросил, или скорее потребовал, у меня денег. По виду его можно было судить, что он представитель победителей и сможет оказать мне помощь после захвата Москвы немцами. Надо сказать, что до 1937 года, но уже при фашистах он года два жил у родственника, известного физико-химика Лютера, в Дрездене, учился в немецкой школе и был пропитан национал-социалистской идеологией. Я почувствовал это и отказал ему в деньгах. Впоследствии он был мобилизован, но не отправлен на фронт. Он рыл окопы и погиб где-то под Москвой.

С каждым днем все больше нарастала опасность бомбардировок Москвы, особенно ее центральной части. Предложение о переносе гроба с телом Ленина в бомбоубежище не нашло

поддержки, и специальная комиссия пришла к выводу, что в случае прямого попадания мавзолеей будет разрушен.

Вопрос об эвакуации тела Ленина из Москвы поднял командант Кремля генерал-лейтенант Н.К. Спиридонов, поскольку он нес персональную ответственность за его сохранение. Его предложение перевезти тело из мавзолея на время войны в Тюмень было принято Политбюро ЦК ВКП(б) 26 июня 1941 года и сохранялось в тайне.

Нам, сотрудникам мавзолея С.Р. Мардашеву и мне, только 3 июля утром сообщили, чтобы к 16 часам мы были готовы к отъезду на Восток с семьями и самыми необходимыми вещами. По-видимому, мой отец был предупрежден об этом заранее, так как в этот день была произведена необходимая подготовка — гроб с телом Ленина в большом деревянном ящике, две стеклянные ванны, необходимые реактивы и оборудование были погружены в специальный состав на Ярославской железной дороге. Одновременно секретарь Сталина А.Н. Поскребышев сообщил первому секретарю Тюменского горкома, что вскоре в город прибудет особо важный объект, пребывание которого следует держать в строжайшем секрете.

Со мной поехала моя жена, Ирина Петровна Карузина, ее мать и сестра с двумя детьми. Взяли самое необходимое.

К вечеру за нами заехали автомашины и отвезли нас на какую-то неприметную платформу за Ярославским вокзалом, где мы погрузились в специально подготовленный, тщательно охраняемый состав. Установленные по всей Москве громкоговорители вещали первое после начала войны выступление Сталина. Он выступал очень редко, но, вероятно, очухавшись от шока, в который привело его известие о начале войны, словавшее его безграничную веру Гитлеру, решил все же выступить перед народом. Я никогда еще не слышал Сталина, меня поразил его сильный грузинский акцент и неумение правильно говорить по-русски: «Товарищи, мужчины и женщины, братья и сестры, друзья мои!» (это было сказано впервые). Далее в этой своего рода исторической речи он призывал уничтожать, разрушать и сжигать все, что останется на территориях, оккупированных немцами, говорил о том, что главным фактором в войне являются долговременные усилия, а не

внезапное нападение, всячески подчеркивал силу, мощь и упорство великого русского народа, чего он ранее никогда не делал.

В один вагон поместили гроб с телом В.И. Ленина, а также оборудование и растворы, необходимые для ухода за ним в пути. В других вагонах ехали мой отец, С.Р. Мардашев и я с семьями, комендант мавзолея И.И. Кирюшин с семьей и соединение кремлевских солдат и офицеров, человек 30 — 40, которые в поезде несли вахту у вагона, а впоследствии и у комнаты, где хранилось тело Ленина, а также бригада поезда во главе с начальником — полковником К.П. Лукиным. Р.Д. Синельников приехал позже из Харькова.

Путь нашего следования охранялся красноармейцами, а на станциях военные отбивались от осаждавшей поезд толпы, цеплявшейся за поручни вагонов и стремившейся эвакуироваться на Восток. Наш специальный рейс шел по тому же стандарту, как и поезда, перевозившие Сталина, Молотова и других членов Политбюро.

Мавзолей в Москве тем временем был покрыт разрисованным полотняным чехлом на каркасе из металлических труб и принял образ двухэтажного жилого дома. Эта маскировка была убрана лишь 7 ноября, в ночь перед историческим парадом защитников Москвы.

Поезд тронулся в 9 часов вечера. Лишь в дороге мы узнали, что едем в Тюмень; ранее это было известно только полковнику К.П. Лукину и Б.И. Збарскому. Стояла жаркая июльская погода, гроб из чинары, в котором находилось тело Ленина, изнутри покрытый парафином и закрытый крышкой, входящей в пазы, смазанные вазелином, помещался в отдельном охлаждаемом вагоне с занавешенными окнами, и кто-нибудь из нас круглосуточно дежурил при нем.

В Тюмень мы прибыли 7 июля. Нас встречало местное начальство, только теперь они узнали, что за «секретный объект» прибыл к ним. На следующий день для размещения «объекта» (теперь так именовался гроб с телом Ленина) было предоставлено массивное двухэтажное здание сельскохозяйственного техникума. Этот дом был построен в 1878 году для реального училища, в котором, кстати, в свое время учился Л.Б. Красин, а затем и известный советский разведчик Н.И. Кузнецов. Чугунно-кирпичная решетка ограждала здание и изолировала его от окружающих домов.

В левом крыле на втором этаже выбрали комнату для гроба с телом Ленина; чтобы комната не нагревалась лучами солнца, окно заложили кирпичом. Рядом поместили вспомогательную лабораторию. Со вторым эшелом прибыло дополнительное оборудование и сотрудники лаборатории. Этот организационный период занял около месяца.

В остальных помещениях разместились мой отец, Мардашев, Синельников и я с семьями, а также охрана и обслуживающий персонал. Траурная комната постоянно охранялась часовым. Другие посты находились у входа в дом и во двор. Кроме кремлевских солдат, «спецобъект» охраняли два милицеских поста — у входа в здание с улицы Республики и у входа во двор с улицы Красина.

Мой отец жил в Тюмени со своей второй семьей. Их сын Лева родился в Москве в ноябре 1931 года, и отец решил назвать его именем человека, которого он больше всего уважал. Но таковых оказалось двое: Лев Яковлевич Карпов и Феликс Эдмундович Дзержинский. Из этого затруднения отец вышел, дав сыну два имени, и его назвали Лев-Феликс. Лева рос ша-

ловливым и избалованным мальчиком и нередко доставлял родителям всякие неприятности своими проказами.

В Тюмени он проявил интерес и способности к рисованию. Отец нашел в городе художника, который давал мальчику уроки в течение нескольких лет, что его занимало больше школы. С ранних лет он терся в обществе взрослых, его брали с собой на охоту и рыбную ловлю, на прогулки за город и по городу.

Возвратясь в Москву, он жил в «Доме правительства» с отцом и матерью, и ему ни в чем не отказывали. Отец купил автомобиль «ЗИМ», и Лева очень скоро стал выполнять функции шофера, причем большей частью разезжал на машине без родителей. После школы он поступил в Полиграфический институт и окончил его по специальности художник-график (иллюстратор книг). Рисунки его имели немалый успех, и он стал неплохо зарабатывать.

После войны мне приходилось лишь изредка встречаться слевой. Однако я довольно часто слышал о нем от тех или иных случайных знакомых. Так, около 1970 года я узнал, что Лева собирается уехать в Израиль. В то время иметь родственников за границей или желающих уехать за границу было опасно; об этом необходимо было писать в анкетах, что сказывалось на условиях работы, в особенности на возможности выездов в зарубежные командировки. И хотя мы с братом практически не виделись, я для очистки совести сообщил об этом заместителю начальника иностранного отдела Академии наук Бакею, понимая, что это то же самое, что обратиться в МГБ. Бакей настоятельно советовал мне повлиять на Леву и отговорить его от этого поступка. Я слевой так и не увиделся и только слышал о том, что он уехал официальным путем. Доходили разные слухи — что в Израиле он пристроился к какой-то богатой даме, затем уехал в Париж и, наконец, что он осел в Соединенных Штатах Америки. Будучи в США, уже в 1995 году, я побывал в Нью-Йорке, где живет Лева, и провел с ним три дня. У него однокомнатная квартира, старенькая автомашинка. Два дня в неделю он преподает живопись в Нью-Йоркском технологическом институте и лишь немного рисует. Меня поразило,

что среди немногочисленных книг в его комнате преобладают различные издания Библии, главным образом на английском языке. Он их, по-видимому, тщательно изучает, так как, просмотрев книги, я нашел следы его работы над ними. Когда я спросил Леву, зачем ему столько изданий Библии, он ответил, что все они разные и он глубоко интересуется религией.

В Тюмени летом 1942 года у моей мачехи родился второй сын — Виктор. Отец много возился с ним, с нежностью, с которой обычно относятся к младшим детям. После ареста отца, а затем и матери Виктор в возрасте 10 лет остался без семьи, пережил тяжелый период и его приютила мать первой жены Левы, у которой в Тбилиси он и жил, пока родители были в заключении. В отличие от Левы, высокого и физически развитого, Виктор рос слабым и хилым ребенком, довольно замкнутым, но затем выправился, окончил фармацевтический факультет 1-го Московского медицинского института и в настоящее время работает в Институте новых антибиотиков РАМН.

Тюмень представляла собой сравнительно небольшой город с населением около 80 тысяч жителей. Центральная улица Республики шла параллельно реке Туре и упиралась в гору, на которой помещался заброшенный и загаженный монастырь, а левее, дальше от реки стояло добротное четырехэтажное здание педагогического института, единственного в городе высшего учебного заведения. Здесь был мост через Туру, старый, с деревянными фермами и сваями. Приблизительно в середине улицы находилось выкрашенное в белый цвет здание сельскохозяйственного техникума, в котором нас и разместили. Охрана вокруг этого дома и переселение техникума в менее приспособленное, худшее здание вызвали в городе различные толки. Дом этот называли «Белым домом» и, несмотря на засекреченность нашего «объекта», впоследствии в городе пронюхали, что это за «объект», и шепотом, под секретом, рассказывали об этом друг другу.

Среди местного населения было немало потомков ссыльных из разных мест России, в том числе поляков, а также татар, которые жили главным образом в деревнях. Хотя Тюмень

расположена совсем близко от Европейской России, жители ее считают себя сибиряками и соответственно говорят: «Вы приехали из России», или «еду в Россию», или «этот стол русской работы». Местный диалект — это певучий сибирский говорок, в котором сохранилось немало отживших в русском языке слов и выражений, как, например, исчезнувший у нас глагол «имать», «серебро» с ударением на первый слог и др. Позже я узнал, что присутствие архаических, устаревших слов вообще характерно для колоний и сообществ, отдаленных от метрополии.

Поначалу мы жили довольно изолированно и, помимо узкого круга, участвовавшего в основной работе, общались лишь с охраной и обслуживающим персоналом «объекта», а также с представителями местных властей, особенно с городским и районным отделами НКВД. Я никогда не симпатизировал «органам», но отношение их к нам было вполне корректным и даже дружеским, среди них, как местных, так и нашей охраны, были неплохие люди, и с некоторыми у меня установились приятельские отношения.

Войска НКВД, в особенности Комендатуры Кремля, представляли собой отборные части и находились в привилегированном положении. По некоторым устным сведениям, таких внутренних войск даже во время войны у нас было около двух миллионов, их не посылали на фронт, а держали на случай внутренних беспорядков, чем начальство, и особенно Сталин, были весьма озабочены.

В тяжелые годы войны город испытывал лишения и трудности; народ голодал, не хватало топлива, электроэнергии, воды. Городские власти о нас заботились, дом отапливался и освещался, работали наши приборы; нас вполне удовлетворительно кормили. Я считал, что по военному времени мы благоденствуем; грызло только сознание того, что мы лишены возможности защищать Родину с оружием в руках и что раненые, прибывавшие в город с фронта, находятся в худших условиях, чем мы.

Однако солдаты и офицеры нашей охраны роптали на недостаточно качественное питание. Я понял в чем дело лишь тогда, когда в 1942 году съездил в Москву. Нас прикрепили к

столовой Комендатуры Кремля, и, несмотря на тяжелое военное время, там кормили отлично. Обеды были настолько вкусными и доброкачественными, что значительно превосходили обычное мое питание в мирное время, а кроме того, выдавали хорошие продукты сухим пайком, что позволяло подкармливать и семью.

Находясь в Тюмени, с 3 июля 1941 года мы числились в правительственной командировке, которая продлилась до 23 марта 1945 года. Мы вели большую работу по сохранению тела Ленина и улучшению его состояния, подбирали наиболее подходящие светофильтры для освещения лица и рук, дежурили, вначале постоянно, у тела Ленина.

В первые дни мы встретились с немалыми трудностями. Прежде всего понадобилась дистиллированная вода для приготовления ванны. Но оказалось, что в Тюмени ее получить невозможно, и пришлось доставить воду самолетом из Омска. Впоследствии мы готовили ее сами, получив со вторым эшелонном аппараты для перегонки.

Необходимо было также закрывать гроб с телом Ленина, оставляя возможность видеть лицо и руки. Для этого столяр, прикрепленный к «объекту», соорудил застекленную раму, служившую крышкой гроба и чем-то напоминавшую саркофаг. Наряду с неудобствами были и положительные стороны: при отсутствии доступа к телу мы могли длительно работать над ним, устраняя мелкие недостатки и применяя некоторые усовершенствования, что привело к лучшему состоянию трупа и явилось своего рода перебалзамиранием.

Эта специальная работа не занимала всего рабочего дня, и у нас оставалось все больше свободного времени. Вести исследовательскую работу в этих условиях было невозможно, поэтому хотелось заняться еще чем-нибудь полезным. В Тюмени продолжал функционировать педагогический институт и начал работать Кубанский медицинский институт, эвакуированный из Краснодара. Кадры там были не сильные, и как раз химические кафедры нуждались в специалистах. Это позволило мне преподавать общую, органическую и биологическую химию в Тюменском педагогическом институте, а позднее и общую химию в Кубанском медицинском институте

(биологическую химию читал там Мардашев). Отец, который вообще любил преподавание, предпочел учить математике в средней школе. Вместе с тем он прочел несколько лекций по биохимии в Кубанском мединституте.

Условия были нелегкие, не хватало посуды и реактивов. Помещение было небольшое, плохо отапливаемое, и в сильные морозы, которые достигали в Тюмени 40—43°С ниже нуля, в учебных комнатах растворы замерзали и реакции не всегда получались. Но тем не менее мы вели практические занятия и проводили демонстрации на лекциях. Большую помощь оказывал мне ассистент кафедры химии, приехавший из Краснодара, С.И. Крайнев, человек религиозный, аккуратный и добросовестный.

Рафа Синельников нигде не работал, но изображал, что делает открытия, показывая микроскопические препараты ничего не понимающему коменданту мавзолея и нашему хозяйственнику майору НКВД Ивану Дмитриевичу Шестакову. Синельников, однако, использовал пребывание в Тюмени Кубанского медицинского института для того, чтобы его сын окончил в два года ускоренный курс и получил соответствующий диплом, который он, по-видимому, считал более важным, чем знания или опыт работы.

Учащиеся там были ближе к преподавателям и профессорам, чем, например, в Москве. Было приятно видеть, что усилия мои не остаются бесплодными и что, по крайней мере, часть студентов хорошо усваивает материал и радуется на экзаменах.

Находясь за 1500 километров от Москвы, мы были в курсе международных событий. Кроме официальных сводок Совинформбюро, слушали и иностранные, в том числе немецкие, радиостанции, некоторые сведения получали из разговоров с прибывшими с фронта и из городов европейской части страны.

16 октября 1941 года, когда немецкие войска вплотную подошли к Москве и не было исключено падение столицы, советское радио не сообщало ничего необычного. Наконец объявили, что выступит председатель Моссовета Пронин. По-видимому, более высокого начальства в Москве не осталось.

Все ждали, что он скажет. Речь его, однако, была пресной и не соответствующей обстановке — службы города работают нормально, музеи, магазины, бани, парикмахерские функционируют и т.п.

Позже, при посещении Москвы, я узнал, что именно после его выступления началась паника: жгли документы, большая часть жителей стремилась уехать, толпы осаждали вокзалы и приступом брали поезда, которые, естественно, не могли увезти всех желающих. На улицах возникали митинги, а иногда даже звучали призывы к свержению советской власти. Начальства в городе практически не осталось, и организовать и успокоить население было некому.

Летом 1942 года мы с Мардашевым ездили в Москву. Поезд шел около недели, повсюду были видны следы войны, особенно по мере продвижения на запад. Москва заметно опустела, люди страдали от холода и недоедания. Мы виделись с Варварой Николаевной Серовой и немногими другими знакомыми, которые не эвакуировались. Они рассказывали о страшном дне 16 октября 1941 года, когда немцы были на подступах к Москве и все начальство из города сбежало.

Во время нашего посещения Москвы начальник нашего поезда полковник К.П. Лукин провез нас на машине километров за 30 по Минскому шоссе. Это было незабываемое зрелище: по обочинам дороги лежали разбитые самолеты, бронетранспортеры и танки, представлявшие собой груды искореженного металла. Все напоминало о недавно прошедших здесь боях.

В январе 1942 года с плохо простерилизованной марлей на тело Ленина был занесен грибок, но наш многолетний опыт позволил устранить эту инфекцию, а затем и улучшить состояние тела. Прошел год пребывания тела Ленина в Тюмени. 29 июня 1942 года к нам прибыла Правительственная комиссия под председательством академика А.И. Абрикосова. Комиссия, проводившая работу до 14 июля, дала положительное заключение.

В 1943 году наш коллектив значительно вырос. В группу вошли профессора Борис Иннокентьевич Лаврентьев, Миха-

ил Аркадьевич Барон, Дмитрий Николаевич Выропаев и Александр Николаевич Шабанов. Никого из них не осталось в живых в настоящее время.

Еще более ответственная комиссия в составе наркома здравоохранения СССР Г.А. Митерева (председатель) и трех академиков: А.И. Абрикосова, Н.Н. Бурденко и Л.А. Орбели приехала в Тюмень в конце 1943 года, к двадцатилетию со дня смерти Ленина.

В своем обстоятельном докладе Б.И. Збарский охарактеризовал проделанную работу и состояние тела В.И. Ленина. В частности, он отметил, что в результате инъекций массы и пропитки бальзамирующей жидкостью вес тела восстановлен.

Вес тела В.И. Ленина:

5 ноября 1938 г.	53,00 кг
3 марта 1940 г.	50,20 кг
3 января 1942 г.	51,27 кг
19 апреля 1942 г.	52,30 кг
10 июля 1942 г.	52,45 кг
24 ноября 1943 г.	53,95 кг

Комиссия детально обследовала состояние тела и составила следующий акт от 3 декабря 1943 года:

На основании распоряжения СНК Союза ССР Комиссия в составе Председателя Народного Комиссара здравоохранения СССР тов. Г.А. Митерева и членов: академика А.И. Абрикосова, генерал-лейтенанта медицинской службы академика Н.Н. Бурденко и генерал-лейтенанта медицинской службы академика Л.А. Орбели в присутствии Заслуженного деятеля науки проф. Б.И. Збарского, проф. М.А. Барона, проф. Д.Н. Выропаева, доцента И.Б. Збарского, члена-корреспондента Академии наук СССР проф. Б.И. Лаврентьева, проф. С.Р. Мардашева, проф. Р.Д. Синельникова, члена Коллегии Наркомздрава СССР д-ра А.Н. Шабанова, Председателя Омского Облсполкома т. Д.М. Токарева, Начальника Омского Обл. Управления НКГБ полковника Госбезопасности М.Р. Быкова, Секретаря Горкома ВКП(б) г. Тюмени т. А.Н. Осипова, Председателя Тю-

менского Горисполкома т. И.М. Богонастюк, Начальника Тюменского Горотдела УНКВД подполковника милиции С.Г. Айзенштадт, подполковника Госбезопасности Д.Ф. Ткаченко и майора Госбезопасности И.Д. Шестакова, выполнила порученное ей задание с 29/XI по 3/XII-43 г. в г. Тюмени.

Заслушав доклад проф. Б.И. Збарского о работе по сохранению тела В. И. Ленина за 20 лет и изучив приложенные к докладу материалы, Комиссия произвела детальный осмотр тела В.И. Ленина на операционном столе как при искусственном освещении, так и при дневном свете, а также в условиях пребывания его в модели нового саркофага и пришла к следующим выводам:

I. Состояние тела В.И. Ленина

Общие контуры тела сохранены. Отмечается лишь незначительное уплощение грудной клетки спереди, являющееся неизбежным результатом произведенного в свое время вскрытия. Имеется также некоторое уплощение и на спине, обусловленное сдавливанием тканей при длительном лежании тела.

Никаких признаков высыхания тела и тем более каких бы то ни было следов разложения не обнаруживается.

Эластичность и упругость тканей, а также подвижность связочно-суставного аппарата в хорошем состоянии (подвижность шеи, головы, плечевых, пястных, запястных, межфаланговых, коленных суставов). Общая окраска кожных покровов как при искусственном, так и при дневном свете бледно-желтоватая.

На коже туловища и конечностей имеются отдельные рассеянные более темные пятна неправильных очертаний. Тургор мягких тканей в области этих пятен хорошо выражен и не отличается от остальных участков кожи. Окраска пятен желто-коричневая, местами синеватая, без резких границ, сливающаяся с окраской остальной поверхности кожи. Некоторые пятна представляют собой чисто физический феномен просвечивания глубже расположенных тканей сквозь несколько просветленные участки кожи, вследствие неравномерного пропитывания ее бальзамирующими веществами.

Имеющиеся на теле пятна легко устраняются соответствующими мероприятиями. Поэтому они не имеют ни постоянного характера, ни постоянной локализации.

Верхние слои эпидермиса на коже лобно-височных отделов и в верхней половине лица в некоторых участках частично слущены.

Черты лица хорошо сохранились. Лицо имеет характерный облик В.И. Ленина.

Волосы на голове и лице всюду хорошо держатся и сохраняют прижизненное состояние и окраску. Глаза не западают. Веки плотно сомкнуты; линия смыкания их — ровная. Кожа век чистая с естественной складчатостью. Хрящи век на ощупь плотны. Нос полностью сохраняет свою форму и эластичность носовых хрящей. Носогубные складки хорошо выражены. Губы правильной конфигурации, всюду плотно сомкнуты, сохраняя свойственный Владимиру Ильичу изгиб их. Окраска губ бледная, поверхность их гладкая. Ушные раковины сохранили правильную конфигурацию и размер и находятся в правильном положении по отношению к лицу. В средней части правой ушной раковины кожа на очень небольшом участке окрашена в буроватый цвет (результат промерзания в 1924 г.).

Форма кистей и пальцев — правильная. В области пястно-фаланговых суставов второго и третьего пальцев правой кисти отмечаются небольшие дефекты кожи округлой формы с несколькими неровными краями, размером около 0,5 см в диаметре каждый (след бывшего грибкового поражения).

На коже подошвенной поверхности стоп, особенно слева, на пятке, еще сохраняются пергаментообразные участки. Во всех же остальных отделах туловища кожные покровы эластичные, общая окраска их желтоватая.

Отмеченные экспертами в протоколе от 26 марта 1924 г. (перед началом работ В.П. Воробьева и Б.И. Збарского) дефекты: западение и пигментация кожи по линии распила черепной крышки, бурые пергаментообразные пятна в лобно-теменных отделах черепа, пигментация и истончение носа, западение в области глазниц, подсыхание и сморщивание губ с расхождением их, трупные пятна на коже туловища и т.п. — бесследно исчезли.

Тело В.И. Ленина в настоящее время находится в лучшем состоянии по сравнению с тем, что отмечено в актах осмотра всех предыдущих Комиссий. При обзрении же в новом саркофаге создается впечатление как бы спящего Владимира Ильича.

II. Тело В.И. Ленина в модели нового саркофага

Конструкция нового саркофага имеет ряд преимуществ, которые позволяют видеть облик В.И. Ленина в более совершенном виде, а также устранить видимые для посетителей зеркальные отражения

гроба с телом Владимира Ильича. Предложенная система освещения и применение светофильтров значительно улучшают условия обозрения. В результате всего этого в новом саркофаге устраняется ряд недостатков, имевшихся прежде. Облик как бы спящего Владимира Ильича предстает в более благоприятном виде.

Общие выводы

Подводя итоги сказанному в настоящем акте и заключении, Комиссия приходит к следующим выводам:

1. Проведенные под руководством В.П. Воробьева и Б.И. Збарского мероприятия по бальзамированию тела В.И. Ленина обеспечивают хранение его на неопределенно долгое время.

2. За время пребывания в г. Тюмени коллектив Мавзолея рядом мероприятий добился значительного улучшения в состоянии тела В.И. Ленина.

3. В дальнейшем коллектив Мавзолея должен продолжать постоянное наблюдение за состоянием тела В.И. Ленина и стремиться немедленно устранять могущие возникнуть в нем изменения. В частности, необходимо обратить внимание на мацерацию и слущивание эпидермиса кожи и выработать меры борьбы с этим явлением.

4. Комиссия одобряет тематику научных работ, намеченных коллективом Мавзолея. В частности, крайне важным является изучение изменений, происходящих в теле В.И. Ленина, при помощи гистологического исследования.

5. Для дальнейшей научной разработки вопросов, связанных с сохранением тела В.И. Ленина, а также с общей проблемой бальзамирования, необходимо расширение исследовательской лаборатории при Мавзолее с привлечением новых кадров научных работников.

6. Замена старого саркофага новым и переустройство освещения с введением специальных светофильтров является значительным улучшением условий обозрения тела В.И. Ленина.

7. Комиссия считает необходимым отметить проведенную за истекшие 20 лет самоотверженную и выдающуюся работу научного коллектива — Заслуженного деятеля науки проф. Б.И. Збарского, проф. С.Р. Мардашева, проф. Р.Д. Синельникова и доц. И.Б. Збарского, в результате которой тело Владимира Ильича Ленина было и будет сохранено.

8. Особенно должна быть отмечена выдающаяся инициатива, энергия и энтузиазм, проявленные в этом исключительно ответствен-

ном и большом деле. Заслуженным деятелем науки проф. Б.И. Збарским

9. Сохранение в течение 20 лет тела В.И. Ленина представляет собой дело громадного политического и научного значения. Оно могло быть успешно осуществлено только при постоянном внимании и исключительных заботах, проявленных Партией и Правительством Советского Союза

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ /подпись/ Народный Комиссар Здравоохранения Союза ССР /Г.А. Митерев/

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: /подпись/ /Акад. А.И. Абрикосов/

/подпись/ /Акад. Н.Н. Бурденко/

/подпись/ /Акад. Л.А. Орбели/

/подпись/ /Заслужен. деятель науки проф. Б.И. Збарский/.

Положительное заключение комиссии и ходатайство ее и местных властей увенчались присуждением Б.И. Збарскому Сталинской премии «За выдающуюся научную работу по сохранению тела Ленина», звания Героя Социалистического Труда и ордена Ленина. Орден Ленина получил также С.Р. Мардашев, а Р.Д. Синельников и я — ордена Трудового Красного Знамени.

За членами Комиссии и мы, и тюменское начальство всячески ухаживали — возили на охоту на зайцев, показывали достопримечательности.

Однажды мы охотились в окрестностях села Покровское, того самого, где когда-то жил Григорий Новых, получивший за свой разврат прозвище Распутин еще до его чудесного приближения к царскому двору. Многие жители села хорошо помнили этого «святого» проходимца. О нем вспоминали как о хулигане, развратнике и конокраде. Рассказывали, что, когда незадолго до Первой мировой войны царица Александра Федоровна приезжала со старцем в Тюмень и посетила село Покровское, весь путь ее от вокзала до резиденции, где она остановилась, был устлан коврами.

Довольно однообразная наша жизнь в Тюмени скрашивалась нередкими поездками на охоту и рыбную ловлю. Машиной управлял шофер моего отца Иван Иванович Иванов, сам заядлый охотник. Из-за уменьшения числа охотников во вре-

мя войны дичь размножилась, в изобилии водились осенью утки, тетерева и куропатки, а зимой зайцы и лисы. Английский сеттер Ивана Ивановича со странным именем Фрекулюс неизменно приносил подстреленных уток из самых труднодоступных мест.

Меня увлекал сам процесс охоты. Охотник заходит в такие места чаще и болот, куда в других обстоятельствах никогда не попадешь, а так как я был молод и достаточно крепок, хождение по колону в воде по болотам или плутание в лесной чаще меня не пугало. Зимой охотились на зайцев и на лис. Весной на току — на тетеревов и глухарей. Охота на глухарей самая поэтичная. Чуть брезжит свет, тяжело переступаешь по сосновому бору; наконец где-то слышится тихая песня глухаря. Начинается она с медленно повторяющегося цоканья, затем звуки учащаются, и в последней, третьей, короткой части песни переходит в сплошное скрежетание. Только в этой последней, короткой фазе глухарь ничего не слышит; до этого он очень чуток, взлетает от малейшего шороха и замечает незначительное движение. Все искусство заключается в том, чтобы прыжками подбежать на расстояние выстрела и сразу замереть в любой, часто самой неудобной, позе. Иначе глухаря «подшумишь», и он улетит.

Охота на тетеревов существенно отличается от охоты на глухарей. На них охотятся в конце зимы, когда они сидят на безлистных березах и едят почки. Нередко ставят на дерево чучела, которые привлекают косачей. Подойти к сидящему на дереве тетереву, не спугнув его, невозможно; он издали видит человека и слетает. Однако телегу или автомашину он может подпустить на расстояние выстрела, чем обычно и пользуются. Весной токующего тетерева слышно очень далеко, в отличие от глухаря его брачная песня очень громкая, с характерным «чуфыканьем». Найдя ток, строят шалаш и сидят в нем с ночи, стреляя на рассвете в токующих петухов.

Как-то раз, значительно позже, я слышал песню тетерева, сидящего на дереве. Мы шли с сыном по лесу, на рассвете, ранней весной. Издалека слышались мелодичные звуки, мы пошли в их направлении, песня стала слышнее, наконец увидели тетерева, сидящего на березе. Это была изумитель-

ная по красоте завораживающая песня, совсем не похожая на «чуйфуканье» на току. Тетерок поблизости не было видно, косач сидел на дереве один. Кажется, я никогда не слышал такого прекрасного пения.

Общая обстановка в городе была тяжелой. По карточкам выдавали очень мало, цены на рынке выросли до огромных размеров, а зарплата по сравнению с ними представляла собой ничтожную сумму. По существу, определяющим фактором жизни стал рынок, не стесненный, как в довоенное время, жесткими ограничениями советской власти. Нередко на рынке мы встречали истощенных профессоров Кубанского медицинского института, торговавших какими-то тряпками. Местные жители также были в трудном положении, но их спасало натуральное хозяйство и связь с деревней. По сравнению с довоенным временем поражала невиданная со времен нэпа относительная свобода. Не говоря уже о рынке, люди иногда позволяли себе говорить то, что думают, допустимо стало ходить в церковь, рассказывать о событиях на фронте и в тылу. Так, когда я ехал в поезде в Москву и обратно, пассажиры вели сравнительно откровенные разговоры. Директор завода, эвакуированного в Красноярск, высказывал недовольство тем, что вся страна должна была приспособиться к режиму Сталина, который ложился спать поздно ночью и вставал в полдень. Так как разница во времени в Красноярске и в Москве несколько часов, директору звонили по телефону в три, даже в четыре часа ночи и требовали точных отчетов и сведений — времени для сна совсем не оставалось. Армейский офицер рассказывал, какие масштабы принял в армии мордобой. Помня еще Первую мировую войну, он говорил, что и прежде случалось — офицеры били солдат, но ударить офицера — это было неслыханно.

Еще до войны, в 1-м Московском медицинском институте, секретарь парторганизации Петров неоднократно настаивал на том, чтобы я подал заявление с просьбой принять меня в партию. Внутренне я совершенно не воспринимал марксизм-ленинизм — и теоретически, и практически, то есть как он проводился в жизнь в нашей стране. Обстановка, однако,

была накаленная, ежедневно арестовывали, ссылали и расстреливали тысячи знакомых и незнакомых людей без всякой видимой причины, и стоило лишь усомниться в том, что кто-нибудь из них не «враг народа», как станешь «врагом народа» сам. В этих условиях выйти из комсомола или отказаться от предложения вступить в ряды партии было равносильно потере работы и, по всему вероятно, аресту, ссылке или даже расстрелу.

Несколько раз я отвечал Петрову, что не чувствую себя еще достаточно подготовленным для вступления в партию, но наконец отказываться стало уже невозможно. Когда я сказал отцу, что мне императивно предлагают вступить в партию, и спросил его, что он мне советует, он ответил только: «Я это делаю». Таким образом, в 1939 году я был принят в партию в качестве кандидата со стажем в один год. Этот кандидатский стаж мне удалось затянуть на два года, но, когда в самый трудный период войны, в октябре 1942 года, мне предложили стать членом партии, напомнив, что я уже третий год кандидат, я подал соответствующее заявление. Не то чтобы я вдруг стал признавать политику партии, но чувство патриотизма, которое тогда неотрывно связывали с партией (люди шли в бой и на смерть «за Родину, за Сталина»), а также резкое снижение террора, по крайней мере среди гражданского населения, как и некоторые проблески демократии, как-то способствовали этому. Таким образом, в 1942 году я был принят в члены партии парторганизацией Комендатуры Кремля.

В последующие почти 50 лет выйти из партии оставалось столь же небезопасным, и я решился на это лишь в 1990 году, в период «перестройки», «демократизации» и «плюрализма». Все это время пребывания в партии я старался «не высовываться», и это спасло меня от позорных заявлений и какой-либо активной работы на благо «строительства социализма». Тем не менее мне постоянно приходилось кривить душой, быть пропагандистом и даже членом партбюро. Все эти годы приходилось учить историю партии, причем ее содержание изменялось в зависимости от конъюнктуры. То, что происходило много лет назад, каждый раз освещалось иначе, исчезали одни имена и появлялись новые, Сталину приписывалось

все больше заслуг, а Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин и другие оказывались врагами и предателями, агентами международного империализма чуть ли не со дня рождения

В Тюмень все время прибывали раненые, и гражданское население всячески старалось облегчить их страдания. Моя жена Ирина и ее сестра Нина приняли в этом участие и часто посещали местные госпитали. Они познакомились там с молодым зоологом — Юрой Куражковским, оказавшимся потомком поляка, сосланного в первой половине прошлого века.

С ним мы и позже, после войны, поддерживали отношения. Некоторое время он работал директором Воронежского, а затем Астраханского заповедника. Мне запомнился его рассказ о том, как пленный немецкий физик сумел отвертеться от предлагаемой ему работы на военные нужды и в результате был направлен в Воронежский заповедник. Этот немец все время поражался «преимуществам социализма», возмущался невероятной бюрократией и неповоротливостью нашей системы. Наконец его отпустили в ГДР. Юра получил от него письмо, про которое говорил, что, если бы оно было написано по-немецки, его наверняка задержали бы. Но поскольку оно было написано по-русски, да так, что только один Юра мог понять написанное, письмо достигло адресата. В письме немецкий ученый напоминал об их разговорах по поводу нечестности и бюрократизма нашей системы и своем недоумении, как вообще такая система может существовать. Однако, приехав в ГДР, он был не менее поражен системой в этой стране. Оказалось, что бюрократического идиотизма там не меньше, а еще больше, чем в СССР. Так, однажды физика вызвали к начальству и потребовали, чтобы он дал четкий ответ на вопрос о том, существует ли четвертое измерение, ибо это важно для строительства социализма в демократической Германии. Всякие гипотезы и данные о научных теориях начальство не удовлетворяли, необходимо было дать конкретный ответ.

Война еще не кончилась, но жизнь в Москве постепенно входила в нормальную колею, восстанавливалась работа Медицинского института и ряда научных учреждений. Стало ясно, что бомбежки Москве уже не угрожают, война идет к

Май 20
Гек



С моим другом и коллегой Николаем Дёминным.



Наша студенческая группа кафедры физиологии животных МГУ.
Первый слева в первом ряду Сергей Бычков. 3-й курс.
Меня здесь нет — я фотографирую.

А здесь я уже преподаватель.
Со студентами 2-го курса 1-го Московского медицинского института.
1940 г.

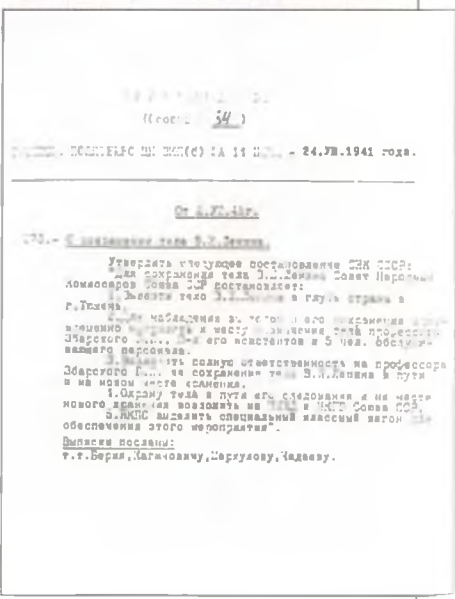


В эвакуации во время войны. В центре — С. Мардашев и я с женами.



Заседание
 Правительственной комиссии
 по проверке состояния
 тела В. И. Ленина.
 Тюмень, декабрь 1943 г.
 Сидят слева направо:
 Б. Лаврентьев, Р. Синельников,
 Д. Выропаев, С. Айзенштадт,
 А. Абрикосов, Б. Збарский,
 Г. Митерев
 (нарком здравоохранения,
 председатель комиссии),
 Л. Орбели, Н. Бурденко,
 А. Шабанов, А. Осипов,
 С. Мардашев. Стоят: Д. Ткаченко
 (комендант мавзолея), И. Шестаков.

Решение Политбюро ЦК ВКП (б)
 об эвакуации тела В. И. Ленина
 (публикуется впервые).



1943 г. 12.12
 (номер 34)

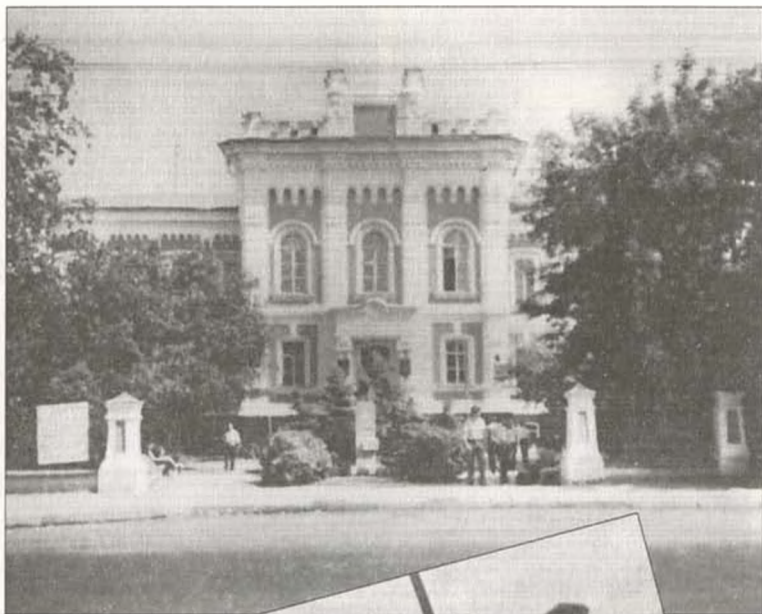
ПОСЛАНИЕ ИЗ ТЮМЕНИ (с) 14.12.1943 - 24.12.1943 года.

От Б.П.Ильи.

170.- О эвакуации тела В.И.Ленина.

Утвердить предложение СММ ЦКПР:
 для перевозки тела В.И.Ленина Совет Народных
 Комиссаров СССР, ЦС постановляет:
 1. Эвакуировать тело В.И.Ленина в путь в страну в
 г.Тюмень.
 2. После обследования в течение его нахождения в пути
 временно в пути и месту нахождения тела профессора
 Збарского В.И., а в его наместников в 5 чех. Обеспечить
 вагонного персонала.
 3. Ответственность за сохранение тела В.И.Ленина в пути
 и на месте нести сменяемо.
 4. Охрану тела в пути его следования и на месте
 нового назначения возложить на ЦКПР в ЦКПР Советов СССР.
 5. ЦКПР выслать специальный классный вагон для
 обеспечения этого мероприятия.
 Выписки посланы:
 т.т. Берия, Кагановичу, Чергулову, Чидзеву.

Здание бывшего реального училища в Тюмени,
где находилось тело В. И. Ленина во время войны.



На охоте. 1943 г.
В центре Г. Митерев, справа от него
академик Л. Орбели, слева я, перед ним —
мой сводный брат Лева Збарский.

Трофим Лысенко и Ольга Лепешинская — «корифей науки» сталинской поры. А настоящие ученые в это время либо сидели без работы, либо умирали в лагерях...



40

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
НА ГОЛОСОВАНИЕ

№ СТ _____ / г. с. от _____ 195_ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКП(б)

(протокол № _____ пункт _____ от _____ 195_ г.)

Об издании Госполитиздатом брошюры Е.Соковского "Мавзолей Ленина".
(Решения бюро ЦК при ЦК ВКП(б) от 6.7-1947 года, прот. В 201 и П. 2).

Гвердить следующие решения бюро ЦК при ЦК ВКП(б):

1. "На основании проверки поступившей в ЦК ВКП(б) информации о том, что Госполитиздатом без разрешения ЦК ВКП(б) в 1946 г. была издана политическая брошюра Е.Соковского "Мавзолей Ленина" в Московском издательском обществе в Москве", на которой стояло у г-на Соковского широко во вражеских целях издательское разрешение без графа ИМЭЛ. В редакционной брошюре, составленной политическим отделом, в 1946 г. признаны участие бывшего директора ИМЭЛ г-на Матия и его заместителя г-на Морозова, бывшего главного редактора издательства г-на Сидкина и заместителя директора Госполитиздата г-на Кривого, который готовил ее к изданию, и совместно с автором подборки для брошюры фотографии г-на Матия и г-на Морозова. Судя по документам, поступившим в ЦК ВКП(б) в 1946 г. издатель Е.Соковский сокрытым путем скрыл от ЦК ВКП(б) документы на имя директора и бывшего редактора ИМЭЛ г-на Матия. Секретные документы не были возвращены в архив ЦК ВКП(б) и находятся в неактивном распоряжении Соковского, который скрыл от ЦК ВКП(б) также установленные, что в Госполитиздате имеет место факт выдачи ему копии. (см. продолжение)

Проверка также установлена, что в Госполитиздате имеет место факт выдачи ему копии. (см. продолжение)

Выписка гг. _____ Разделано

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

При расследовании «вредительской деятельности» моего отца даже его идеологически выверженная брошюра «Мавзолей Ленина» удостоилась разгромного Постановления Секретариата ЦК ВКП(б).

Гроб с телом И. В. Сталина вносят в мавзолей. 1953 г.



Ленин и Сталин рядом в мавзолее. Это единственное в мире фото было сделано американским журналистом при помощи скрытой камеры.

ОБЪЕКТ №1

Забальзамированные
тела
Г. Димитрова,
генерального секретаря
Компартии Болгарии
(1949 г.);
К. Готвальда,
генерального секретаря
Компартии
Чехословакии
(1953 г.);
Хо Ши Мина,
президента
Народной Республики
Вьетнам
(1971 г.);
Л. Ф. Бернхема,
президента
Кооперативной
Республики Гайаны
(1985 г.)

Научные достижения
Спецлаборатории
стали использоваться
далеко за пределами
Советского Союза.



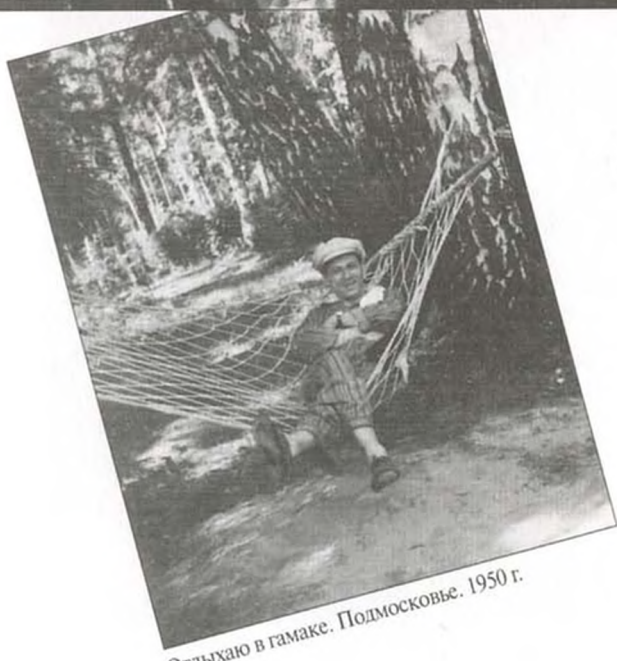
Мрачные тайны Спецлаборатории.
Ванны с «экспериментальными» забальзамированными труппами...



...и «дублер», хранящийся
в точной копии ленинского саркофага.

ОБЪЕКТ №1

Семейная фотография. Слева направо: моя жена Ирина, я, мой отец, его сыновья от второго брака — Виктор (на руках у отца) и Лев-Феликс — и вторая жена Евгения Збарская. 1945 г.



Отдыхаю в гамаке. Подмосковье. 1950 г.

С Эрнстом Неизвестным мы познакомились в Кисловодске. 1959 г.



Три поколения: моя мама, мы с женой Ириной
и наши сыновья Алеша и Митя.

В лаборатории
мне всегда интересно.



На 11-м рабочем
совещании
по клеточному
ядру.

Слева направо:
М. Мурамацу,
Г. Георгиев,
я. С. Разин,
А. Лучник,
Р. Хенкок.
Суздаль, 1989 г.



С доктором Тошихо Ониши, его женой и дочерью. Япония. 1989 г.

ОБЪЕКТ №1

Мой сын Митя.
1969 г.

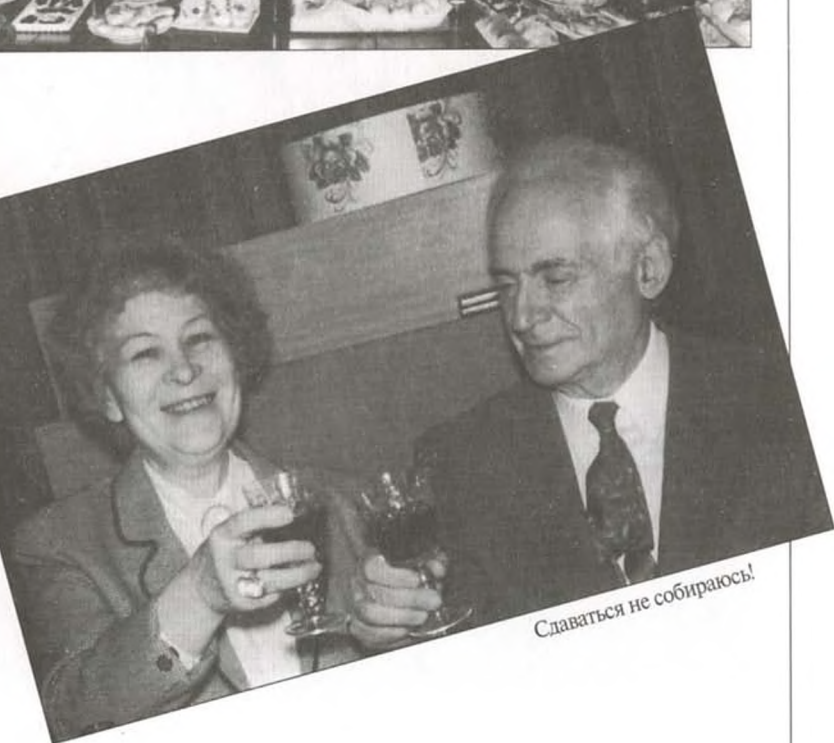


С внучкой Любой и сыном Алексеем.



Мой брат Лев-Феликс теперь живет в Америке.

На моем 80-летии.
Со мной любимый ученик академик Г. Георгиев, жена Майя,
коллеги Н. Нечаева и Н. Хрушов и друг детства Юра Карпов.



Славиться не собираюсь!



концу и к полному разгрому германского фашизма. Тело Ленина еще оставалось в Тюмени, но мы и наши семьи уже переехали в Москву, в Тюмени же мы поочередно дежурили, следя за «объектом».

На меня навалилась очень большая работа на кафедре. Из-за того что Мардашев и Толкачевская надолго заболели, мне пришлось в течение почти года читать лекции на двух потоках, вести студенческий кружок и руководить новыми аспирантами. Вскоре я начал вести и исследовательскую работу, которая, по настоянию отца, заключалась в изучении аминокислотного состава тотальных белков опухолей и нормальных органов человека. Тему эту я считал бесперспективной и все больше мечтал о получении самостоятельности в науке и по возможности о собственной лаборатории.

В самом конце 1944 или начале 1945 года отец получил предложение от директора Центрального онкологического института имени П.А. Герцена, профессора Александра Ивановича Савицкого, возглавить биохимическую лабораторию института, которой до войны заведовал бездарнейший биохимик Гольдштейн.

Отец согласился на это предложение и с января 1945 года был зачислен заведующим биохимической лабораторией, а меня приняли туда на должность старшего научного сотрудника. Вся забота о лаборатории и (наконец!) научное ее направление были предоставлены мне. Несмотря на двойную, если не тройную нагрузку на кафедре, в течение всего 1945 года я охотно и энергично занимался организацией биохимической лаборатории в Онкологическом институте.

Ранней весной 1945 года, когда война подходила к завершению, решено было привезти тело Ленина в Москву и открыть мавзолей для посещения. Соответственно нужно было провести некоторую работу по подготовке нашего «объекта» к реэвакуации. В феврале 1945 года я уехал в Тюмень, и около месяца мы готовили все для возвращения тела Ленина.

23 марта 1945 года нам подали специальный состав, такого же типа, как и при эвакуации в Тюмень. Гроб с телом Ленина погрузили в охлаждаемый вагон, в котором было установлено круглосуточное дежурство, регулярно производилось

смачивание лица и рук, велось тщательное наблюдение за состоянием «объекта».

В остальных вагонах поезда разместили оборудование и реактивы, штат и хозяйство спецлаборатории, кремлевскую охрану и персонал, обслуживающий мавзолей. Теперь уже не было такой спешки, как при отъезде из Москвы, и подготовка к переезду проводилась в спокойной обстановке

Крайне утомленные, мы погрузились в поезд и отправились в Москву. В пути, так же как и по дороге в Тюмень, необходимо было все время наблюдать за телом, и мы поочередно дежурили около него. Через три дня специальный рейс прибыл в Москву, и тело Ленина с ваннами и необходимым оборудованием и реактивами перевезли в мавзолей.

Мавзолей к тому моменту подвергся существенной реконструкции, в нем устанавливали новый саркофаг и кондиционеры, поддерживающие постоянную температуру около 16° С и влажность 72%. Все эти работы заняли несколько месяцев, и допуск посетителей был разрешен лишь 16 сентября 1945 года. Пока под землей производилось переоборудование, трибуны мавзолея продолжали выполнять свои функции; на них руководители партии и правительства принимали парады и демонстрации 7 Ноября и 1 Мая.

Война завершалась, 1—2 мая был взят Берлин, сдавались последние очаги сопротивления немцев в Баварии и Чехословакии. 8 мая в Реймсе адмирал Дёниц, командующий войсками вермахта и первое лицо фашистской Германии, поскольку Гитлер покончил с собой, подписал безоговорочную капитуляцию Германии. Со стороны союзников акт подписали представители Англии, Франции и США, представителя СССР не было. Поэтому наше руководство не признало этот акт действительным, и на следующий день, 9 мая, в Карлсхорсте, предместье Берлина, снова был подписан акт о капитуляции Германии. Со стороны СССР его подписал маршал Жуков.

Около трех часов ночи по радио объявили о безоговорочной капитуляции Германии и наступлении всеобщего мира и благоденствия. Этот день был, пожалуй, самым счастливым в моей жизни. Всеобщее ликование охватило город. Все высыпали на улицы, пели, смеялись, целовались. К нам пришли

друзья, Юра Смирнов, Демины. Целый день мы шатались по улицам и площадям Москвы, радость толпы выходила из берегов и разливалась по всему городу.

Очень скоро после войны, вернее, в конце войны, после того как американцы сбросили на Японию атомную бомбу, неожиданно резко повысили зарплату ученым. Доктор наук со стажем получал теперь 6000 (после реформы 600) рублей в месяц. В среднем научные работники стали получать в 4 раза больше, чем прежде, и соответственно в 4—5 раз больше, чем рабочие и служащие. Рассказывали, что, хотя перед войной Сталин запретил заниматься атомным ядром как темой бесполезной для социалистического строительства, после применения атомной бомбы он понял значение науки, дал директиву усиленно изучать атомное ядро и решить проблемы науки в СССР. По этому поводу он вызвал Президента Академии наук СССР Сергея Ивановича Вавилова, брата Николая Ивановича, биолога, и спросил его, что нужно сделать для того, чтобы ликвидировать или хотя бы уменьшить наше отставание в науке. Вавилов ответил, что прежде всего необходимо улучшить материальное положение ученых, чтобы они могли сосредоточить свою энергию на науке, а не на бытовых проблемах. За этим и последовал указ об улучшении быта ученых.

В мае 1945 года, сразу после поражения Германии, многих штатских специалистов переодевали в военную форму и отправляли в Германию на оккупированную территорию, для того чтобы они привозили в нашу страну трофейное имущество. Такие репарации производились незаконно, с целью ограбить Германию и вывезти к нам как можно больше дорожного оборудования и товаров.

В эту кампанию попали и мы. С.Р. Мардашева, Н.Н. Демина и меня также переодели в военную форму и, снабдив соответствующими документами, отправили поездом в Берлин; Мардашев был в звании полковника, мы с Деминым — подполковники. Мы приехали очень скоро после капитуляции Германии, в первой половине мая. Берлин поразил меня: большая часть города, весь его центр лежали в развалинах, завалы перегородили проезд и проход, из-под них исходил смрад разлагающихся тел заживо погребенных, летали тучи мух, и лишь на окраинах сохранились дома и улицы.

По городу бродило множество людей разных национальностей: освобожденные Красной Армией французы, бельгийцы, голландцы, поляки, цыгане и, конечно, наши соотечественники. Вся эта пестрая разноязыкая толпа торговала какими-то пожитками и продуктами, шаталась по улицам и ждала отправления на родину.

Нас поместили в пригороде Берлина, Карлсхорсте, недалеко от здания военной академии, где 9 мая была подписана безоговорочная капитуляция Германии. В наше распоряжение дали машину и снабдили немецкими марками, но пистолеты выдали почти через месяц; до того мы ходили без оружия.

Я помнил Берлин 1923 и 1928 годов, когда я был там с от-

цом. Меня поражали тогда чистота и порядок, не было ни мух, ни зловония, немецкая аккуратность резко контрастировала с грязью, нищетой и отсталостью Москвы. То, что мы увидели теперь, было полной противоположностью прежнему, чистому и ухоженному Берлину. Немцы, мужчины и женщины, многие в хорошей одежде, были заняты на принудительных работах по очистке улиц и разгребанию завалов и мусора.

Городской транспорт не работал, на улицах зияли воронки от снарядов, местами пробивших мостовую до самых туннелей метро. Советские солдаты охраняли здания штабов войск и другие объекты; по улицам сновали пешие патрули и патрульные машины.

На окраинах города сохранились целые кварталы, и они все еще производили впечатление ухоженности и порядка. По сравнению с окраинами наших городов эти кварталы выглядели какими-то игрушечными, причесанными и чистенькими. Бомбежки, по-видимому, сосредоточивались в центральных районах Берлина.

Согласно заданию в первые дни после приезда мы обратились к начальникам, руководившим конфискацией и отправкой имущества в СССР. Главным пунктом их указаний был вывоз научного оборудования, в первую очередь из западной части города, поскольку по соглашению через 2—3 недели эти районы должны были быть переданы английским, американским и французским вооруженным силам. Следуя этим инструкциям, мы приходили в фирмы и научные учреждения и приказывали упаковывать то или иное оборудование или реактивы.

Прежде всего, мы попытались найти известную фирму химических реактивов «Merck». Приехав по адресу, найденному нами в справочнике, мы увидели полностью разрушенное бомбежкой здание, но на остатках стены нашли надпись, согласно которой теперь контора фирмы находится по другому, такому-то адресу. Найдя соответствующее место, увидели такую же картину полного разрушения и ссылку на новый адрес. Подобная картина предстала перед нами еще не один раз. Наконец последний адрес привел нас в многоквартирный дом в районе Курфюрстендамм, где в одной из квартир мы нашли

представителя фирмы, который жил в двух просторных комнатах, увешанных дорогими коврами и картинами и уставленных не менее ценными статуэтками, посудой и другими произведениями искусства.

Этот представительный, крупный, хорошо одетый и тщательно выбритый человек объяснил нам, что главная контора и заводы фирмы находятся в Дармштадте, в Берлине же — только представительство, уничтоженное бомбардировкой. Указывая на дорогую обстановку комнаты, он с грустью в голосе сказал: «Вы же видите, в каких ужасных условиях я теперь нахожусь». «Ужасные» условия были несравнимы с нашей убогой жизнью в Москве, и нам оставалось только позавидовать им.

Основная и наиболее престижная часть научных институтов Берлина и, пожалуй, всей Германии, находилась тогда в пригороде Берлина — Далеме. Прежде этот комплекс институтов назывался «Kaiser Willhelm Institut», но при республиканском правительстве был переименован в «Max Planck Institut». Здесь же находился один из лучших биохимических институтов мира, во главе которого стоял крупнейший биохимик Отто Варбург.

Естественно, мы направились в Далем. Биохимический институт опустел. Директора там не было, и научные сотрудники, с которыми мы встретились, сказали нам, что у них уже побывал «Herr Oberst Deborin» (господин полковник Деборин) и увез все, что было возможно. На вопрос, где Варбург, нам ответили, что, так как он «Vierteljude», то есть на четверть еврей, он не мог оставаться в Далеме и работает теперь в Лейенбурге, вне Берлина.

На улице мы встретили профессора физиологии Гессе. Он был в потертом, старом костюме и нес на спине мешок с картошкой. Он охотно поговорил с нами, рассказав, что в его семье была в услужении русская девушка, вывезенная из СССР, с которой они обращались настолько хорошо, что она стала почти членом семьи. Эта девушка помогла им, когда пришли советские войска. Она переговорила с офицером, вошедшим в их дом в сопровождении солдата, и тот дал Гессе охранительный документ. Этот документ профессор показал нам. На

клочке бумаги крупным корявым почерком было написано. «Не трогать! Майор Иванов» (и подпись).

В ряде научных учреждений, где мы побывали, «господин полковник Деборин» нас тоже опередил, и нас встречал тот же ответ: «Herr Oberst Debovin уже увез все, что было возможно».

Тем не менее нам удалось подготовить к отправке целый вагон научного оборудования и реактивов. Немцы послушно исполняли наши указания и тщательно упаковывали вывозимое имущество, однако, когда это было поручено девушкам, пригнанным из Украины, несмотря на наши предупреждения о том, что реактивы следует упаковывать очень аккуратно и тщательно, из некоторых ящиков потекли едкие кислоты. Когда мы открыли эти ящики, оказалось, что склянки с реактивами, включая кислоты, были свалены как попало, нередко горлышками вниз, и кое-как пересыпаны соломой. Советский стиль работы девушки, по-видимому, сохранили и в Германии.

Послушание и исполнительность немцев поражали. Всякий приказ, указание или даже намек выполнялись немедленно, аккуратно и добросовестно, никакого сопротивления, недовольства, упреков или несогласия мы не встречали. Напротив, нередко немцы, указывая на разрушения в городе, говорили мне: «Вы, русские, хорошие, а это всё Томми», то есть англичане.

Однажды я был свидетелем характерной сцены в начавшем уже работать на некоторых участках метро. В вагоне сидели 20—30 немцев и несколько советских военных. Пожилая женщина начала сетовать на то, что стало плохо с продуктами, трудно достать что-либо и прокормить семью. Наши военные молчали, немцы же с редким единодушием набросились на нее, говоря: «Как вам не стыдно, фрау, вы подвергаете несчастьям и репрессиям весь немецкий народ. Замолчите немедленно!»

Были редкие исключения из всеобщего послушания и смирения. Однажды ко мне обратился один немец и посетовал, что русский солдат только что отобрал у него велосипед и теперь ему не на чем ездить на работу. Я попытался помочь ему, но, конечно, безрезультатно. В другой раз женщина спросила меня, правда ли, что скоро в Берлин будут присланы монгольские войска и будет еще ужаснее?

Но более всего мне запомнилась тихая сцена в вагоне трамвая, уже пущенного по улицам Карлсхорста. Напротив меня сидела довольно молодая, интеллигентного, даже, я бы сказал, аристократического вида женщина. По улице, гроыхая, ломая мостовую, несло соединение советских танков, солдаты в самых произвольных позах громко и разухабисто пели, я поднял взгляд и увидел, что из прекрасных глаз женщины текут слезы.

Демин рассказывал мне, как пошел осмотреть старинную церковь в пригороде Берлина, известную ему по описаниям. В церкви он застал пастора, который смело жаловался ему на вандализм советских солдат и разрушение европейской культуры.

Феноменальная память Демина не раз поражала меня. Так, когда мы с ним посетили громадный Исторический музей (Pergamon Museum) в Берлине, он заранее рассказал мне, где и в каком зале находятся те или иные экспонаты. Все соответствовало его описанию, а служитель, которому Демин задавал вполне компетентные вопросы, хотел позвать профессора Андрэ, который рад будет встретиться с «русскими археологами». Музей пострадал сравнительно мало, но на первом этаже, где находились египетские древности, на мумии красовалась кучка экскрементов...

Постепенно в городе стали наводить порядок, наши военные комендантуры старались не допускать эксцессов и чрезмерно не раздражать население беззаконием. Появились советские магазины, где полки ломились от товаров и продуктов, цена которых была недоступной для немцев, но вполне приемлемой для нас и строевых офицеров, получавших оккупационные марки. По сравнению с этими ценами то, что свободно продавалось немцами вне специальных магазинов, например пиво, казалось баснословно дешевым.

Наши солдаты повсюду целеустремленно искали вино, и особенно спирт или водку. То, что находили, выпивали немедленно и нередко учиняли скандалы и безобразия. Как-то раз незнакомый офицер, увидев Мардашева и меня в столовой, подошел к нам с тремя бутылками отличного французского вина, открыл их, протолкнув грязным пальцем пробки внутрь,

и угостил нас, налив вино в большие стаканы. В другой раз мы посетили медсанчасть. При нас привезли несколько стонущих солдат, многие из них говорили, что ничего не видят. Это характерный признак отравления метиловым спиртом, запах которого легко спутать с парами этилового (винного) спирта.

Однажды мы с Мардашевым решили зайти в огромное, поврежденное, но не разрушенное здание Военно-медицинской академии в Берлине. Войдя в него и пройдя по длинным коридорам, мы увидели зал, в котором лежало сваленное в кучу германское военное обмундирование. Можно было заключить, что немецкие военные курсанты оставляли здесь форменную одежду и переодевались в штатское, дабы спастись от преследования. Мы не нашли лабораторий, но в конце одного длинного коридора заметили человека в немецкой форме и благоразумно спрятались за дверь. В это мгновение прогремел выстрел, к счастью, пуля пролетела мимо. Именно после этого случая (мы рассказали о нем в нашей комендатуре) нам и выдали оружие.

Как-то, зайдя в комендатуру одного из районов, в кабинете помощника коменданта я увидел очаровательную девушку, переводчицу. Ее звали Надя. Она рассказала мне, что была захвачена в плен в первые дни войны в госпитале в Риге, где работала медсестрой, и ее увезли в Германию; сама она из Орехова-Зуева, и родители не имеют о ней сведений с начала войны. Как только офицер вышел, я сказал, что хочу встретиться с ней. Надя тут же спросила меня, говорю ли я по-немецки, и после моего положительного ответа перешла на немецкий язык и объяснила, что ее почти не выпускают из комендатуры. Если ей удастся выйти, она будет ждать меня на углу следующей улицы в таком-то часу. На мое предложение сообщить о ней ее родителям, поскольку я скоро поеду в Москву, она сказала, чтобы я этого не делал — ведь все равно ей, как и всем, кто был вывезен в Германию, предстоит по меньшей мере ссылка в Сибирь без права общения. На следующий день я, конечно, был на месте встречи в назначенное время, простоял там около часа, но, увы, Надя не пришла.

Было у меня еще одно романтическое приключение. Как-то в свободное время мы с Деминым прошлись по парку Вейсен-

зее В парке встретили двух хорошеньких молодых немок и заговорили с ними. Кажется, предлогом для разговора послужило то, что Коля Демин спросил их, точно ли это парк Вейсензее. Одну из них, повыше ростом, звали Хельга, другую — Урсула. В беседе мы провели около часа и на следующий день вместе съездили на Тегельское озеро, где когда-то, а точнее в 1928 году, отец поместил меня на неделю в пансион.

Хельге было 18, мне уже 31, мы непринужденно болтали, и из ее рассказов я получил довольно полное представление о жизни в Германии в эпоху гитлеризма. Поразило меня удивительное сходство с тем, что имело место у нас: в школах прославляли Гитлера, так же как у нас Сталина, а вместо обществоведения и истории партии здесь изучались расовая теория и основы национал-социализма. Преследовалась литература, не соответствующая задачам национал-социалистской партии. В доме, где жила Хельга, при мне из тайников извлекли стихотворения Гейне и переводы сочинений Гоголя. Националистическое стихотворение Гейне «Lorelei», вошедшее во все хрестоматии, не было запрещено, но в учебниках подавалось как произведение неизвестного автора — «Unbekannter Verfasser». Хельга жила на другом конце города в отдельном, хорошо обставленном двухэтажном коттедже. Отец ее умер, а мать была онемеченной француженкой. Возвращаться вечером в Карлсхорст было сложно и долго, и я не раз оставался ночевать у Хельги. Она рассказала мне, что у нее был жених из Дрездена, но теперь она не знает, где он. Когда наши войска вступили в Берлин, какой-то солдат или офицер, она не смогла увидеть, угрожая оружием, зажал ей рот, прижал к стене и изнасиловал.

В начале нашего знакомства мы гуляли с ней до поздней ночи в Шлосспарке. Вдруг на аллее нас осветили фары военного пикапа, из него молниеносно выскочили несколько солдат под командой лейтенанта, схватили нас под руки и втощили в машину. Лейтенант сказал мне: «Попался с немкой, товарищ подполковник!» Нас привезли в комендатуру, бегло допросили и отпустили.

Перед отъездом я зашел попрощаться с Хельгой Шелдодж, и она сказала, что Берлин плачет обо мне. На проща-

ние она подарила мне свою фотографию с написанным на обороте стихотворением. В разгул террора 50-х годов, когда хранить дорогую мне фотографию стало опасно, я, скрепя сердце, порвал и выбросил ее. А стихотворение помню до сих пор...

...Ich will dein Bild im Herzen tragen.
Du weisst wie gern ich bei dir blieb
Denn, will ich dir zum Abschied sagen:
«Ich habe dich so lieb».

В русском переводе это означает:

Твой образ буду сохранять.
Была я счастлива, любя.
И я еще хочу сказать:
«Я так люблю тебя!»*

Когда я уже собрался уходить, Хельга скрылась в другой комнате. Я ждал ее, но вышла ее мать и тихо сказала: «Sie weint» — она плачет. Я прошел к Хельге. Вся в слезах, она нежно обняла меня и поцеловала на прощание. Дальнейшая судьба Хельги мне неизвестна, она говорила, что хотела бы попасть в Америку, куда уехали их друзья еврейского происхождения — может быть, они пригласят ее, — и стать актрисой.

Через много лет, в 1973 году, для группы участников симпозиума профессор Берлинского университета С. Рапорт устроил прием в том самом Нидершейнхаузене, где жила Хельга, оказавшемся в советской зоне Берлина. Я был на этом приеме и тщетно пытался найти дом Хельги, но мне это не удалось: или он был где-то далеко, или я не узнал его.

Перед отъездом мы договаривались об отправке нашего имущества. Демин должен был сопровождать вагон. Мардашев уехал раньше, так как почувствовал себя плохо. На Восточном вокзале командовал отправкой вагонов и грузов какой-то майор или подполковник. В его конторе толпились офице-

* Перевод автора

ры, большей частью старше его по званию, и громогласно, употребляя крепкие выражения, требовали срочной отправки тех или иных грузов

Мы с Деминым из-за интеллигентской своей натуры безуспешно пытались отправить наш груз. На следующий день Коля Демин прорвался к майору и, выйдя через полчаса, сообщил, что ему удалось получить вагон. Я спросил его достаточно ли крепко он ругался? Но он ответил, что добился этого вежливостью. Майор пожаловался ему, как противно, грубо и настырно ведут себя наши командиры: «А вы вот поговорили со мной как с человеком, вежливо и без хамства, а я ведь судья и не терплю сквернословия».

Я уезжал поздно вечером. Было уже темно. Охранявший пути солдат, которого я не видел, покрыл меня многоэтажным матом и, не дождавшись ответа, выпустил автоматную очередь. Я нес тяжелый трофейный радиоприемник — свой я сдал в Москве, в начале войны, и мне, конечно, несмотря на обещание, его не вернули. После выстрелов я прокричал что-то охраннику на понятном ему лексиконе, после чего он, по-видимому, убедился, что имеет дело с соотечественником, и пропустил меня.

Глава 16 В СВОЕЙ ЛАБОРАТОРИИ

Возвратясь из Германии, я окунулся в обилие работы, как на кафедре, так и в Онкологическом институте. Несмотря на очень большую педагогическую и организационную нагрузку, в обоих учреждениях создались относительно хорошие условия для исследовательской работы. Привезенные из Берлина оборудование и реактивы давали возможность вести ее, не останавливая из-за потребности в том или ином реактиве, центрифуге или спектрофотометре. Отсутствие какого-либо прибора в одном учреждении компенсировалось наличием его в другом, была неплохая лаборантская помощь, и я с увлечением взялся за работу. Я был молод и энергичен и, пожалуй, первые несколько лет после войны были самым продуктивным периодом моей работы.

В это же время для спецлаборатории при мавзолее и кафедры биохимии было предоставлено новое здание — бывшая гимназия, а в советское время школа, на Садово-Кудринской улице, и нам пришлось на некоторое время превратиться в строителей и руководить переоборудованием этого непригодного помещения. Благо возможностей тогда было гораздо больше, чем когда-либо. Для спецлаборатории отпускали достаточно средств, и значительная часть работы производилась рабочими и мастерскими Комендатуры Кремля, то есть вне всякой очереди.

Вернулась с войны моя бывшая студентка Кира Цикина (теперь по мужу Перевощикова) и была зачислена в аспирантуру. Через некоторое время ко мне явился молодой элегантный офицер медицинской службы, окончивший Медицинский институт в тот же год, что и Кира, — Сергей Сергеевич Дебов. Сначала он был принят в качестве ординатора, а затем

младшего научного сотрудника. Сергей Сергеевич успешно вел исследования и сделал интересные открытия, послужившие началом целого направления в науке. Мардашев без моего ведома и согласия перетащил Дебова в спецлабораторию при мавзолее, где он успешно продолжал работу и впоследствии сменил Мардашева на посту директора этой лаборатории, со временем переименованной в «Лабораторию биологических структур». Сергей Сергеевич сменил Мардашева и в качестве директора Института энзимологии АМН СССР. В течение ряда лет он занимал должность вице-президента Академии медицинских наук СССР. Должен сказать, что, несмотря на такую головокружительную карьеру, он не возгордился и сохранил доброе отношение ко мне, с удовольствием вспоминая начало своей работы под моим руководством.

В Онкологическом институте мне наконец удалось работать по своей тематике. Меня интересовали тайны клеточного ядра и биохимические механизмы наследственности, которые, как я полагал, тесно связаны с природой рака. В то время это была совершенно новая область, и наши исследования были по существу в числе первых, предвосхитивших то направление, которое выросло в новую науку — молекулярную и клеточную биологию. Уже через два-три года мы получили новые интересные результаты, и мои сотрудники, Кира Перевощикова и Сергей Дебов, а за ними и некоторые аспиранты, успешно защитили кандидатские диссертации.

Одновременно на кафедре и частично в ЦОИ мне пришлось продолжать менее интересную работу по диссертационной теме, предложенной мне отцом, ибо давление его было неотступным. Докторскую диссертацию по аминокислотному составу белков злокачественных опухолей нормальных и эмбриональных органов человека я защитил в возрасте 35 лет в 1949 году в 1-м Московском медицинском институте. Один из оппонентов, С.Е. Северин, метко назвал ее «не столько исследованием, сколько обследованием».

Быстро закончить диссертацию мне помогла работа в ЦОИ, поскольку здесь я имел доступ к биопсийному материалу, получаемому на вскрытиях и при операциях. Врачебной аудитории моя диссертация импонировала, и я защитил ее на

Ученом совете 1-го Московского медицинского института даже не без некоторого блеска

Летом 1948 года состоялась памятная сессия Академии сельскохозяйственных наук с докладом Т.Д. Лысенко, одобренным самим Сталиным. Вскоре последовала «павловская» сессия Академии наук, затем яростная борьба с «низкопоклонством» и «космополитизмом», новая волна массового террора и арестов, ссылок и расстрелов. Всякая связь с заграницей преследовалась, было даже запрещено не только печататься за рубежом, но и посылать за границу оттиски научных работ. Даже для чтения научной литературы стали требовать специальное разрешение, в котором указывалось, что литература будет использована «по назначению». В поступающих научных журналах вырезали или вымарывали все материалы, казавшиеся цензорам не соответствующими официальным указаниям.

Повсюду началась дикая кампания по проведению в жизнь политики партии в области биологии, яростная борьба против реакционного «менделизма — вейсманизма — морганизма» и соответственно против любых исследований хромосом и клеточного ядра. Эта кампания, услужливо проводившаяся директором института А.И. Савицким и секретарем парторганизации А.С. Хохловым, коснулась и наших исследований по клеточному ядру, которые малограмотное начальство конъюнктурно объявило «морганистскими», и их пришлось заморозить или вести исподтишка.

К счастью, наиболее интересные результаты наших работ уже успели появиться в журналах «Биохимия» и «Доклады Академии наук СССР». Хотя они были опубликованы только на русском языке в советских журналах и связь с заграницей в то время была минимальной, они привлекли внимание международной научной общественности, и я получал десятки запросов относительно оттисков. Зная общую ситуацию и все нарастающую свистопляску борьбы с «низкопоклонством» и «космополитизмом», я с болью в сердце выбрасывал эти свидетельства наших успехов в мусорный ящик.

Мой молодой сотрудник С.С. Дебов, получив запрос от известного японского ученого Сибатани, стал настаивать на от-

правке оттиска в Японию. После того как я сказал ему, что это невозможно, он все-таки отправился за разрешением в Министерство здравоохранения СССР. Через несколько часов, к концу рабочего дня, Дебов вернулся крайне расстроенный. Он рассказал, что, придя в отдел внешних сношений министерства, он ни с кем не смог поговорить на эту тему, так как каждый чиновник направлял его в другой кабинет, пока он наконец не дошел до начальника отдела. Последний взял открытку, повертел ее в руках и долго расспрашивал о том, кто такой Сибатани, какие у него политические взгляды, как он относится к Советскому Союзу... На эти вопросы Сергей Сергеевич ответить, конечно, не смог. Начальник укоризненно заявил, что этим следовало бы поинтересоваться в первую очередь. Видя растерянность и виноватое выражение лица Сергея Сергеевича, он пристально посмотрел на него пронизательным, сверлящим взглядом и сказал: «Ну, если вы очень хотите послать оттиск, — он сделал ударение на слове «очень», — то напишите подробное обоснование на имя министра, указав, кто такой ваш адресат, и обосновав причины, по которым вы ходатайствуете о присылке ему оттиска. Тогда мы рассмотрим ваше заявление». Естественно, что после такой проработки оттиск послан не был и открытку с запросом постигла та же участь, что и все предыдущие.

В этот период сняли с должности заместителя директора по науке, профессора А.Г. Андреса, сменившего на этом посту И.М. Неймана. Андрес был обвинен в «менделизме — вейсманизме — морганизме» за то, что в какой-то давней статье он описал особенность одной из хромосом у японцев, то есть «пытался научно обосновать расизм».

Свистопляска и «поиски ведьм» все более разрастались и принимали нескрываемый, хотя и не объявленный официально, антисемитский характер. Особенно усердствовал секретарь парторганизации института А.С. Хохлов, терроризировавший весь институт, придираясь по любому поводу, лишь бы проявить «большевистскую бдительность». В этих условиях приходилось все силы уделять главным образом тому, как бы не поддаться на ту или иную провокацию, и тщательно обдумывать каждый шаг с этой точки зрения. Нечего и гово-

рить, что работа от этого страдала, но это никого не интересовало.

В такой обстановке, после снятия Андреса, Савицкий предложил мне занять пост заместителя директора по науке, но я благоразумно отказался, отлично понимая, что на этом посту ко мне будет еще легче подкопаться. Савицкого на посту директора скоро заменили А.Н. Новиковым и оставили в должности научного руководителя. Савицкий ничего не понимал в экспериментальной науке. Он отличался также чрезмерной мелочностью, скупостью и подозрительностью. Тем не менее он был хорошим хирургом и имел авторитет опытного онколога. Новый директор, бывший тюремный врач, был туп и совершенно некомпетентен ни в науке, ни в медицине. В нашу лабораторию за несколько лет он зашел только один раз с целью посмотреть, нельзя ли в этом помещении разместить бельевую.

Министром здравоохранения стал Ефим Иванович Смирнов, бывший начальник санитарного управления армии, привыкший к неуклонному выполнению приказов начальства. Несколько таких приказов и инструкций характеризуют этот период.

В одном из них сообщалось, что такого-то числа такого-то месяца текущего года в Институт гематологии и переливания крови явился иностранный подданный и попросил пропустить его к заместителю директора, профессору Николаю Александровичу Федорову. Вахтер такая-то позвонила Федорову по телефону и, несмотря на его указание пропустить, задержала посетителя в вестибюле. Тогда Федоров вышел в вестибюль и передал иностранцу два оттиска своих работ, опубликованных в открытой печати. Согласно приказу за отсутствие бдительности Федорова надлежало освободить от занимаемой должности, объявить ему выговор и направить на периферию, а вахтеру объявить благодарность. Подоплека этого инцидента вскоре выяснилась. Оказалось, что один датский ученый, послав несколько запросов на оттиски и не получив на них ответа, уполномочил своего знакомого из посольства зайти к Федорову и попросить у него интересовавшие датчанина научные сообщения.

Другой приказ того же министра касался директора Института вирусологии Академии медицинских наук СССР, академика АМН СССР, профессора Михаила Петровича Чумакова. Его обвиняли в том, что он принял на работу 15 сотрудников, уволенных из других учреждений как не соответствующих «по деловым и политическим качествам». Следовало перечисление их фамилий, из которых только одна звучала как русская, все остальные были еврейскими. Чумаков за это был снят с работы и получил выговор со строгим предупреждением.

Тогда же среди сотрудников института была распространена секретная инструкция по обращению с иностранцами, врученная под расписку всем заведующим отделениями и лабораториями. Я не помню всех параграфов, но выглядели они приблизительно так: пункт 1 — не вступать ни в какие разговоры и отношения с иностранными подданными; пункт 2 — по всем вопросам направлять их в Министерство иностранных дел; пункт 3 — по предложениям, носящим коммерческий характер, направлять в Министерство внешней торговли; пункт 4 — при просьбах оказать медицинскую помощь направлять в Министерство здравоохранения. Остальные пункты были в таком же духе и по любому вопросу следовало «не». Самым примечательным был последний пункт, согласно которому допускалось оказание только срочной медицинской помощи при несчастных случаях. Вероятно, иностранные посольства направляли ноты, когда врачи разбежались во все стороны, видя, что иностранца сбила машина и он нуждается в экстренной помощи.

Тем временем обстановка становилась все более нетерпимой. Сотни людей снимали с работы как «не соответствующих по деловым и политическим качествам», нарастала новая волна массового террора и репрессий.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Г.М. ДИМИТРОВА

2 июля 1949 года в санатории больничного типа «Барвиха» под Москвой умер вождь болгарских коммунистов и видный деятель международного коммунистического движения, бывший глава Коминтерна Георгий Димитров.

В высоких сферах советского и болгарского руководства решено было забальзамировать тело Димитрова, и к нам обратились сразу же после его смерти. В Москве мы проделали предварительные операции, налив через сосуды формалин с различными добавками, а после вскрытия тело его было отправлено — вместе с нами — в Софию.

Нас (моего отца, меня и нашего хозяйственника И.Д. Шестакова) отправили в специальном поезде, везшем правительственную делегацию на похороны Димитрова. Гроб с телом покойного находился в отдельном вагоне, окна которого были затемнены. Было жарко, душно, что усугублялось обилием венков. Мы были без документов; на границах (румынской и болгарской) пограничники и таможенники в поезд не допускались.

Делегацию возглавлял К.Е. Ворошилов; в ее составе был известный марксистский философ, бывший посол в Китае П.Ф. Юдин. В Киеве гроб с телом Димитрова вынесли на перрон. Никита Хрущев, тогда первый секретарь ЦК партии Украины, подошел к гробу и каким-то залихватским, как мне показалось, простонародным жестом сорвал с себя фуражку и наклонился над покойным. Несколько часов мы стояли в Бухаресте, в поезд подседа румынская делегация в составе председателя правительства Петру Грозы, Анны Паукер и министра обороны Боднар-Аша. От них мы слышали рас-

сказ об отречении молодого короля Михая и о том, что он чуть было не вступил в комсомол

Когда мы приехали в Софию, на центральной площади города, к нашему удивлению, уже стоял мавзолей, построенный в течение трех дней по типу московского, с такими же трибунами, но только поменьше и белый.

Через день-два состоялись торжественные похороны Димитрова. На трибунах мавзолея стояли правительственные делегации социалистических стран и вожди коммунистических партий почти всего мира. Морис Торез из Франции, Гарри Поллит из Англии, Луиджи Лонго из Италии и многие другие. После официальных похорон тело Димитрова перенесли в мавзолей.

Вечером того же дня в огромном зале правительственного здания Советом министров Болгарии и Центральным комитетом болгарской компартии был организован торжественный прием. За тремя большими столами сидело человек триста. Принимали Генеральный секретарь ЦК болгарской компартии Вылко Червенков и Председатель Совета министров Югов. Справа от меня сидел брюнет среднего роста, отлично говоривший по-французски. Мы разговорились с ним. Оказалось, что он Генеральный секретарь ЦК бельгийской компартии. Я рассказал ему, что недавно виделся в Москве с известным бельгийским эмбриологом Жаном Браше, приехавшим в Москву с научным визитом. Мне говорили, сказал я, что он член бельгийской компартии. Да, ответил секретарь, он член партии, но не марксист, последние слова он подчеркнул. Почему же, поинтересовался я. «Видите ли, недавно я имел с ним разговор о политике партии в области биологии, и он мне ответил, что должен еще подумать об этом». Надо заметить, что «политика партии в области биологии», то есть «единственно правильная мичуринская биология», прорабатывалась тогда в организациях коммунистических партий всего мира.

Вскоре после торжественных похорон мы переехали в роскошное здание бывшего загородного дворца царя Бориса, где были созданы условия для бальзамирования и ухода за телом. Нас внимательно опекали, изысканно кормили и

ежедневно приносили целую батарею напитков, где было представлено все болгарское виноделие, от сухих вин до коньяка и сливовой ракии. Не имея возможности отведать все это разнообразие, мы ставили напитки в шкаф. Каждый раз, приходя в номер, официант спрашивал, принести ли еще. Не зная языка, мы, желая ответить, что не нужно, отрицательно покачивали головами, тем не менее полный комплект вин приносили снова и снова. Недоразумение это выяснилось позже; оказывается, у болгар, так же как и у турок, наше отрицательное покачивание «нет» понимается как «да» и, напротив, наш кивок «да» означает «нет».

Работать пришлось вдвоем — моему отцу и мне, физически нам помогал Шестаков. Только дней через десять приехали Мардашев, Усков и молодые сотрудники спецлаборатории — Субботин и Брауде.

В первые дни было особенно тяжело: жарко, нет кондиционеров и вентиляции. Задыхаясь от паров формалина, работать приходилось по 10—12 часов ежедневно с большой физической нагрузкой. Лишь после тщательной пропитки мы приступили к отработанной процедуре бальзамирования.

Когда самый тяжелый период работы миновал, у нас появилось время для прогулок в городе и для отдыха. Социализм в Болгарии только начинали строить, и по сравнению с Москвой София выглядела по-европейски: публика была хорошо и модно одета, веселая толпа контрастировала с мрачной серостью нашей столицы, оставалось много частных магазинов, и рынок еще не успел оскудеть.

Через месяц-полтора, после завершения основной части работы, нас с Мардашевым отправили отдохнуть в правительственный санаторий на Черном море «Евксиноград» — также бывший дворец царя Бориса.

Великолепный трехэтажный розоватый дворец возвышался на склоне горы, фасадом к морю. Прибрежная часть моря была защищена от волн длинным пирсом, загибавшимся под прямым углом и ограждавшим спокойную лагуну для купания и прогулок на лодках и байдарках. Недалеко находился торговый порт Варна, который уже успели переименовать в Сталин

В санатории отдыхали высокопоставленные политические деятели не только из Болгарии, но и из других социалистических стран, среди них был бывший болгарский посол в СССР Николов, какие-то важные лица из Польши, Венгрии и ГДР. Языком общения был, хотя и ломаный, но русский, и мы принимали участие в общем разговоре. Беседы были сугубо «дипломатические», например, о качестве болгарских помидоров, курортах разных стран; острые вопросы не затрагивались.

К обеду и ужину подавали всевозможные напитки. На столе стояла мастика — это нечто вроде французской «Анизет», то есть анисовая водка, мутнеющая при разведении ее водой. Когда мастика появилась на столе, Николов рассказал, что во время его работы в Москве к нему пришли полотеры и, увидев надпись на бутылке, принялись хохотать, так как по-русски мастикой называется краска для полов. Тогда он предложил им попробовать эту мастику. Тут его позвали к телефону в другую комнату и, вернувшись через несколько минут, он увидел, что полотеры выпили всю бутылку до дна — «и представьте, даже не разводя водой!» Тут мы с Мардашевым переглянулись, так как только что выпили по рюмке мастики, также не разводя водой.

Как-то во время нашего пребывания в санатории была организована морская прогулка. В ней принял участие советский посол в Болгарии с женой. В пути я разговорился на французском языке с молодым, спортивного вида албанским дипломатом. Проходившая мимо жена советского посла оторвала меня от разговора и спросила, почему я говорю с албанцем по-французски, а не по-русски. Я ответил, что он почти не знает русского языка. На это она возразила: «Говорите с ним по-русски, пусть учится!»

Процесс бальзамирования занял около трех месяцев, после чего тело перенесли в мавзолей и открыли доступ для посетителей. Мы уехали в Москву, оставив в Софии двух молодых сотрудников и научив болгарского профессора анатомии и его помощника процедурам по сохранению трупа.

Болгары хотели щедро заплатить нам за проведенную работу, однако советская сторона пресекла это намерение,

объявив, что советское правительство сделало подарок народу Болгарии. Нам оно, однако, ничего не заплатило.

Теперь под эгидой нашей спецлаборатории был уже не один мавзолей, а два — в Москве и в Софии. Ни моему отцу, ни мне не пришлось снова инспектировать мавзолей в Софии, но сотрудники лаборатории наезжали туда и проводили там необходимые процедуры. Тело Димитрова пролежало в мавзолее чуть более 40 лет. В июле 1990 года его вынесли и захоронили на протестантском кладбище, в могиле родителей.

«ОТКРЫТИЯ» И «НОВАТОРЫ»

Еще когда мы учились в университете, нам втолковывали, что нет науки вообще, а есть наука классовая — буржуазная и пролетарская. Не только общественные знания, но и физика, и химия, и биология суть классовые науки, эти и все науки следует очистить от «меньшевистствующего идеализма» и «механистического материализма», чем и занимались придворные партийные философы. Такой ортодоксальной «единственно правильной» биологической наукой была объявлена «мичуринская биология», о которой сам Мичурин, уже покойный селекционер, понятия не имел. «Мичуринская биология» декретировалась партийным руководством и воплощалась в лице Трофима Денисовича Лысенко.

Т.Д. Лысенко — своего рода Распутин в биологии. Это хитрый, безграмотный мужик, образование которого было ограничено сельскохозяйственным техникумом, умевший воздействовать на какие-то подсознательные рецепторы власти имущих и убеждать их, что именно он «кормит страну» и представляет «советскую науку», а то, что буржуазные ученые не признают его, является главным тому подтверждением. Последнее в особенности было созвучно «борьбе с космополитизмом и низкопоклонством».

Первый взлет Лысенко относится к сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук СССР (ВАСХНИЛ) 1938 года. Тогда, при мощной поддержке властей, ему удалось свергнуть Н.И. Вавилова, талантливого ученого и благородного человека, которого арестовали в августе 1940 года и довели до голодной смерти в тюрьме в январе 1943 года.

Будучи президентом ВАСХНИЛ, Вавилов пригласил на научную сессию Академии в 1938 году молодого селекционера

из Одессы Т.Д. Лысенко, казавшегося ему способным и перспективным. Лысенко выступил с малограмотным докладом, в котором он отвергал современные достижения генетики в области хромосомной наследственности, передаваемой генами, и утверждал, что природа и свойства растений и вообще живых существ зависят только от внешней среды. Он настоятельно рекламировал изменение природы растений воздействием на них извне и не признавал значения наследственности, утверждал бесперспективность генетического отбора и предлагал способы воздействия на растения, якобы резко повышающие их урожайность, как, например, яровизация семян пшеницы, квадратно-кустовой посев, лесозащитные полосы и т.п. По существу, эти предложения или не содержали ничего нового, или были бесполезны. Несмотря на критику его воззрений авторитетными учеными, Лысенко нашел поддержку партийного руководства и был официально признан корифеем науки. Под давлением властей он стал действительным членом Сельскохозяйственной академии, ее президентом и академиком Академии наук СССР. В действительности насильно декларируемые установки Лысенко не имели никаких научных основ, что нисколько не смущало партийное руководство.

Во время войны, по-видимому, было не до Лысенко, он как бы сошел со сцены и настоящая наука как-то пробивалась, но в 1948 году его снова возвели на трон, задавили с его помощью современную биологию и свободное выражение научных воззрений, и многих честных ученых подвергли репрессиям.

«Литературная газета» опубликовала безграмотную статью Лысенко, в которой он отрицал внутривидовую борьбу за существование на основании того, что «заяц зайца не ест, а волк зайца ест». Эта статья, не имеющая ничего общего с установленными наукой закономерностями, вызвала возмущение научной общественности. Отклики многих ученых ясно показывали, что это «бред сивой кобылы». Однако, несмотря на то что итог дискуссии был совершенно ясен и бред Лысенко потерпел поражение, «Литературная газета» выступила с заключением, согласно которому точка зрения Лысенко победила. Это еще более возмутило специалистов, биологи Московского университета настояли на открытой дискуссии по вопросу о

внутривидовой борьбе за существование Декан факультета С.Д. Юдинцев, получив разрешение начальника отдела науки ЦК КПСС Юрия Жданова (зятя Сталина), открыл эту дискуссию. Следует отметить, что отец Юрия Жданова, Андрей Жданов, член Политбюро, ведал вопросами идеологии.

Ни Лысенко, ни кто-либо из его прихвостней не удостоили заседание своим присутствием, и дискуссия вылилась в единодушное осуждение бредовых идей новоявленного «корифея науки». Вслед за этим собранием декан был освобожден от должности, а участники совещания подверглись суровому осуждению. В официальном органе партии, газете «Правда», появилось покаянное письмо Юрия Жданова, а Жданов-старший в эти дни умер от инфаркта

Летом 1948 года партийно-правительственным решением в состав Сельскохозяйственной академии ввели многих сторонников Лысенко, и таким образом они составили большинство академиков, а с 30 июля по 7 августа того же года созвали сессию этой академии, произведшую своего рода переворот в науке. Сессия открылась докладом Президента академии Т.Д. Лысенко на тему «О положении в биологической науке» и была посвящена только этому вопросу

Лысенко разнес реакционный «менделизм — вейсманнизм — морганизм» и превознес «единственно правильную мичуринскую биологию». Речь его была не похожа на научный доклад и мало отличалась от идеологической пропаганды. На малейшие возражения он отвечал, что его доклад одобрен товарищем Сталиным, следовательно, «мичуринская биология» не подвергается критике и должна рассматриваться как политика партии в области биологии.

Настоящие ученые, поддерживающие «формальную генетику», были сняты со своих постов и оставлены без работы, а многие из них репрессированы и сосланы. «Мичуринская биология» как политика партии изучалась во всех первичных организациях не только Советского Союза, но и зарубежных коммунистических партий, презренный «менделизм — вейсманнизм — морганизм» подвергся уничтожающей критике и стал ругательством. Великие ученые — основатели современной генетики — чех Грегор Мендель (1833—1884), не-

мец Август Вейсман (1834—1914) и американец Томас Морган (1866—1945) перевернулись бы в гробу, узнав, что их имена используются как брань. Все это мракобесие вызвало протесты мировой научной общественности, и многие представители интеллигенции зарубежных стран в знак протеста вышли из коммунистических партий, в которых они состояли.

После смерти Сталина о Лысенко ненадолго забыли и стали его понемногу критиковать. В печати, даже в «Правде», появились статьи, разоблачавшие безграмотные, а зачастую и недобросовестные публикации «корифея науки» и его сторонников. Рассказывали, что на пленуме Центрального комитета партии, когда на него по традиции пригласили Лысенко, Хрущев сказал, что его радует, когда колхозник говорит как ученый, но он не может понять, когда академик не может связать двух слов подобно малограмотному мужику. Казалось, звезда Лысенко угасла навеки. Но не тут-то было, через год-два она снова воссияла и стала господствовать, а научная биология замалчивалась и преследовалась.

Безграмотность Лысенко была очевидна всем и прикрывалась лишь его недобросовестными клеветами с дипломами о высшем образовании, такими, как Презент, Глущенко и другие. Характерен случай, рассказанный мне академиком А.Н. Белозерским. Как-то после первых публикаций по нуклеотидному коду и заявления президента Кеннеди о том, что русские отстали от американцев в биологии на много лет, Лысенко попросил Белозерского прочесть лекцию о нуклеиновых кислотах. После лекции в Институте генетики, возглавляемом Лысенко, все присутствующие молчали в ожидании того, что скажет «сам». «Сам» после некоторой паузы сказал: «Ну что же, если химики говорят, что нуклеиновые кислоты существуют, значит, они есть, пусть они их и изучают. Кстати, Андрей Николаевич, покажите мне эту, как ее, дезоксирибонуклеиновую кислоту». Белозерский ответил: «Приходите ко мне в лабораторию, я вам все покажу и расскажу». — «Нет, вы мне ее в банке пришлите», — потребовал Лысенко.

Вскоре А.Н. Белозерский прислал к Лысенко сотрудницу с пробиркой, содержащей ДНК. Секретарша доложила шефу, и

лаборантка была милостиво принята. Когда она вручила академику пробирку, тот недоверчиво повертел ее в руках и спросил: «Так что же, это она и есть — эта самая дезоксирибонуклеиновая кислота?» (Это слово, хорошо знакомое каждому биологу, он произнес с затруднением, запинаясь.) — «Конечно, это она и есть». — «Так почему же она не жидкая?!»

Мне приходилось слушать Лысенко дважды. Первый раз меня вытащил из-за стола мой двенадцатилетний сын с криком: «Папа, посмотри, что это за сумасшедший говорит по телевизору?» Выступал Лысенко, его бессвязная, хрипящая, истерическая речь напомнила мне голос Гитлера, который я слышал по радио перед войной. Второй раз это было на заседании Совета по молекулярной биологии, членом которого я был, созданного в 1962 году после бума по случаю открытия нуклеотидного кода. Докладывал председатель Совета, академик В.А. Энгельгардт. Спокойно, в академических тонах, не задевая никого персонально, он рассказал о новых сенсационных открытиях и необходимости тщательно изучать нуклеиновые кислоты и молекулярную биологию. Председательствующий, Президент Академии наук М.В. Келдыш, предложил задавать вопросы и высказываться. Лысенко молчал. Несколько выступавших подчеркнули важность этого направления и сетовали на то, что у нас в науке и в преподавании не уделялось ему достаточного внимания. Затем раздраженно и эмоционально выступил химик академик И.Л. Кнунянц: «Беру энциклопедию и читаю: «ген — мифическое понятие». Подумайте — «мифическое»!.. У нас совсем забыли науку, чему учат в школе — дарвинизму и всякой чепухе...» Тут поднимает руку Лысенко и хрипло говорит: «Товарищи, я считаю, что сегодня у нас историческое заседание, и необходимо, чтобы о нем поместили стенографический отчет в центральных газетах». Келдыш возразил ему: «Трофим Денисович, здесь присутствуют представители прессы, и они напишут все, что необходимо». «Нет! — уже возвысив голос, проговорил Лысенко, — необходим именно *стенографический* отчет» Слово «стенографический» он акцентировал.

Выходя, я столкнулся со знакомой сотрудницей редакции

«Вестника Академии наук СССР». Она остановила меня и спросила: «Вы поняли?» — «Что?» — «Как что? Лысенко». По глупости своей я не понял «Как же, — объяснила она мне, — в газетах напишут, что дарвинизм — это чепуха. Он так всю Академию наук разгонит!»

В связи с Лысенко уместно рассказать и о других «новаторах». При поощрении и поддержке высокого начальства их развелось великое множество. Всем известна Ольга Борисовна Лепешинская. В мои студенческие годы эта пожилая женщина выглядела типичным партийным работником, носила значок «Готов к труду и обороне», выдаваемый за спортивные достижения. Она прославилась своими неподтвердившимися и научно не обоснованными высказываниями, согласно которым жизнь возникает из желточных шаров и проявляется не в структурах организма, а в «живом веществе». В основе ее «учения», отрицавшего клеточную теорию, лежала не научная объективность, а идеологическая убежденность, подкрепляемая поддержкой Сталина. Вместе с тем она была не шарлатаном, как многие другие «новаторы», а скорее честным фанатиком и приверженцем партийности в науке.

Так как мой интерес к клеточному ядру трактовали как проявление презренного «менделизма — вейсманизма — морганизма», мне пришлось обезопасить себя и свои занятия наукой. Из-за этого я обратился к Лепешинской, изобразив изучение биохимии клеточного ядра как исследование «живого вещества». Ольга Борисовна любезно приняла меня и не отказалась поддержать, тем более что я польстил ей тем, что учился в школе-коммуне Наркомпроса имени Лепешинского. Она жила в просторной квартире в «доме на набережной», там помещалась и ее лаборатория, в которой работали ее дочь и зять, Крюков. В этой огромной квартире с ней жила и ее приемная дочь, татарка Биби-Сара, учившаяся ранее в нашей школе. К сожалению, эта деятельная старушка Ольга Борисовна Лепешинская, энергия которой могла бы найти лучшее применение, немало повредила отечественной науке, но ее вмешательство хотя бы не приводило к арестам и репрессиям, как это было в отношении ученых, не согласных с Лысенко.

Еще более сенсационными были «открытия» некоего Бо-

шьяна, который возродил теорию самозарождения жизни и наблюдал под микроскопом образование микробов из кристаллов. Еще больше такого рода «открытий» появлялось в области лечения и диагностики рака. Эта, тогда загадочная, область, как, впрочем, в некоторой степени и вся медицина, привлекала внимание многих «самородков».

«Политика партии в области биологии» распространялась и на другие науки. Труднее всего было с физикой и математикой. От физиков зависело создание атомной бомбы. Исследования атомного ядра, некогда забракованные Сталиным как не имеющие отношения к задачам социалистического строительства, стали почетными и приоритетными. Партийной идеологии пришлось отступить перед напором физиков. В химии пытались опорочить теорию резонанса и предать анафеме выдающихся отечественных ученых «неарийского» происхождения, занимающихся теорией строения молекул, Якова Кивовича Сыркина и Мирру Ефимовну Дяткину. Это, однако, имело небольшой успех, поскольку точные науки, связанные с физикой, охают труднее, чем, скажем, биологию.

Более тяжелая судьба постигла физиологию. Партийные идеологи сочли единственно правильным учением «павловскую физиологию», как отвечающую диалектическому материализму, и, используя имя покойного Ивана Петровича Павлова, Центральный комитет партии организовал в июне 1950 года Объединенную сессию Академии наук и Академии медицинских наук СССР для того, чтобы опорочить другие течения и свободную мысль в этой области науки. Уничтожающей критике, как отступивших от догм Павлова, подвергли учеников этого великого физиолога — Л.А. Орбели и П.К. Анохина, а также И.С. Бериташвили. В роли идеолога, своего рода Лысенко, выступил «последовательный ученик» Павлова К.М. Быков, поддержанный И.П. Разенковым и Э.Ш. Айрапетьянцем. Хотя эта сессия и не повлекла за собой арестов, многие ученые лишились своих мест и тяжело страдали под огнем обрушившейся на них критики.

Следует отметить, что сам Павлов отнюдь не сочувствовал большевикам и никак не принимал их идеологии. В датиро-

ванном 1919 годом письме П. И. Карузину, сохранившемся у моей жены, он писал, что совсем лишился возможности работать и влачит жалкое существование, превратившись в «кухонного мужика» — колет дрова, топит печь, с трудом достает картошку и т.п. Он продолжал верить в Бога и длительное время был старостой церкви. Существует даже легенда: прогрессивный рабочий, видя, как старичок (а это был Павлов) крестится перед церковью, удрученно замечает: «Эх, темнота наша!»

Павлову, однако, все прощалось, слишком он был известен и в России, и за границей. Так, в начале 20-х годов его задержали при попытке перейти финляндскую границу и хотели немедленно репрессировать, но, узнав, что это Павлов, доложили Ленину. Последний вызвал Павлова и спросил о причинах такой попытки. Павлов ответил, что лишен возможности работать, а так как наука интернациональна, решил попытаться устроиться за границей. За этим последовал указ Центрального исполнительного комитета о создании для академика Павлова условий работы. А в 1927 году на Международном физиологическом конгрессе в Стокгольме корреспондент спросил его о положении науки в СССР. Павлов ответил, что не о чем и говорить, нет даже бумаги, чтобы писать научные работы. Разумеется, никому другому, кроме Павлова, такое бы с рук не сошло.

Вскоре после войны, когда еще не остыл дух сотрудничества с Западом, большой шум произвел противораковый препарат «КР», предложенный гистологом Григорием Роскиным и микробиологом Ниной Ключевой.

Профессор Григорий Иосифович Роскин заведовал кафедрой гистологии в Московском университете и, когда я учился там, читал у нас лекции. После войны он работал в Центральном онкологическом институте, где я снова встретился с ним. Г.И. Роскин недавно женился на Н.Г. Ключевой, женщине, известной многочисленными романами; это был, конечно, не первый брак для них обоих. До войны Роскин обнаружил, что в экспериментальных опухолях мышей накапливаются южноамериканские простейшие вида *Trypanosoma cruzi*. В связи с появившимися в то время антибиотиками предприимчивой

Клюевой пришла идея выделить из этих трипаносом противораковый антибиотик.

Через некоторое, довольно короткое время эта супружеская пара сделала доклад на Президиуме Академии медицинских наук, сообщив, что полученный ими препарат из трипаносом неизменно вызывал рассасывание экспериментальных опухолей у мышей. Этим заинтересовались журналисты, и в журнале «Огонек» появилась хвалебная статья о больших достижениях советской науки с портретами Клюевой и Роскина.

К препарату «КР» (вероятно, сокращенное «Клюева—Роскин»), хотя впоследствии они утверждали, что это значит «канцеролитическая реакция») живой интерес проявили американцы. И посол США, Уолтер Беддел Смит, бывший начальник штаба союзных войск в годы Второй мировой войны, явился к Клюевой с предложением о совместной разработке этой проблемы, поскольку в борьбе против рака заинтересовано все человечество. Ошеломленная Клюева, зная наши порядки, сейчас же обратилась к ректору Института усовершенствования врачей, где она работала, и в Министерство здравоохранения и с их разрешения, скрывая убожество своей кафедры, приняла посла в кабинете ректора.

Далее незамедлительно поступил запрос в Министерство здравоохранения СССР и в Центральный комитет партии, как быть в данном случае. Министр, запросив ЦК и получив, как всегда, только устное одобрение, стал готовить соглашение о совместных исследованиях с США. Оставалось только утвердить соглашение и приступить к работе. Однако, когда дело дошло до Сталина, вождь возмутился как это наши достижения отдают американцам! В результате чего министра освободили от должности, а начальника противоракового отдела министерства и его сотрудников, занятых подготовкой соглашения, арестовали. Ученого секретаря Академии медицинских наук В.В. Парина, отвезшего в США книгу Роскина и Клюевой «Биотерапия опухолей», репрессировали и приговорили как американского шпиона к пятнадцатилетнему тюремному заключению.

За сим последовал «суд чести». В отсутствии бдительности и патриотизма обвиняли Митерева и Роскина, Клюева по-

чему-то, вероятно, как более «патриотичная», не присутствовала на этой инсценировке. Характерная деталь среди всего прочего Роскина обвиняли в том, что он принял в подарок от иностранца самопишущую ручку.

Но дело отнюдь не кончилось позорной инсценировкой «суда чести». На всю науку был наведен переполох и ужас. Все работы по раку были засекречены и находились отныне на особом учете. Был издан указ, согласно которому нельзя было делать публикации или доклады об исследованиях, которые *не полностью завершены*. Так как неясно, что значит «не полностью», это вызвало панику, и многие уже назначенные научные заседания и совещания были сорваны.

Далее Ключева, одна, в отсутствие Роскина, вероятно, как менее подверженная космополитизму, сделала доклад на заседании Политбюро, вследствие чего для нее был создан новый, особый, засекреченный, закрытый, тщательно охраняемый вооруженной охраной институт, и целому ряду министерств дали задание обеспечить его современной аппаратурой и реактивами. Со временем из-за отсутствия результатов этот институт был закрыт и на его базе организован Академический институт онкологии.

Тем временем партийное руководство обратило внимание на исследования по проблеме рака, а заодно и на тех, кто этим занимался. При Министерстве здравоохранения и Академии медицинских наук было созвано специальное совещание по достижениям в изучении рака. Я не удостоился быть приглашенным на это заседание, но там был мой отец. Он рассказывал. «Представь себе, Зильбер заявил, что проблема рака решена! Очень важно, что он имел в виду?» — «Блеф, — ответил я, — ничего доказанного у него нет». Отец не поверил мне, он считал, что, несомненно, «у Зильбера что-то есть».

В 1949 году я защитил докторскую диссертацию. Слово «опухоль» в автореферате оказалось препятствием для его публикации. Для этого потребовалось специальное разрешение, из-за которого проректору 1-го Московского медицинского института, профессору П. Д. Горизонтову пришлось обратиться в Министерство здравоохранения СССР.

Атмосфера «поддержки новаторства», когда ЦК партии

всячески поощрял не выдерживающие научной критики, а нередко и откровенно шарлатанские предложения, вызвала к жизни целый поток многочисленных «открытий», которые, по указанию свыше, приходилось рассматривать, а иногда и проверять Ажиотаж вокруг изучения рака, сложность и неясность этой проблемы особенно стимулировали активность в этом направлении Работая в Онкологическом институте, я получал на отзыв многочисленные предложения по терапии и диагностике рака Рак предлагали лечить клюквой, березовыми грибами, почками растений — всего не упомнишь

Однажды к директору нашего института профессору А И Савицкому явился очередной «новатор» и обратился с просьбой апробировать его метод лечения, заключавшийся в одевании больных в радиоактивное белье Директор, естественно, не согласился с гостем и бесцеремонно выпроводил его После этого Савицкий был вызван в Министерство здравоохранения и, получив там взбучку, разыскал «новатора» и униженно просил его испытать этот метод в клинике института Предложений такого рода было немало, и трудно оценить, сколько они принесли вреда и сколько времени затратили на них серьезные ученые

Среди множества необоснованных, малограмотных предложений, как правило, засекреченных, некоторые выглядели наукообразно Так, однажды мне пришлось разговаривать с неким Качуриным, который, оказывается, что-то читал по раку и на основании того, что при нем усилен гликолиз, предлагал лечить рак веществом, подавляющим обмен углеводов — семикарбазидом Если не ошибаюсь, этот самый Качурин имел обширную клиентуру и при поддержке свыше лечил множество пациентов — правда, уже чем-то другим Проверка его методов в лечебных учреждениях привела к негативным результатам, и Академия медицинских наук дала резко отрицательный отзыв По этому поводу разгорелись споры, и в «Правде» было опубликовано несколько писем видных генералов и других далеких от медицины людей с возмущением против «преследования» Качурина и с подтверждением прекрасных результатов его лечения Помню, что в числе этих писем было послание писательницы Ванды Василевской

На следующий день появилось мотивированное отрицательное заключение Академии медицинских наук на двух страницах газеты, подписанное ее президентом Н Н Блохиным. Последовало письмо ЦК, где (кажется, впервые) было сказано, что ЦК доверяет ученым и не считает себя вправе вмешиваться в заключение Академии.

Среди этого потока вспоминается способ диагностики рака, заявленный кристаллографом, членом-корреспондентом Академии наук СССР Бокием. Этот ученый, далекий от медицины и биологии, с помощью поляриметра нашел, что у десяти больных раком угол вращения плоскости поляризации сыворотки крови был иным, чем у десяти нормальных доноров. На этом основании он предложил диагностировать рак. Получив под грифом «секретно» это предложение, одобренное Ученым советом Института кристаллографии⁽¹⁾, я дал отрицательный отзыв, поскольку в крови имеется множество оптически активных компонентов, концентрация которых постоянно меняется в зависимости от различных причин, позже я узнал, что такой же отзыв написал и мой отец. Тем не менее метод был испытан в клиниках и якобы дал блестящие результаты. Позже в Центральном онкологическом институте, где я работал, было созвано секретное совещание, на котором несколько клиницистов утверждали, что этим методом они успешно диагностировали рак. Несмотря на мои возражения, совещание пришло к заключению, что метод хорош, но имеющиеся поляриметры с точностью до $0,1^\circ$ недостаточны и необходима более высокая точность — до $0,01^\circ$. Поскольку такие поляриметры производились только голландской фирмой «Хенш и Шмидт», нескольким министерствам было дано задание изготовить их в нашей стране. Однако со временем наконец выяснилось, что сам метод не дает никаких результатов.

Не менее любопытен другой случай. В нашем институте работала Анастасия Павловна Потоцкая, родственница Александра Евсеевича Браунштейна и жена известного артиста Еврейского театра Соломона Михоэлса. До этого она работала у А Г Гурвича, но поссорилась с ним и ушла. В институте она предложила метод диагностики рака по митогенетическому излучению. Метод заключался в том, что в пробирку наливали

1 миллилитр децинормальной соляной кислоты, на пробирку помещали кварцевое стекло, а на стекло — каплю крови. По данным Потоцкой, если кровь была нормальной, то под действием митогенетических лучей титр кислоты менялся. Если кровь была раковой — благодаря «тушителю» титр оставался прежним. Теоретически это было совершенно необъяснимо, но, зная, что она родственница А.Е. Браунштейна, я решил сказать Александру Евсеевичу, которого очень уважал как выдающегося и чрезвычайно эрудированного ученого, что не понимаю, на чем основан метод Потоцкой. К моей радости, Браунштейн ответил: «Вы думаете, что я понимаю?»

Однажды Анастасия Павловна пришла ко мне и попросила помочь двум ее сотрудницам титровать кислоту. Когда я увидел, как они титруют, я пришел в ужас. Титрованный раствор щелочи приливался из микробюретки струей до изменения цвета индикатора и, следовательно, результат был произвольным и не имел никакого отношения к определению титра.

Можно привести еще немало примеров партийно-государственной поддержки фанатиков-шарлатанов. Трудно учесть, какой материальный и, главное, моральный ущерб они принесли науке в нашей стране. Среди них много шума произвело «открытие» М.И. Волского, согласно которому организмы высших животных якобы способны усваивать азот воздуха.

Не могу не вспомнить в связи с этим еще один занятный случай. Как-то, когда я уже был доктором наук, мне позвонил Степан Михайлов, тот самый, с которым в 1933 году мы путешествовали по побережью Кавказа, после того как нас выслали из Дома отдыха в Геленджике как «классово неполноценных». Он попросил меня переговорить с его другом, ветераном Гражданской и Отечественной войн.

Степана я не видел около 20 лет, он мало изменился и, как выяснилось, сохранил свои авантюристические наклонности и предприимчивость. Друг его, увешанный орденами и медалями, когда мы уединились с ним в кабинете, сказал, что хочет ознакомить меня с предложенным им способом лечения рака и получить мое компетентное заключение о научной обоснованности его метода. В подтверждение посетитель выложил на стол кипу восторженных отзывов вылеченных им больных.

В этих отзывах, часть которых была подписана генералами и другими важными лицами, утверждалось, что он чуть ли не воскресил безнадежных больных, которых отказались лечить светила медицины

В чем же заключался его метод? Оказалось, что он давал больным принимать внутрь соли урана! Я был ошарашен и объяснил ему, что уран является сильным ядом не только ввиду своей радиоактивности, но и как тяжелый металл, и что положительного заключения я ему дать не могу

После того как он вышел, в комнату влетел Степан и воскликнул: «Илья, что ты наделал!» Я сказал Степану то же, что и его другу, — о вреде солей урана, о недопустимости лечения ими и отсутствии какого-либо научного обоснования такого метода. И в ответ услышал: «Ну и что? Дурак! Денег сколько было бы!»

Мне не раз на протяжении всей моей деятельности приходилось встречаться с разными «новаторами». Среди них были просто шарлатаны, выколачивающие большие деньги, но были и заблуждающиеся, в большинстве малообразованные люди, верящие в свои, часто бредовые, идеи. Попадались и явно сумасшедшие фанатики.

Напомню еще один нашумевший случай. Один «новатор», хирург по специальности, настойчиво обращался в Академию наук со своим «открытием» в области физики. Рукопись его многократно получала отрицательные отзывы специалистов. Однажды он зашел в кабинет работника Академии Л.В. Васильева, через которого шла экспертиза, и задержался там дольше обычного, затем вышел и покинул Академию. Когда кто-то из сотрудников заглянул в кабинет Васильева, то увидел потрясающую картину: голова начальника была отсечена и лежала на столе, залитом кровью, тело оставалось в кресле. Операция была проведена вполне профессионально. Именно после этого происшествия в зданиях Академии ввели систему пропусков и поставили милиционеров

НОВАЯ ВОЛНА ТЕРРОРА. АРЕСТ ОТЦА. БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ ЧОЙБАЛСАНА

Конец 40-х — начало 50-х годов ознаменовались новой волной террора и тирании Наряду с повальными арестами преследовалось всякое общение с иностранцами, цитирование иностранной научной литературы рассматривалось как «низкопоклонство», даже возможность читать ее допускалась лишь по специальному разрешению

Главной мишенью теперь были «космополиты», «сионисты», под которыми подразумевали главным образом лиц еврейского происхождения Тучи над нами сгущались, и можно было ожидать самого худшего. Однако отец самоуверенно полагал, что его эта кампания не коснется, что он защищен от нее своим высоким положением. Тем не менее ситуация все более и более усложнялась, и ему не удалось избежать судьбы многих пострадавших в этот тяжелый период

В начале 1952 года у отца был острый приступ желчно-каменной болезни, и его пришлось срочно оперировать Операцию делал А.Н. Бакулев, она прошла успешно, но отец провел еще недели две в Кремлевской больнице

Во время его болезни, в феврале, мне позвонил по телефону начальник лечебно-санитарного управления Кремля профессор П.И. Егоров и сказал, что срочно требуется наша помощь по линии специальной лаборатории Я сообщил ему, что замещает отца профессор С.Р. Мардашев, и позвонил по этому поводу самому Мардашеву, который очень болезненно воспринимал все, что касалось престижа Все вопросы были урегулированы в течение нескольких минут, и через час мы были уже в морге Кремлевской больницы Нас ни о чем не информировали, сказали только, что, вероятно, придется сопроводить тело на дальнейшее расстояние

В отдельной комнате морга на столе лежал труп крупного мужчины с монгольскими чертами лица. Нам не говорили, кто это. Перешептываясь с Мардашевым, мы отбросили версию о том, что это Мао Цзэдун, так как в этом случае непременно присутствовал бы секретарь Сталина Поскребышев.

При нас труп и гроб тщательно обыскали сотрудники НКВД в штатском, затем патологоанатом, вскрыв труп, налил в аорту формалин со спиртом и осмотрел внутренние органы. Оказалось, что все тело покойного было обсеменено метастазами гипернефромы, и удаление первичной опухоли не могло спасти его. Стоявший рядом со мной будущий президент Академии медицинских наук хирург А.Н. Бакулев облегченно вздохнул и вполголоса сказал мне: «Слава Богу, а то я не знал, куда поеду отсюда, — я его оперировал!» Такова была обстановка в эти дни нарастающего террора.

Нам сказали, что нужно будет сопровождать тело в далекие края и бальзамировать его. Лишь в последний момент мы узнали, что это тело монгольского диктатора Чойбалсана и ехать нужно будет в столицу этой страны — Улан-Батор.

В тот же день С.Р. Мардашев, заменявший отца в качестве директора спецлаборатории, издал приказ, согласно которому сопровождать тело Чойбалсана в Улан-Батор и бальзамировать его там должны были Б.Н. Усков, С.С. Дебов и я. Анатом Борис Николаевич Усков лишь в последние годы поступил в спецлабораторию. Недавно начал там работать и мой ученик — Сергей Сергеевич Дебов. И безусловно самым опытным из всех троих был я, поэтому мое недоумение вызвало то, что согласно приказу руководителем группы был назначен Б.Н. Усков. Действительно, как оказалось впоследствии, фактически руководить работой пришлось мне.

До Улан-Батора мы ехали специальным поездом. Улан-Батор в это время почти полностью состоял из юрт, среди которых бродили верблюды. Во всем городе было лишь несколько каменных зданий. Дом правительства с пристроенным к нему мавзолеем, сооруженным при жизни Чойбалсана напротив памятника прежнему вождю — Сухэ-Батору, двухэтажный университет, по своему облику похожий на обычную школу, театр, гостиница, — все это на одной площади,

и несколько поодаль дом, скорее дворец, наследника Чойбалсана — Цеденбала После разрушительной революции, уничтожившей почти все храмы, сохранились только своеобразные деревянные сооружения ламаистского храма и дворца Богдо-гэгэна

Стоял сорокаградусный мороз, но было тихо, безветренно и сухо, и мороз не чувствовался Поражало почти полное отсутствие снега Стоило выглянуть из окна, и можно было подумать, что сейчас разгар лета ярко сияло солнце, и видна была не покрытая снегом земля

Монголы ходили в теплых длинных халатах и нередко садились по естественным надобностям прямо посреди улицы Монголия — буддистская страна, в которой господствует ламаизм, наиболее своеобразная разновидность буддизма, подчиняющаяся Далай-ламе До революции в Монголии насчитывалось около двухсот монастырей, и 40 процентов мужчин были монахами-ламами Однако борьба за уничтожение старого быта проводилась там не менее последовательно, чем у нас, и к 1952 году осталось только два монастыря, из которых один находился в Улан-Баторе

Нам удалось посетить этот монастырь во время богослужения, при входе в храм стояли изваяния двух шидз (львов), части которых были набиты жертвоприношениями В храме висело множество страшных масок За длинным столом перед алтарем сидели по обе стороны монахи-ламы в оранжевых халатах и пели под аккомпанемент звона колокольчиков низкими, рычащими голосами Все это производило устрашающее впечатление

Раза два мы выезжали за город Кругом простирались долины и горы, не было никаких признаков промышленности или земледелия, но повсюду виднелись стада баранов, коз, коров и яков, множество верблюдов Монголы питаются в основном бараниной Все, что плавает или летает, в пищу не употребляется Поэтому страна изобилует рыбой На замерзшей реке мы встретили советского полковника, который из проруби на зимнюю удочку каждые несколько секунд вытаскивал по рыбе Я попросил у него удочку и за несколько минут вытащил не менее двадцати рыбин

За две недели мы сделали все необходимое для сохранения тела на неопределенно долгое время, открывая мавзолеей на небольшие периоды для прощания с покойным

В Улан-Баторе нас кормили продуктами почти исключительно советского происхождения и постоянно доставляли армянский коньяк После окончания первого, самого напряженного этапа работы я был неожиданно вызван к самому Цеденбалу Так как перед этим мы с Дебовым выпили бутылку коньяка, мне стоило немалых усилий собраться с мыслями и не выдать своего состояния

Рядом с Цеденбалом сидел наш советник, который, по-видимому, и решал все основные вопросы Ознакомившись с моим сообщением о бальзамировании и состоянии тела, Цеденбал сказал, что он удовлетворен проделанной нами работой, но что, учитывая сравнительно небольшое население страны (около 1 миллиона в то время), решено тело Чойбалсана замуровать в склепе, служащем усыпальницей Сухэ-Батора, а теперь также и Чойбалсана

На обратном пути из Читы Дебов позвонил в Москву и после разговора сказал мне, что работает комиссия, проверяющая деятельность спецлаборатории Он подчеркнул, что это не простая проверочная комиссия, а особая комиссия Центрального комитета партии Не зная, какие решения вынесет комиссия, я понял, почему начальником группы назначили Ускова и что надвигаются неприятности

Когда мы вернулись в Москву, ситуация накалилась еще больше Мардашев направил меня в командировку в Ленинград, чтобы я заказал на заводе «Красный треугольник» изделия из натурального каучука для ухода за телом Ленина

Поездки в Ленинград почему-то часто были у меня связаны с неприятностями На этот раз, когда я приехал домой ранним ленинградским поездом, бледная и встревоженная жена сказала мне, что ночью арестован мой отец Через день или два Мардашев издал приказ о моем увольнении, поскольку в спецлаборатории я работал по совместительству Основанием послужил соответствующий приказ министра здравоохранения Е И Смирнова Но фактически все или почти все сотрудники спецлаборатории были совместителями, и это формальное

обоснование лишь завуалировало истинную причину, заключавшуюся в аресте отца.

Мы долго не имели никаких сведений о нем — ни свиданий, ни писем, вообще никакой информации. Обстановка жестокого террора и повальных арестов создавала непроницаемую стену между заключенными и оставшимися на относительной воле. Тучи все более сгущались: как правило, родственников заключенных тоже арестовывали, и я все это время ожидал своей очереди и боялся выходить из дома, чувствуя густой туман отчуждения и постоянную слезку.

Отца моего выпустили из тюрьмы 30 декабря 1953 года. Он не получил срока, то есть приговор по его делу не был вынесен, и почти два года он находился под следствием. За ним, а также и за мной еще много лет продолжалась неусыпная слежка МГБ. Несмотря на смерть Сталина и реабилитацию репрессированных, они продолжали находиться под подозрением. Насколько мне известно, прослушивались почти все разговоры и не переставали поступать доносы множества стукачей.

В заключении отец был полностью изолирован и даже не знал о смерти Сталина. Мне он рассказал только, что находился все время в Бутырской тюрьме, восемь месяцев провел в тюремной больнице из-за инфарктов и сердечной слабости, осужден не был и выпущен за отсутствием улик.

Через много лет, когда родственников наконец допустили к информации об арестованных, мне удалось ознакомиться с его делом. Это 8 томов бесконечных допросов и показаний свидетелей. Под протоколами допросов стоят подписи следователей; как мне говорили, в тех случаях, когда подписей две, — имело место физическое воздействие или даже пытки. Так как по закону следствие не должно продолжаться более месяца, оно каждый раз продлевалось, и так в течение более 21 месяца, то есть почти два года.

Обвинений было несколько, прежде всего — что отец немецкий шпион. Среди допросов свидетелей, арестованных в 1937 году, имелись показания, выбитые из И.Э. Саломона, что он сам был немецким шпионом и что мой отец во время совместной с ним поездки в Германию в 1921 году был завер-

бован ранее уехавшим из Москвы немецким капиталистом Вогау, который еще при царском правительстве якобы являлся резидентом немецкой разведки в Москве под прикрытием коммерческой деятельности, и получил от последнего крупную сумму денег. Эту же версию подтвердил находившийся в заключении молодой биохимик Ремезов, ездивший вместе с отцом на физиологический конгресс в Стокгольм.

Другое обвинение — преступная связь со «злейшими врагами народа»: Троцким, Рыковым, Ягодой и Бухариным. Несмотря на то что отец, признавая знакомство с ними, отрицал какие-либо антисоветские разговоры, ему инкриминировалась совместная критика генеральной линии партии и политики Сталина.

Отцу не забыли также его прошлое и обвиняли в том, что он, будучи председателем Елабужского уездного Совета и членом Учредительного собрания от партии эсеров, сохранил антибольшевистские взгляды и враждебное отношение к советской власти. В доказательство приводилась его статья, опубликованная в 1918 году в елабужской газете под заголовком «Письмо к моим избирателям», в которой он, возвратившись с Учредительного собрания, критикует большевиков за разгон этого органа, избранного народом.

В одном из пунктов обвинения фигурировала также опубликованная отцом в «Политиздате» брошюра «Мавзолей Ленина». Хотя эта книжка была выдержана в необходимых тогда тонах преклонения перед гением «великого Сталина» и лояльности «генеральной линии партии», она подверглась суровой критике. Комиссия в составе директора Музея В.И. Ленина, А.П. Косульникова и редактора «Правды» по отделу пропаганды С.М. Попова дала заключение, что книга политически вредная и содержит сведения, не подлежащие опубликованию. Согласно заключению комиссии от 22 сентября 1952 года книга:

«1 Не освещает роли Сталина в 1917 г.

2 Описание бальзамирования в Древнем Египте умаляет величие задачи

3 Сообщает, что Ленин был перегружен работой, то есть что партия не проявляла о нем заботы.

4 Описание болезни и вскрытия тела вредны, так как эти подробности умаляют величие Ленина

5. Фотография на стр. 29 фальсифицирована, и ретушь придает портретное сходство одного лица, стоящего у гроба, с Троцким.

6. Приведенные в книге три отзыва американцев свидетельствуют о преклонении перед авторитетом буржуазной науки.

7. Книга носит печать саморекламы»

Что касается фотографии, она действительно подвергалась ретуши, но сделано это было художником издательства без ведома отца. Кроме того, Троцкий не присутствовал в это время в Москве, а был на лечении в Синопе близ Сухуми.

Наконец, последним обвинением был «еврейский национализм», что якобы проявлялось в разговорах с друзьями и в том, что после смерти Михоэлса Еврейский антифашистский комитет будто бы прочил отца в председатели.

Следует отметить, что тон допросов, резкий и грубый вначале, сменился на более корректный после смерти Сталина. Вскоре обвинение в шпионаже отпало, и под конец осталось только последнее обвинение — в «еврейском национализме». А потом отец был выпущен на свободу «за отсутствием улик». Почти два года тюремного заключения в жестких условиях измотали его последние силы.

В начале октября 1954 года, а именно 7-го числа, он умер во время перерыва между двумя часами лекции. На вскрытии была установлена закупорка левой венечной артерии. Тем не менее, зная повадки «органов», у меня нет полной уверенности в том, что отец умер своей смертью.

Я ездил к заместителю председателя Моссовета и добился разрешения похоронить отца на Новодевичьем кладбище, что было далеко не просто. Мой сводный брат Лева сделал его надгробный бюст

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА И ХРУЩЕВСКАЯ
«ОТТЕПЕЛЬ»

Уровень жизни в стране оставался унижительно нищенским. Заработной платы не хватало на самое необходимое, и, хотя карточки и ордера были отменены, люди донашивали истрепанную одежду и отказывали себе в приличном питании. Жили в тесных коммунальных квартирах, в которых десятилетиями не производилось необходимого ремонта, кругом были грязь и клопы.

Лишь небольшая часть населения имела привилегированные условия. В некоторой степени моя семья принадлежала к этой части. У нас была отдельная трехкомнатная квартира, денег хватало, правда, на самое необходимое. Так как после войны научным работникам, особенно имеющим ученые степени, зарплату повысили в три-четыре раза, ученая братия жила хотя и бедно, но несколько лучше, чем масса служащих и рабочих.

Несмотря на жестокий террор, люди старались что-нибудь урвать с помощью мелкого воровства и спекуляции. Кто тащил с работы, кто перепродавал купленное по дешевке или доставшееся после многочасового стояния в очереди. Очереди — неотъемлемый спутник социализма — выстраивались за всем, они были настолько длинными, что не было видно, что продают, или, как говорили, «дают» Увидев очередь, прежде всего занимали в ней место и лишь затем спрашивали: «Что дают?» В кармане у каждого были плетеные сумочки, получившие название «авоськи», — авось что-нибудь достанется

Пустые полки в магазинах не соответствовали надписям на них «Мясо», «Рыба», «Овощи и фрукты» и т. п. Как-то в вагоне трамвая мальчик лет восьми, читая вывеску на магазине

«Мясо, колбаса, ветчина», спрашивал маму: «Что такое ветчина? Колбаса — я знаю, а что такое ветчина?» Не говорили «купить», «продается», а «достать», «дают», «выбросили». Когда что-либо «выбрасывали», немедленно вырастала очередь, каждый пытался занять ее как можно раньше не из экономии времени, а затем, чтобы и ему досталось.

Эта порочная система порождала изворотливость. Находили пути доставать самое необходимое, знакомясь с продавщицами, подкупая их, перекупая у рабочих, везущих продукты с баз, и т.п. Из-под полы, втридорога, покупали у спекулянтов, которых не так легко удавалось найти. Перепродажа строжайше наказывалась, любая продажа с рук рассматривалась как спекуляция, запрещенная законом.

Особые, полные товаров и продуктов магазины, торгующие на валюту или ее аналог — так называемые «сертификаты», — сменили после войны торгсины. Разница заключалась в том, что до войны в торгсинах за валюту мог покупать каждый, а теперь только иностранцы. Советские граждане, имея валюту, обязаны были декларировать ее происхождение и подтверждать это документами.

В Онкологическом институте начала работать аттестационная комиссия Министерства здравоохранения для отсева всех неугодных начальству работников как не соответствующих «по деловым и политическим качествам». Эта комиссия придирчиво отнеслась ко мне, но все же приняла решение, что я соответствую своей должности. Выходя из кабинета, я услышал, как председатель комиссии сказал: «Вот видите, кадры есть, да не те!» Казалось, опасность миновала, и я смогу дальше влачить свое жалкое существование.

Однако не тут-то было! Через два-три дня меня вызвал начальник отдела кадров Министерства здравоохранения РСФСР Борис Николаевич Казаков, который, сочувственно глядя на меня, сказал: «Я должен освободить вас от работы». Было ясно, что он относится к числу «порядочных людей», то есть таких, которые делают гадости по обязанности и без удовольствия. Я, естественно, спросил, не предоставит ли он мне другую работу; он ответил, что сделать этого не может и вопрос этот способен разрешить только министр.

Во врученном мне приказе значилось, что я уволен как не утвержденный аттестационной комиссией. Видимо, в министерстве изменили первоначальное решение комиссии. Оказаться без работы было катастрофой не только моральной, но и материальной, поскольку никаких сбережений у меня не было. Приходилось обивать пороги министерств в поисках работы, выстаивая в очередях на прием сутки и более.

Сначала я обратился к министру здравоохранения РСФСР и сразу подчеркнул, что согласен на любую работу. Но он тут же заявил, что никакой работы мне предоставить не может. Я все-таки спросил почему, тем более что многие биохимики, уволенные «как не соответствующие по деловым и политическим качествам», получили второстепенную работу на периферии в клинических лабораториях. И услышал объяснение: причина заключается в том, что я не врач. Я заметил, что Пастер, к примеру, тоже не был врачом. Степанов вскипел и закричал: «Вы смеете сравнивать себя с Пастером!» Я возразил, что хотел сказать совсем другое: для того чтобы работать в области экспериментальной биологии, не обязательно быть врачом. Под испепеляющим взглядом министра мне пришлось выйти из кабинета.

Наша приятельница, работавшая в то время в Министерстве здравоохранения СССР, посоветовала мне пойти к заместителю министра по кадрам А.З. Белоусову, намекнув при этом, что Белоусову неплохо было бы дать взятку. К сожалению, средств на это у меня не было, но я рассчитывал на некоторое снисхождение с его стороны, так как играл с ним в теннис, что создавало между нами неофициальные отношения. Приема у Белоусова пришлось ждать почти целый день, и, когда я наконец попал к нему, он узнал и довольно внимательно выслушал меня, но, может быть, потому, что разговор не был «подмазан», сказал, что помочь не может. Ходил я и к министру СССР Третьякову, который ответил, что мне следует обратиться к Белоусову. Пробился и в отделы кадров Министерств просвещения, сельского хозяйства и пищевой промышленности, но всюду получал отказ.

Реакция моих друзей и знакомых на эти события была неоднозначна. Доуниверситетский мой друг Игорь Овчинников

вскоре после ареста отца и моего отчисления из спецлаборатории, ничего не зная о том, что произошло, позвонил мне по телефону и спросил, как мои дела. Когда я рассказал, что у меня неприятности, он переспросил, дома или на работе. Услышав — «На работе», сказал «Это плохо», и сейчас же повесил трубку. Сергей Бычков, который работал в той же лаборатории, просто исчез из поля зрения и прекратил со мной всякие контакты. С другой стороны, Юра Смирнов, Юра Карпов, а также мои сотрудники — Сергей Дебов и Кира Перевощикова — посещали и морально поддерживали меня.

Секретарша отца Кира Михайловна Руссиян вдруг зачастила к нам и довольно прозрачно выспрашивала, где мы бываем, кого видим, с кем встречаемся и т.д. Такое «участие» в нашей судьбе несомненно вызвано было не сочувствием, а совсем другими, вполне понятными причинами. Как только отца освободили, а меня восстановили на работе, посещения ее прекратились.

Неожиданно пришел ко мне мой школьный товарищ Богдан Хачатурянц, с которым я виделся редко, хотя и относился к нему с симпатией. Богдан сразу спросил, в чем я нуждаюсь, предложил мне деньги, сказав, что я могу вернуть их, если со временем буду в состоянии, или не отдавать вовсе, и очень тепло поддержал меня в самую трудную минуту.

Помимо безысходного морального состояния и материальных трудностей меня жестоко мучило прекращение исследовательской работы. Именно к этому времени были получены важные предварительные результаты, но завершить исследование не удалось. Мне казалось, что мои исследовательские труды достойны награды, но меня, напротив, начали третировать и изгнали с работы, а ранее, когда я не видел за собой особых заслуг, награждали орденами и медалями.

Незадолго до моего увольнения с помощью только что появившегося метода электрофореза нам удалось разделить важные белки клеточного ядра — гистоны — на пять фракций. Ранее считалось, что имеется лишь один гистон. Позже уже другие, зарубежные исследователи тоже разделили его на пять фракций, причем изучение каждой фракции составило новую главу в биологии клетки. А меня лишили возмож-

ности завершить эту работу и заявить приоритет отечественной науки.

И в дальнейшем, когда в наших исследованиях были получены важные указания на существование матричной (информационной) рибонуклеиновой кислоты, на существование митохондриальной дезоксирибонуклеиновой кислоты, на неизвестные еще белки цитоскелета, по разным причинам за рубежом нас опередили в этих исследованиях, и возможности быть в этих вопросах первооткрывателями были упущены.

Мои научные статьи, находившиеся в печати, не публиковались, а из статей моих сотрудников и других авторов вычеркивались все ссылки на мои работы. До моего отчисления из Онкологического института я подрабатывал тем, что писал рефераты для реферативного журнала по биологии, но теперь и в этой работе мне отказывали. Мне очень помогла Кира Перовщикова: брала рефераты на свое имя, я их писал, а она подписывала.

Мы с женой пытались как-то обеспечить свое существование тем, что продавали вещи и книги. Характерно, что, когда я принес на продажу в букинистический магазин несколько книг, где авторами были мой отец и я (у меня оказались лишние экземпляры), их не приняли. По-видимому, даже фамилия моя была под запретом.

Как-то в два или три часа ночи раздался настойчивый звонок в дверь. Я приготовился к самому страшному, тем более что именно в это время суток в коммунальной квартире на Арбате в 1937 году арестовали Максима Гуговича Марка и его жену. Я напряг все свои нервы, жена перекрестила меня и открыла дверь. Ситуация оказалась трагикомической. В переднюю ввалился вдрызг пьяный сосед Цыганов, чуть ли не обнял меня и стал настойчиво приглашать нас разделить с ним какое-то торжество. Так как до этого случая он никогда не приходил, я опешил, но от сердца отлегло, и все обошлось благополучно.

Летом 1951 года, то есть за год до этих событий, я лечился в привилегированном санатории «Сосновая роща» в Железноводске. Моя жена в это время отдыхала в санатории в Кисловодске. Естественно, что мы несколько раз ездили друг к дру-

гу. В санатории она познакомилась с одной дамой, которую звали Мария Федоровна.

В Москве Мария Федоровна виделась с нами пару раз, но стала часто бывать у нас после ареста отца. Она призналась Ирине, что работает в МГБ и ей поручено следить за нами. Вероятно, она прониклась к нам симпатией не только потому, что Ирина делала ей дорогие подарки, но и просто желала нам добра, не видя с нашей стороны каких-либо антисоветских действий или разговоров. Она давала немало ценных советов о том, как надо вести себя и чего опасаться в этой сложной и непредсказуемой обстановке. Поскольку мы не чувствовали за собой никакой вины, ничто не мешало нам быть откровенными с ней.

В сентябре 1952 года у нас родился второй сын, Дмитрий. Старший сын, пятилетний Алеша, оставался на даче в Удомле с верной нашей домработницей Зоей. Мне пришлось съездить за ними на поезде, чтобы привезти их домой в Москву. Как только мы вернулись, от жены я узнал, что в мое отсутствие меня срочно вызывали в МГБ и велели немедленно явиться по приезду.

Когда я прибыл на Лубянку, меня допрашивали два офицера, кажется, майор и старший лейтенант. Прежде всего, они выразили удивление, почему я не вернулся с дачи немедленно, и отнеслись с сомнением, когда я сказал им, что на даче у меня нет телефона. Затем стали выяснять, был ли у меня пистолет в Тюмени. Я совершенно забыл, что там нам выдали пистолеты, так как в лесу ходить было небезопасно — встречались дезертиры, — и с ходу ответил, что оружия у меня нет. Они заявили, что им доподлинно известно — пистолет был, и потребовали, чтобы я рассказал, как его получил, какой он марки и каков его заводской номер.

Я вспомнил, что, действительно, отец мне и Мардашеву выдал по пистолету, у меня был маузер, заводского номера не помню. К последнему заявлению майор отнесся недоверчиво, сказав, что этого не может быть, так как сам он помнит номера всех пистолетов, которые когда-либо у него были. Далее они оба с пристрастием стали допрашивать меня, куда я дел этот пистолет, и предупредили, что за ложный ответ я буду нести

уголовную ответственность Я сказал правду, что перед отъездом из Тюмени мы с Мардашевым сдали пистолеты в горотдел НКВД старшему лейтенанту Драчеву. Они снова не поверили и спросили, не дал ли я пистолет отцу. Мне пришлось повторить, что я сдал его Драчеву. Тут майор подхватил меня под руку, быстро подвел к столу и, наклонившись ко мне, уже дружеским тоном спросил, не выкинул ли я пистолет, например, куда-нибудь в кусты или в реку. Вероятно, в столе находился магнитофон. Затем они задали мне несколько вопросов о моих отношениях с отцом. Я сказал, что работал под его руководством, относился к нему с доверием, поскольку не замечал с его стороны никаких антипартийных или антисоветских действий или высказываний, и не могу понять, в чем он провинился. На мой вопрос был дан исчерпывающий ответ: «Он *очень сильно* провинился». К счастью, меня отпустили домой и больше на Лубянку не вызывали.

Все это время после ареста отца я постоянно ждал, что заберут и меня. Не имея работы и средств к существованию, находясь в изоляции от общества, я тяжело переживал ситуацию, боясь выходить из дома и прислушиваясь к каждому шороху. Хотя я пережил тогда тяжелейший период моей жизни, я все-таки избежал самой страшной участи.

Через сорок с лишним лет ко мне обратился один историк для консультации по вопросам, связанным с сохранением тела Ленина. В разговоре он сказал мне, что знакомился с материалами Президентского архива, куда я не имел доступа, и что там есть кое-что про меня. «Что же?» — спросил я. Оказалось, докладная записка министра внутренних дел Абакумова от 1949 года с предложением арестовать Збарского Бориса Ильича и Збарского Илью Борисовича за контрреволюционные разговоры. На записке рукой Сталина написано: «Без надежной замены товарищей из лаборатории трогать нельзя».

Меня, однако, отчислили из спецлаборатории и из группы, сохраняющей тело Ленина, следовательно, считали, что замена уже есть. Но все же я избежал ареста и, вероятно, именно ему, самому Сталину, обязан тем, что остался жив. Наверное, поэтому и отца арестовали только в 1952 году.

В начале марта 1953 года появилось сообщение о болезни

Сталина. Наконец 5 марта объявили о его смерти. Народ был запуган и выдрессирован до такой степени, что многие плакали, и нескончаемые людские потоки шли прощаться с вождем. Создавалось впечатление, что страна осиротела. Масса одуряченных людей не могла представить себе, как же мы будем жить без «отца родного», товарища Сталина. Все высыпали на улицу, и мы с женой дошли до Трубной площади — там негде было яблоку упасть, и все новые толпы напирала с Рождественского, Цветного и Петровского бульваров.

Грудь мне сдавило и стало тяжело дышать. Почувствовав, что на улице оставаться опасно, мы с большим трудом пробились на Цветной бульвар и добрались до дома. Вероятно, нам очень повезло, так как именно на Трубной площади, находящейся в котловине и к тому же на пути одного из главных потоков к Дому Союзов, где лежало тело Сталина, было особенно много жертв. Сотни людей и даже несколько лошадей конной милиции были задавлены насмерть. Не только живой, но и мертвый Сталин стал виновником многочисленных смертей и увечий.

Находясь в безвыходном положении и без средств к существованию, я решил предложить свои услуги для бальзамирования тела Сталина, написал соответствующее письмо в ЦК КПСС и отнес его на Старую площадь. Письмо было написано в обязательном для того времени стиле беззаветной преданности партии и правительству и обожания горячо любимого вождя. Никакого ответа я, конечно, не получил.

Через некоторое время «коллективное руководство» несколько облегчило режим, и кое-кого стали восстанавливать на работе. Через нашу знакомую, работавшую в Министерстве здравоохранения СССР, мы получили секретные сведения о том, что есть решение восстановить на работе и меня. Я опять решил отправиться к Белоусову. Но когда наконец попал к нему, ничего обнадеживающего не услышал — вероятно, все-таки нужно было «подмазать». Только месяца два спустя меня восстановили в прежней должности.

Обстановка изменялась крайне медленно, все еще продолжалась возмутительная слезка и давление со стороны МГБ

Про меня распространяли всяческую клевету, например, что я — горький пьяница, имею взыскания за бытовое разложение и т.п. Клевета могла исходить и от МГБ, и от моей мачехи.

В 1954—1955 годах я получил несколько предложений о дальнейшей работе. Освободилось место заведующего биохимической лабораторией в закрытом Институте биофизики Министерства здравоохранения СССР, и директор этого института А.В. Лебединский предложил мне подать документы на конкурс. Претендовали на это место, кроме меня, еще три человека: Окунев, Покровский и Демин. Двух последних я знал хорошо, дружил с ними, а с Деминым много лет работал вместе на кафедре 1-го Московского медицинского института и в спецлаборатории. На Ученом совете Института биофизики из 16 возможных я получил 8 голосов, Окунев — 6, Покровский — 2, а Демин — ни одного.

В это же время ко мне обратился С.Р. Мардашев, сменивший отца на посту директора спецлаборатории и заведующего кафедрой биохимии 1-го Московского медицинститута, с предложением быть его заместителем и по спецлаборатории, и по кафедре. Подумав, я согласился с предложением Мардашева. Однако когда он сообщил мне, что министр здравоохранения СССР М.Д. Ковригина возражает, чтобы я был заместителем по спецлаборатории и, в крайнем случае, согласна для меня на должность научного сотрудника, я обиделся и отказался от этой перспективы. Тем временем выяснилось, что решение Ученого совета Института биофизики и пожелание его директора встретили возражение заместителя министра, руководившего секретными работами, А.И. Бурназяна и что он назначил на эту должность Н.Н. Демина. Таким образом, из-за начальства сталинской закалки ни одно из этих предложений не реализовалось.

В том же, 1955 году мой друг Георгий Донатович Смирнов посоветовал мне пойти работать по совместительству в Лабораторию анизотропных структур при Академии наук СССР. Эта лаборатория представляла собой необычное учреждение. Заведовал ею некто Андрей Константинович Буров, архитектор по специальности. Странное название лаборатории объяснялось тем, что Буров предложил производить и использовать

для многих конструкций стекловолоконистые материалы, названные им «анизотропными структурами». Помимо этого, в лаборатории проводились и биологические исследования, связанные с проблемой рака, а именно: рак предлагалось лечить ультразвуком.

Лаборатория напоминала «семейную лавочку». Заместителем директора была Галина Дмитриевна Андреевская, невенчанная жена Бурова, и вся атмосфера отличалась от обычного климата в научных институтах, в особенности преувеличенной ролью прихотей директора и его заместителя. Галина Дмитриевна сразу же стала оказывать мне какое-то, не только деловое, внимание, что впоследствии вызвало негодование А.К. Бурова и стимулировало мой уход оттуда через относительно короткое время.

Первыми моими сотрудниками в лабораторию были зачислены Борис Владимирович Кулебакин и Георгий Павлович Георгиев. Кулебакин еще студентом состоял в кружке по биохимии, которым я руководил. Георгиев посетил мою лабораторию в Онкологическом институте также будучи студентом и попросил разрешения поработать у нас в свободное от занятий время. Хотя свободного времени было мало и он успел провести лишь несколько опытов по предложенной теме, я сразу понял, что он весьма одаренный работник. Его рекомендовали в аспирантуру, и я хотел оставить его в лаборатории, однако директор Онкологического института А.Н. Новиков, бывший тюремный врач и кадровый работник министерства, отказал мне под тем предлогом, что медик должен отработать три года как практикующий врач. Когда я только начал работать в лаборатории, распределение выпускников 1-го мединститута еще не закончилось, и я попытался взять Георгиева в это своеобразное учреждение. Буров дал согласие, однако возникло новое препятствие: ректор воспротивился, утверждая, что Георгиев рекомендован на кафедру медицинского института, а не в Академию наук. Никакие уговоры опять-таки не подействовали.

Окончательное распределение зависело от отдела кадров Министерства здравоохранения, начальником которого был тот самый Б.Н. Казаков, который недавно «без удовольствия»

снимал меня с работы. Я написал Казакову письмо с просьбой разрешить Г.П. Георгиеву поступить в руководимую мной группу. Неожиданно Казаков внял моей просьбе, и Георгиев был зачислен старшим лаборантом.

Г.Д. Смирнов, тогда зам. директора Института морфологии животных имени А.Н. Северцова, предложил мне организовать лабораторию биохимии в этом институте, и в ноябре 1956 года я перешел туда уже на основную работу. Я сразу же попытался перетащить за собой Б.В. Кулебакина и Г.П. Георгиева. В Институте существовало правило, согласно которому каждый вновь поступающий должен был пройти собеседование с «треугольником», то есть с директором или его заместителем, секретарем парторганизации и председателем профкома. Кулебакин испугался «чистилища» и отказался. Георгий Павлович, у которого отец погиб в заключении, выдержал это испытание. С первых же дней работы он проявил большой интерес к науке, исключительное чутье и дар экспериментатора. И уже в начале 1963 года в возрасте 29 лет защитил докторскую диссертацию.

После защиты докторской Георгиев получил предложения от Л.А. Зильбера, С.Р. Мардашева и В.А. Энгельгардта. Я посоветовал ему принять последнее предложение, так как речь шла о должности заведующего лабораторией в недавно организованном Институте молекулярной биологии. Эта должность давала ему самостоятельность и большие перспективы.

В начале 1951 года мой коллега Илья Ильич Иванов предложил мне пополам с ним купить дом на озере Удомля, в 60 километрах от Бологого Дом принадлежал брату старого большевика Петра Кузьмича Запорожца, архитектору Ивану Кузьмичу Запорожцу, когда-то купившему этот дом у местного крестьянина Волова по прозвищу Рютя, которому пришлось продать его в период выселения с хуторов Дом был расположен на острове Двиново, поросшем лесом, и представлял собой райский уголок

Илья Ильич, химик по образованию, сын известного биолога Ильи Ивановича Иванова, работал тогда ассистентом, затем профессором на кафедре биохимии, возглавлявшейся моим отцом, там же, где работал и я Отец Ильи Ильича первым ввел в практику искусственное оплодотворение и проектировал получить гибрид человека и обезьяны Для отбора обезьян он ездил в составе советско-французской экспедиции в Африку Илья Ильич, тоже принимавший участие в этой экспедиции, много рассказывал мне об этой увлекательной поездке

Однажды мы ехали с ним на велосипедах на дачу к Варваре Николаевне Серовой, нашему старшему лаборанту По дороге он рассказывал мне об охоте в Африке Затем я переехал на другую сторону дороги, но Илья Ильич позвал меня для продолжения рассказа, и я вернулся Оказалось, что он спас мне жизнь, так как именно в тот момент и на том самом месте, где только что был я, проезжал грузовик с прицепом На повороте прицеп оторвался, покатился по обочине, перевернулся и, если бы я остался там, наверняка раздавил бы меня

По рассказам Ильи Ильича, узнав о предполагаемом получении гибрида человека и обезьяны, многие, главным образом женщины, предлагали свои услуги в качестве участниц эксперимента. Эксперимент так и не был проведен, поскольку обезьяны погибли во время перевозки их на пароходе в Одессу.

Илья Иванович вскоре был арестован и отсидел немалый срок. Возможно, что причиной его ареста послужил «идеологически неправильный» проект. Илья Ильич обратился в органы и поклялся, что его отец ни в чем не виноват и арестован по ошибке. В результате этого обращения его также арестовали, но пробыл он в заключении всего три года, после чего работал в Новосибирске, так как въезд в Москву был ему запрещен.

Остров Двиново с обеих сторон омывает глубокое озеро с чистой водой. На острове смешанный лес — сосны, ели, березы, осины, ольха, рябина, ближе к дому — дубы, липы, клены, обилие грибов и ягод, чистейшие пляжи, покрытые мелким светлым песком, идеальное купанье, словом, все для прекрасного отдыха. Озеро вулканического происхождения, и вдали от берега глубина его достигает 80 метров. С южной стороны оно соединено узким проливом с другим озером — Песьво. В отличие от Удомли Песьво мелкое, округлой формы и близко подходит к районному центру, поселку городского типа Удомля и одноименной железнодорожной станции. Зимой озеро покрывается белым саваном льда, по льду прокладывают зимние дороги, сокращающие расстояния между деревнями.

На западной стороне острова высокий мыс вдаётся в водную даль озера. На севере, за водным пространством километра в полтора, стоит большая деревня Ряд, а на юге, за проливом, находится инвалидный дом, размещенный в бывшем имении Рябушинского. Рассказывали, что на красивой, с колоннами террасе этого дома однажды Рябушинский застрелил из охотничьего ружья свою любовницу, после того как ему сообщили, что в его отсутствие она изменяла ему. Миллионера привлекли к суду, но он сумел откупиться. До сих пор участок дороги, построенный Рябушинским, самый лучший на всем пути.

Сейчас остров покрыт лесом, но когда-то он был совершенно безлесным, и таким его можно видеть на известной картине Левитана «Над вечным покоем». Эти места вообще были облюбованы художниками. Здесь писали Левитан, Моравов, Бялыницкий-Бируля и многие другие.

Дальше, в северо-западном направлении, находится озеро Островно. На берегу его расположено было имение Турчаниновой, где гостил Левитан. Он приехал в поместье со своей любовницей Кувшинниковой. Заметив, что Левитан одновременно оказывает недвусмысленные знаки внимания хозяйке имения и ее дочери, Кувшинникова уехала. Выход из этого трудного положения Левитан нашел в том, что пытался покончить с собой, но отделался огнестрельным ранением.

В тот период Левитан был в ссоре с Чеховым из-за того, что Антон Павлович в рассказе «Попрыгунья» под вымышленными именами описал его взаимоотношения с Кувшинниковой. Но хозяйка все же дала Чехову телеграмму, сообщавшую о ранении Левитана и с просьбой оказать медицинскую помощь раненому. Чехов немедленно приехал, что и послужило примирению друзей. До этого на неудачной охоте Левитан подстрелил чайку и бросил ее к ногам дочери хозяйки. Этот эпизод вдохновил Чехова на создание пьесы «Чайка».

В 1951 году мы ездили в поселок Островно с местным доктором Николаем Дмитриевичем Вичиным. Там он познакомил меня со старым почтмейстером, который еще помнил эти события и рассказывал нам, как стрелялся Левитан и приезжал Чехов. От имения Турчаниновой ничего не осталось, кроме разрушенной церкви и оскверненного кладбища. Несколько лучше сохранилась природа. Гуляя по берегам озера и окрестностям, я как бы погружался в эпоху пребывания там Чехова и Левитана, а небольшой уголок в южной части озера почти в точности соответствовал известной картине художника «У омута».

Когда мы с Ильей Ильичем приехали на остров Двиново, там оставались сторожившие дом и постоянно проживавшие в нем тетя Нюша и ее муж Леонтий, которого она звала Левок. Тете Нюше было лет 65, а Левок был лет на 10 моложе ее. Он был из раскулаченных, обозлен на советскую власть и на все

окружающее и не внушал симпатии Тетя Ньюша, напротив, была любезна, но всячески предупреждала нас об опасности приобретения дома на Двинове.

Во время войны сторожа обманули Запорожца, написав ему, что якобы в его доме устроен детский приют. Они спокойно жили там, ловили рыбу, торговали яблоками и мечтали, накопив изрядную сумму денег, приобрести дом в собственность. Однако по советским законам не имели на это права, так как нигде не работали. Поэтому они организовали продажу дома подставному лицу — своему племяннику. Племянник приехал в доску пьяный и долго кричал с другого берега, чтобы ему пригнали лодку. Так как сторожа этого не слышали и лодка не пришла, он решил переплыть небольшой пролив, отделявший его от острова. В воде у него случился сердечный приступ, и он умер. Позже дом собирался купить ленинградский профессор физической химии Иван Иванович Жуков. Будучи в восторге от острова, Иван Иванович ловил на удочку рыбу с лодки со своим шофером. Было очень жарко, и у него заболело сердце. Он сказал об этом шоферу и попросил грести к берегу, но шофер, увлекшись рыбной ловлей, возразил: «Что вы, Иван Иванович, клюет-то как!» Жукову стало еще хуже, и когда лодка наконец причалила к острову, он упал на мостках и тут же умер. «Вот здесь на мостках, на этом самом месте!» По словам тети Ньюши, третий покупатель тоже должен был непременно погибнуть. Это нас не испугало, но через много лет нечто подобное все-таки произошло.

Погода в то лето была изменчивая, в начале июля температура понизилась до 7—8°, началась буря, и на озере был смерч, перевернувший несколько лодок. Во второй половине июля погода исправилась. И 2 августа, в Ильин день, мы, Илья Ильич Иванов, его сын Илья и я (тоже Илья), с раннего утра отправились, по рекомендации доктора Вичина на охоту — к старому охотнику Василию Михайловичу на озеро Кезадра, еще не тронутое цивилизацией, но, как и все на Руси, изрядно пострадавшее во время революции, Гражданской войны и коллективизации.

Надо было переехать на лодке наше озеро, затем идти пешком на северо-восток, сначала кустарником, потом мелкоколь-

ем и болотистой дорогой, окруженной полями, до деревни Яковлево. Далее еще километров десять густым девственным лесом до деревни Коптево на берегу Кезадры. Там надо было кричать, чтобы приехали за нами на лодке из расположенной на противоположном берегу деревни Ханеево.

Весь этот путь мы проделали засветло, выйдя часа в 4 утра, обремененные незатейливым снаряжением, состоявшим из ружей, патронов, продуктов в рюкзаках и запасной теплой одежды. Велосипед, на который навьючили рюкзаки, выполнял роль ишака. С нами была собака, данная мне «напрокат» на лето, — красивая, выхоленная черно-пегая сука-спаниель Нора, воспитанная в городской квартире и не приученная к охоте.

Дорога была тяжелая и изматывающая, идти приходилось по кочкам и лужам, нередко проваливаясь по щиколотку в воду, местами пробираться тропинками через заросли и болота. Но все это искупалось свежим запахом листвы, травы, цветов, хвои и еще каким-то особенным, свойственным только нашим северным лесам ароматом и ощущением почти нетронутой природы.

В приехавшей за нами лодке сидел молодой мужик, белесый, ничем не примечательный, но бывший явно навеселе, хотя был будний день и солнце стояло еще высоко. Узнав, зачем и к кому мы приехали, он перевез нас на другую сторону в деревню Ханеево и привел в большую избу, стоявшую на бугре на берегу озера. В избе, в горнице сидело несколько мужиков и две бабы, одна из них — жена Василия Михайловича. На столе стояла богатая для деревни закуска: жареная свинина, рыба, хлеб и несколько бутылок самогона и водки. Винный перегар наполнял избу, а люди выказывали разную степень опьянения, что явно пришлось не по душе Норе, которую из-за этого пришлось вывести. Наименее пьян, с виду почти трезв, был Василий Михайлович — красивый старик с окладистой седой бородой и живыми пронизательными светлыми глазами.

О Василии Михайловиче следует сказать несколько слов. Это был мужик-философ, он беззаветно любил природу, поэтично рассказывал об охоте, о природе, о животном и расти-

тельном мире Мы в дальнейшем несколько раз бывали у него, и каждый раз я испытывал неизменное удовольствие от общения с ним.

Мы поздоровались, представились и обратились к Василию Михайловичу с вопросами об охоте. Ситуация вскоре прояснилась. Ильин день оказался престольным праздником в деревне Ханеево и, следовательно, не отмечаться не мог. До сих пор в русской деревне престольный праздник (для каждой деревни свой) выглядит наиболее торжественно; всем миром гонят самогон, варят и жарят мясо и рыбу, готовят всевозможные бесхитростные закуски, варят пиво и в последнюю очередь привозят из магазина водку, конфеты, печенье и другие не производимые дома продукты. На праздник собирается народ, особенно молодежь, из соседних, а нередко и из дальних деревень, и гульба с весельем и питием продолжается до самого утра, а иногда и позже.

Как-то раз на этом же озере нам привелось наблюдать престольный праздник в другой деревне — Вороново. Из маленького Ханеева мы ехали на лодке на вечернюю зорьку в хорошее утиное место, называемое Вороновской дугой. В высоких тростниках, камышах и рогозе в обилии плавали утки, и Василий Михайлович, стоя на корме и батушкой отталкиваясь от дна, умело направлял нас в траву, из которой в самом неожиданном месте с шумом вылетала тяжелая кряк-ва, и выстрел обычно приносил удачу. По дороге мы проезжали Вороново; большая деревня, расположенная на берегу на откосе, была видна как на ладони. С утра никто не работал; все поголовно были заняты подготовкой к празднику. Из труб и сений валил дым, что свидетельствовало о работе самогонных аппаратов и русских печей. На улице, на кострах в огромных котлах что-то варили, и зрелище представлялось каким-то колдовским священнодействием. Через несколько часов, после зорьки, в темноте, возвращаясь с добычей, мы видели тлеющие уже костры и, несмотря на ночь, свет во всех избах, пьяное гулянье с пением, криками и спорами по всей деревне.

Но вернемся в Ханеево. В нем лишь несколько дворов, и описанное празднество происходило как бы в миниатюре

Узнав, что мы все трое Ильи, нас усадили за стол и принялись усиленно поить и чествовать по случаю Ильина дня. Настойчивые просьбы показать нам места для охоты не помогали, и пришлось отвезти вполне кондиционного самогона и час-другой побыть в компании.

Василий Михайлович лучше всех понял нас и перевел разговор на охотничьи темы: «Нонче я выпимши и потому не поеду с вами. Вот вам весла, возьмите лодку, она привязана на озере, у ближайшего причала, и поезжайте на Белку — первый налево залив за поворотом, там в траве должны быть утки. Главное, однако, уже не то. У нас медведи ходят. Лет пять их не было, а теперь опять пришли, следы на полях видел. Недельки через две-три на овсах на них пойдем. С вечера надо устроиться на дереве — и к ночи должен медведь прийти. Ну, а сейчас валите на уток». Пьян старик, брешет, подумал я и поторопился на охоту.

Мы быстро сели в лодку, взяли с собой ружья, патроны и Нору, которая оказалась совершенно непригодной к охоте, и поехали на Белку. Темнело, и на вечернюю зорьку мы запаздывали. Время от времени пролетали утки, слышен был всплеск, говорящий о том, что утка села на воду.

После посещения избы мы были на взводе, становилось темно и прохладно, с лодкой мы управлялись неумело, частично гребли, частично неуклюже отталкивались батушкой. Несколько уток все же вылетело достаточно близко, мы стреляли, одну убитую утку не нашли, но другая застреленная кряква была найдена и послужила единственным трофеем.

В деревню мы возвратились усталые и раздосадованные неудачной охотой. Было три часа ночи. Обитатели дома и гости уже прошли фазу возбуждения и осовели полностью. Только Василий Михайлович еще что-то соображал и пригласил нас остаться ночевать. Но в этот холодный предрассветный час мы решили идти домой. Василий Михайлович перевез нас в Коптево и высадил у остатков некогда большого и прочного помещичьего дома. Оставшиеся нижние венцы и двойной пол этого дома окрестные мужики продолжали разбирать на дрова и строительные материалы. Торчали большие пни — жалкое напоминание о некогда роскошном парке, и лишь по ним да

по остаткам дома можно было догадаться о былом великолепии этого места.

Усталые, все, что возможно, мы навьючили на велосипед и двинулись обратно. Передвигаться на рассвете было тяжело, сыро и неудобно. Я шел впереди, ведя велосипед, за мной следовали Илья Ильич с сыном. Пройдя километра два, я вышел на опушку. В центре ее, у стога, как бы облокотившись на него, стоял медведь. Первым моим, почти инстинктивным, движением было зарядить ружье, но патроны были упакованы в рюкзаке, навьюченном на велосипед, и достать их я не успел. Любопытно, что Нора, никогда не видевшая медведя, но боявшаяся в деревне всего — коров, коз, овец, не обратила на царя наших лесов никакого внимания и продолжала спокойно идти.

Тем временем медведь, увидев меня, быстрым, проворным движением отскочил от стога, легко, как кошка, прыгнул в чащу и скрылся в лесу. Это его проворство и ловкость никак не вязались с обычными представлениями о медведях как о животных неуклюжих. Движения его были настолько быстры и внезапны, что Ивановы, идущие сзади, его даже не увидели. Тут я понял, что Василий Михайлович говорил правду, медведи действительно обитали в окрестных лесах. Дойдя до нашего озера, мы погрузились в лодку и к утру, усталые и полные впечатлений, доехали домой и завалились спать.

С благовоспитанной Норой у меня было еще два забавных приключения. Я ехал на остров на поезде с множеством вещей и с нею. До Бологого в ленинградском чистеньком вагоне она вела себя примерно, тихо лежала под лавкой и беспрекословно слушалась меня. Однако когда мы пересели в менее комфортабельный рабочий поезд, Нора стала проявлять признаки беспокойства, а на уборщицу, протиравшую окно, набросилась с лаем и порвала ей юбку. Меня хотели тут же высадить из поезда, и мне с трудом удалось открутиться.

В другой раз я пошел с Норой на охоту на утренней зорьке на Черный остров, поросший хвойным лесом и отделенный от берега перешейком. Подстрелив утку, я в сумерках долго и безуспешно искал ее. Нора не только не помогала мне, но куда-то исчезла. На мой зов она не шла, и я принялся искать

теперь уже ее в лесу Наконец я вышел на опушку и увидел неожиданную картину В центре круга, образованного коровами, стояла мокрая от росы и дрожащая от страха собака, а разъяренный бык топтал траву и ревел, явно намереваясь забодать Нору Быстро схватив несчастную за ошейник, я прицепил поводок и пытался увести ее от опасности. Но не тут-то было. Бык устремился за нами, мы убегали, но преследователь не отставал, и опасность угрожала теперь не только Норе, но и мне. Наконец мы уперлись в озеро и отступать дальше было некуда Бык с ревом бросился на нас Пришлось идти на крайние меры. Я схватил ружье и выстрелил ему по рогам. Бык стал крутить головой, недовольно повернулся и нехотя ушел в лес.

Однажды мы с Ильей Ильичем решили нанести визит художнику Бялыницкому-Бируле До его дачи, называвшейся «Чайка», добрались на лодке по озеру. Нас встретила падчерица Бирули Юля с маленьким ребенком на руках. Мы спросили ее, можно ли видеть Витольда Каэтановича «Виталий Капитонович, — поправила она, — сидит на террасе в кресле».

В кресле-каталке сидел парализованный старик. Несмотря на недуг, он выглядел представительно и встретил нас приветливо и с удовольствием. Он с интересом расспрашивал об охоте и рыбной ловле, рассказывал о прежней охоте на озере и в окрестностях Потом позвал жену, Елену Алексеевну, находившуюся совсем близко. Однако она сделала вид, что не слышит, и только после повторного зова подошла к нему. Чувствовалось, что Бируля страдает от невнимания близких и одиночества

В свое время, еще до революции, Витольд Каэтанович женился на богатой невесте и получил в приданое это имение После революции «Чайку» оставили художнику, и он продолжал здесь часто бывать Много картин написано им на Удомле, и они удачно передают колорит озера, его бледно-голубоватые тона Бируля увлекался охотой и женщинами Рассказывали, что если на охоте слышались два его выстрела дуплетом, это значило, что он убил двух уток Жена его рано умерла, и у него осталась от нее дочь — Люба Одна из многочисленных пассий Витольда Каэтановича наконец женила его на себе --

это и была Елена Алексеевна Здесь, в «Чайке», он доживал свой век, одинокий и забытый Изредка навещали его художники и артисты, иногда заезжали и к нам на остров Среди них помню артиста Художественного театра Станицына, театрального художника Волкова

После смерти Бялыницкого-Бирули его вдова решила продать «Чайку», и ее купили дикторы московского радио, вещавшие на иностранных языках. Несколько сезонов они провели там, но потом местные власти собрались, как они говорили, организовать в «Чайке» художественный музей (там было много картин не только Бирули, но и других художников) Дикторов выселили, заплатив им отсуженную компенсацию за стоимость и ремонт здания. Однако музей так и не создали, и дача стояла пустая, постепенно разрушаясь и подвергаясь разграблению

По словам тети Ньюши, мачеха жестоко обращалась с дочерью Бирули от первого брака Люба в отчаянии горько плала, однажды она пошла купаться, выпив все, что было в доме Этого ей показалось мало, и она выпила еще и одеколон. Доплыла до ближайшего острова, но на обратном пути сердце ее не выдержало, и она утонула

Сама тетя Ньюша представляла собой интересный экземпляр В ранней молодости она служила горничной в доме князей Юсуповых в Петербурге. Молодой князь Феликс Юсупов соблазнил ее, и его родители, приписав вину девушке, выгнали ее из дома. Некоторое время она жила по «желтому билету» По-видимому, в молодости она была хороша собой, следы былой красоты сохранились у нее и в старости Один офицер влюбился в нее, выкупил из дома терпимости и женился на ней Офицер этот воевал в белой армии и исчез после революции Тетя Ньюша помнила блестящий дореволюционный Петербург и, живя во дворце Юсуповых, была свидетельницей убийства Распутина, о чем нередко рассказывала Она слышала выстрелы и запомнила, в каком состоянии полной прострации находился молодой Юсупов после того, как отравленный и застреленный Распутин встал и бросился душить его

В саду у нас росли яблоки, сливы, смородина, крыжовник, клубника и всевозможные овощи Рядом был лес, в котором

собирали грибы, малину, землянику, смородину, чернику, в озере ловили рыбу, которая вместе с охотничьими трофеями пополняла наш рацион. В доме наверху я построил очень уютную комнату с балконом и в основном пользовался ею.

На острове и в окрестностях встречались гадюки. Однажды мой сын Алеша, которому было тогда четыре года, прибежал домой и закричал: «Мама, смотри какой большой червячок!» «Червячок» оказался змеей, и мальчику долго объясняли, что к змее подходить нельзя.

В Удомле мы дружили с главным врачом районной больницы — Николаем Дмитриевичем Вичиным, о котором я уже упоминал. У него был хороший дом, много книг, и сам он был человек достаточно интеллигентный. Доктор Вичин хорошо знал весь район, природу, людей, уцелевших после повальной коллективизации, раскулачивания и выселения с хуторов. Мы с ним ездили на охоту, и он нередко выбирал места, интересные не только с охотничьей точки зрения. В одной деревне мы остановились у отставного солдата, служившего еще в царской армии, в другой — у местного охотника, рассказывавшего различные охотничьи истории.

Колхозная деревня жила по-советски: сеяли что прикажут, сдавали государству и промышляли, чем можно. Колхозный и совхозный труд оплачивался мизерно, работали почти исключительно пожилые женщины, мужчины подрабатывали где-то на стороне и в большинстве были постоянно пьяны. Вместе с тем уйти из колхоза и уехать было непросто. У крестьян не было паспортов, а без паспорта, как известно, у нас никуда не денешься.

Затем началась кукурузная эпопея. Во время визита в США на Хрущева произвела сильное впечатление урожайность кукурузных полей, и он потребовал, чтобы у нас повсюду выращивали эту культуру. Все хозяйства обязаны были сеять маис. Если на юге страны кукуруза более или менее вызревала, то на большей части территории Советского Союза она давала лишь ничтожные побеги, которые полностью подавлялись сорняками.

Мне приходилось около 20 лет наблюдать поля в Калининской (Тверской) области. Лишь в одно необычно жаркое лето

кукуруза выросла там почти до метра, правда, не дав плодов. Все остальные годы на полях, засеянных ею, росли только сорняки, и ростков кукурузы даже не было видно. Как-то я говорил о кукурузе с местным агрономом, и на мои замечания он мог ответить только, что ничего не поделаешь — приказано засеять кукурузой лучшие земли, и не менее трети посевной площади.

В этот период я прочел в «Правде» корреспонденцию о пленуме ЦК, на котором первый секретарь Калининского обкома сказал, что кукуруза в его области почти не растет и, учитывая климат, хорошо было бы вместо нее сеять больше брюквы и льна, которые дают неплохие урожаи. Хрущев оборвал его, авторитетно заявив, что кукуруза — самая урожайная культура. Через несколько дней в той же газете было опубликовано, что состоялся пленум Калининского обкома, на котором тот самый первый секретарь был снят с должности и заменен другим работником.

К характеристике советского сельского хозяйства. Припоминаю, как мы с сыном поехали на охоту в соседнюю деревню к знакомому крестьянину Петру Гавриловичу. По дороге на охоту я обратил внимание на пригорок, засеянный овсом, который рос плохо и редко. «Что это овес здесь такой плохой?» — спрашиваю я Петра Гавриловича. «А он завсегда такой, — отвечает он. — Его и не убирают, трактор здесь не пройдет, а вручную убирать некому». Удивленный, я спрашиваю: «А зачем же тогда сеют?» Петр Гаврилович смотрит на меня как на идиота: «Как зачем, а план?» Идем дальше. На обочине дороги лежит почерневшая, обугленная куча. «А это что?» — «Это лен жгли, его убрали, а вывезти не успели, приехал заместитель, сказал сжечь, чтобы не видели. Ну, облили мы его бензином, подожгли, а он сырой, не догорел».

Николай Дмитриевич Вичин нередко рассказывал интересные истории из медицинской практики. Как-то в конце 50-х годов, когда сифилис в нашей стране был практически ликвидирован, к нему пришел больной со свежим люэсом. Вичин был крайне удивлен и просил указать источник заражения. Больной долго отказывался, а врач объяснял ему, что это необходимо, так как без знания источника заражения невоз-

можно остановить дальнейшее распространение болезни. Наконец больной признался, что действительно не знает, от кого получил сифилис. Оказалось, что он был в заключении, и половые сношения там производились через дырку в заборе, за которым находилась женская колония. Таким образом, он даже не видел, от кого получил этот «подарок».

Лет через десять Николай Дмитриевич умер в мое отсутствие и был похоронен на кладбище у сохранившейся церкви, использовавшейся как склад, в деревне Троица, близ Удомли. Храм теперь восстановлен, передан церкви, и в нем снова проводятся службы.

Илья Ильич продал свою часть дома Василию Кузьмичу Дуднику — зятю моей жены. Мы же купили дом в деревне Огибино, в нескольких километрах от острова, перевезли его зимой на лошадях и поставили у самого леса, метрах в 15 от старого дома. Окончание его сборки совпало с арестом моего отца в марте 1952 года, и нам пришлось заканчивать стройку в тяжелых моральных и материальных условиях. С тех пор я почти каждое лето проводил на острове, нередко приезжал туда и зимой, занимался физической работой. Огород и сад немало помогали нам в то тяжелое время, и я полюбил это прекрасное место. Василий Кузьмич пригласил своего брата Андрея, который приехал из Дербента с женой — армянкой Сарой, и они стали жить на острове круглый год, заменив тетю Нюшу и Леока, которые по старости переехали в инвалидный дом. В течение 25 лет остров Двиново отлично служил нам, там выросли мои сыновья — Алеша и Митя, которые полюбили природу и нашу среднюю полосу России.

Потом кому-то пришла в голову мысль строить в этом прекрасном месте атомную электростанцию. Станцию стали строить на берегу озера в полутора километрах от нас, и наш остров попал в санитарную зону. Началось с того, что туда навезли рабочих, в том числе солдат и заключенных из разных районов страны, и прежде всего изменилась социальная среда. Раньше в течение многих лет дом можно было спокойно оставлять, постельное белье, одежда, посуда, продукты — все было в полной сохранности. Теперь в первый же год дом трижды подвергся разграблению, замки были взломаны, стек-

ла выбиты, и постепенно раскрадывалось имущество, сначала вещи и продукты питания, а затем даже мебель

За этим последовало варварское разрушение и загаживание природы: сводили лес, разгребали песчаные берега, в чистой-шее озеро вылили 30 тонн мазута, вместо полей и лесов в округе появились горы глины. Наконец нас совсем выселили с острова, дав незначительную компенсацию.

На полученную компенсацию мой сын Алеша купил избу в деревне Казань на реке Вятке в 60 километрах от Котельнича и в 850 — от Москвы. В такую даль, конечно, удастся ездить лишь на длительные сроки, не менее недели. Деревня потеряла свой изначальный облик, и в избах живут почти исключительно дачники из Кирова (Вятки), Москвы и Петербурга. Лишь в одной избе, и то в отдалении, чудом сохранился местный житель, ставший «фермером». Каждое лето, приблизительно на месяц, я наезжаю туда в июле-августе. Место хорошее, много грибов и ягод, большие леса, широкая река, простор. Деревня расположена на очень высоком берегу Вятки, от реки надо подниматься по крутому склону вверх метров на 100. За Вяткой большие, не уничтоженные плотинами заливные луга и дальше — бесконечный бор. Здесь хорошо, но нет того уюта, прекрасного купания и сосредоточения на небольшом острове всех прелестей природы — леса, прогулок, пляжей, как в Удомле. Рыбная ловля на реке также резко отличается от той, что была на озере. Зато в дождливые годы мне удавалось собирать много грибов и в сушеном виде привозить их на всю зиму. Обилие ягод позволяет также заготовить много варенья. Все это Алеша привозит в Москву на моем «жигуленке», который на старости лет я передал ему.

История Института биологии развития имени Н.К. Кольцова Российской академии наук, где я работаю до сих пор, своеобразна и отражает положение в науке в последние десятилетия. До печальной памяти августовской сессии Академии сельскохозяйственных наук 1948 года существовало два института, имевших мало общего между собой. Одним из них был Институт экспериментальной биологии, организованный Н.К. Кольцовым, другим — Институт эволюционной морфологии, где директором был. И.И. Шмальгаузен. У этих двух институтов была лишь одна общая черта, а именно — отрицательное отношение к Лысенко и «мичуринской биологии». Этого было достаточно для того, чтобы расформировать оба института, закрыть половину лабораторий, уволить значительную часть сотрудников, а остатки объединить в Институт морфологии животных имени А.Н. Северцова (ИМЖ). Здание «Кольцовского» института на Воронцовом поле отдали вместе со зданием бывшего Биохимического института, где когда-то я жил, индийскому посольству, а объединенный институт поместили в стандартном школьном здании. Постепенно к этому институту присоединили несколько лабораторий, которые не знали куда деть.

Однако новый район застроили, и понадобилась еще одна школа. Снова поступили нелепо: институту опять предоставили стандартное школьное здание на улице Вавилова, а здание института, приспособленное под лаборатории и загаженное изотопами, отдали школе. Директором института был член-корреспондент Академии наук СССР Григорий Константинович Хрущов, очень милый и образованный человек, но пассивный и конформистски выполнявший директивы свыше

Григорий Константинович умер в 1962 году. После его смерти в течение нескольких лет обязанности директора исполнял его заместитель, Михаил Семенович Мицкевич. Еще до войны он был направлен в порядке партийной дисциплины на работу в Министерство иностранных дел и, проработав там некоторое время, был арестован и отсидел срок. Выйдя из заключения, был реабилитирован и вернулся к прежнему своему занятию — биологии. У нас в институте он заведовал лабораторией эндокринологии развития. Как многие ортодоксальные коммунисты, отбыв заключение, он сохранил свою негибкую приверженность «единственно правильной» линии партии и остался таким же ортодоксом до глубокой старости.

В первые годы работы в институте немалую помощь оказывал мне Хачатур Сергеевич Коштоянц, который заведовал лабораторией физиологии. При этой лаборатории на первых порах состояла и наша группа биохимии клеточных структур.

Коштоянц попал к нам из прежнего Института эволюционной морфологии. Большая же часть экспериментальных лабораторий перешла из бывшего «Кольцовского» института. Это были лаборатория цитологии, которой после смерти Г. К. Хрущева стал заведовать его ученик Всеволод Яковлевич Бродский, лаборатория эмбриологии, где работали Татьяна Антоновна Детлаф и Георгий Викторович Лопашов, лаборатория регенерации (Лев Владимирович Полежаев), лаборатория генетики будущего академика и директора нашего Института биологии развития Бориса Львовича Астаурова. Необходимо упомянуть также Михаила Александровича Пешкова — большого специалиста по цитологии простейших и микроскопическим методам исследования.

Каждый из них представлял собой интересную личность. Грузный и толстый Пешков был очень эрудирован и интересен в общении. Лопашов, как и Пешков, до старости работал своими руками и получал интересные результаты. Астауров и Детлаф придерживались в своих исследованиях научных основ и не мирились с официальными директивными направлениями Лысенко и Лепешинской. Особый «экземпляр» представлял собой Полежаев. Он явно был не совсем нормален. Это выражалось в его крайнем эгоцентризме и скандальном

поведении. Он постоянно писал доносы на дирекцию и своих коллег, обвиняя их в нелояльности к власти и даже в шпионаже.

Разнородность института требовала разделения его на экспериментальную и зоологическую части, но в Москве запретили создавать новые институты, и лишь в 1967 году удалось разделить ИМЖ на Институт эволюционной морфологии и экологии животных имени А.Н.Северцова (ИЭМЭЖ) и Институт биологии развития (ИБР). Директором последнего был назначен академик Борис Львович Астауров. Было хорошо, что после безвременья директором стал видный ученый-генетик, устоявший в борьбе с лысенковщиной и сохранивший моральные устои настоящей науки. При Борисе Львовиче институт получил четкое научное направление, занял видное место в эмбриологии, внес серьезный вклад в учение об онтогенезе. При Астаурове в институт влились генетические лаборатории В.В. Сахарова, Н.Н. Соколова и Б.Н. Сидорова, с которыми он работал в бывшем «Кольцовском» институте. Борис Львович хорошо понимал науку, с ним можно было обсуждать научные проблемы и получать ценные советы, однако в управлении институтом он был в некоторой степени барином, избегал решений, требующих энергии, был малодоступен и изолировался от сотрудников.

В ИМЖ нам удалось приобрести оборудование и реактивы, в том числе одну из первых ультрацентрифуг, изготовленных Опытным конструкторским бюро. Директор института Г.К. Хрущов и его заместитель Г.Д. Смирнов относились ко мне хорошо, и вскоре Хрущов рекомендовал меня в качестве делегата на Международный конгресс в Сент-Андрюсе, близ Эдинбурга. Я подал документы, но в поездке мне отказали: по-видимому, я был «невыездным».

Коллектив нашей лаборатории оказался активным и работоспособным. Помимо ультрацентрифуги, нам удалось достать через военное ведомство переносную холодильную камеру, а затем спектрофотометр и другие приборы и нужные реактивы. Работа пошла успешно. Впервые были получены важные данные, свидетельствующие о существовании особого типа рибонуклеиновой кислоты, так называемой матрич-

ной, или информационной, которая переносит информацию нуклеотидного кода на специфическое строение белков.

В последнее десятилетие моей активной научной деятельности я с группой моих сотрудников занялся ранее выявленной нами ядерной скелетной структурой — ядерным матриксом, который привлек внимание многих исследователей. В этой области также удалось получить новые интересные результаты.

Наша статья об изоляции и исследовании ядерной оболочки, опубликованная в «Докладах Академии наук СССР», свидетельствовала о безусловно важном достижении. Эта работа была выполнена силами Киры Алексеевны Перевощиковой и Людмилы Николаевны Делекторской, ординатора Центрального института усовершенствования врачей, где я некоторое время работал по совместительству. Так как у нас были затруднения с электронной микроскопией, важную роль сыграло то, что эту существенную часть работы проделал муж Людмилы Николаевны Владимир Владимирович Делекторский, который работал в Институте дерматологии и венерологии Министерства здравоохранения СССР.

В связи с этой работой мой старый друг, директор Института питания Академии медицинских наук СССР Алексей Алексеевич Покровский предложил совместно исследовать ферментативный аппарат ядерной оболочки при помощи микрометодов, разработанных в его лаборатории. Совместная работа была опубликована в международном журнале «Nature», и мы стали детально исследовать окислительные процессы в ядерной оболочке. Удалось показать, что в ней имеет место окислительное фосфорилирование, и выявить некоторые его особенности.

В 1963 году я по совместительству организовал биохимическую лабораторию в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук в Обнинске. Там работал тогда маститый ученый с мировым именем Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, фактически возглавлявший ведущий отдел экспериментальной радиобиологии Николай Владимирович, являясь крупнейшим специалистом в науке, не имел советских ученых степеней — ни доктора, ни даже кандидата

наук. Поэтому формально он числился младшим научным сотрудником и получал мизерную зарплату. Это был живой, очень общительный, интересный человек, генерировавший много неординарных идей; беседа с ним всегда оживляла и стимулировала.

Он длительное время работал в Германии и оставался там в должности директора Института генетики при Гитлере в течение всей Второй мировой войны. Впоследствии был интернирован советскими войсками и подвергался репрессиям, хотя и продолжал заниматься наукой в «шарашке» на Урале. Затем его перевели в Обнинск и только через несколько лет присудили ученые степени и полностью реабилитировали.

Благодаря своему живому характеру Тимофеев-Ресовский всегда был окружен людьми — и научными работниками, в особенности молодежью, и теми, кто не занимался непосредственно наукой. Его история и широкий кругозор красочно описаны в романе Даниила Гранина «Зубр». Автор, однако, слишком уж идеализирует ученого. Тимофеев-Ресовский, конечно, не был фашистом и работал в фашистской Германии из непреодолимого интереса к науке. Тем не менее его сотрудничество с национал-социалистами, когда он имел возможность переехать если не в Россию, то, например, в Англию, вряд ли оправданно.

Там же, в Институте медицинской радиологии, работал небезызвестный Жорес Александрович Медведев, у которого я был оппонентом по его докторской диссертации. Диссертация его состояла из изложения основных материалов и комплекта оттисков. Все оппоненты, профессор С.Я. Капланский, профессор В.Г. Конарев и я, дали положительные отзывы, но диссертация на Ученом совете Института биохимии имени А.Н. Баха Академии наук СССР была провалена под надуманным предлогом о неполной публикации материалов, что, несомненно, было организовано в угоду Лысенко.

В конце 1959 года Сергей Евгеньевич Северин предложил мне быть ученым секретарем создаваемого под его председательством Биохимического общества Академии наук СССР. Организовать Общество в СССР было необходимо, так как в 1961 году в Москве должен был состояться 5-й Международ-

ный биохимический конгресс. Соответственно я принимал активное участие в подготовке и проведении биохимического конгресса, организовывал синхронный перевод и был помощником Н.М. Сисакяна по проведению симпозиума по функциональной биохимии клеточных структур. Синхронный перевод оказался нелегким делом. К нему привлекли как специалистов-переводчиков, так и биохимиков, владеющих иностранными языками. Последние переводили лучше; специалисты были, конечно, сильнее в языке, но путались в научных терминах, что было самым важным.

Затем я работал ученым секретарем отдела химии второго издания Большой медицинской энциклопедии (БМЭ). Заместителем главного редактора БМЭ, заведующим редакцией и фактическим ее руководителем был тогда Лев Яковлевич Брусилковский, уже немолодой, но по-прежнему остроумный, всегда бодрый и веселый человек. Кстати, во время Первой мировой войны он был награжден четырьмя солдатскими Георгиевскими крестами, подозреваю, что не за одну только храбрость, но и за умение развлекать господ офицеров.

Работа в БМЭ расширяла кругозор, позволяла получать интересные сведения, знакомиться со многими деятелями медицины. Через несколько лет я стал заместителем Северина по отделу, а в качестве ученого секретаря мы привлекли В.П. Мишина, который преподавал нам в университете физическую химию. Активно помогал нам также мой бывший сотрудник Борис Владимирович Кулебакин.

Когда я уже начал работать в ИМЖ, перед моим уходом из «Анизотропных структур», там состоялось научное заседание, на котором Лев Александрович Блюменфельд докладывал о своем нашумевшем открытии, согласно которому в препаратах ДНК он наблюдал особые линии парамагнитного резонанса. Доклад Блюменфельда был встречен с восторгом, и академик Николай Николаевич Семенов всячески расхваливал его. Зная, что физики не уделяют достаточного внимания чистоте химических препаратов, я сказал, что, поскольку ДНК легко связывает металлы, образуя комплексные соединения, необходимо проверить препараты прежде всего на железо. Мое замечание осталось без внимания. Однако через несколько лет ока-

заявлю, что дело было именно в этом, и наблюдаемый эффект происходил из-за примеси железа

1963 год был для меня богат событиями. Выдающийся биохимик Владимир Александрович Энгельгардт в конце 50-х годов создал новый институт, который, по его замыслу, должен был объединить усилия биологов, химиков и физиков для решения проблем молекулярной биологии. Под этот институт он получил здание на улице Вавилова, первоначально построенное для Горного института. На потолке конференц-зала этого здания оставались аляповатые картины, иллюстрирующие труд шахтеров, потом они были замазаны штукатуркой. Этот институт в угоду конъюнктуре сначала назывался Институтом радиационной и физико-химической биологии, но потом, когда давление сверху ослабло, его переименовали в Институт молекулярной биологии.

При формировании института Владимир Александрович предложил мне перейти к нему, и я серьезно заинтересовался этим предложением. Однако переход мой не состоялся. Энгельгардт скептически отнесся к моей просьбе взять с собой сотрудников Г. П. Георгиева и О. П. Самарину, и дирекция нашего института противодействовала этому.

В июне 1963 года я ездил в командировку на биологическую станцию Дальние Зеленцы на побережье Баренцева моря. Природа поражала своей неповторимой красотой: тундра, птичьи базары, стада оленей, прибрежные скалы. В июне временами еще шел снег.

Рассказывали, что когда, никого не предупредив, на Новой Земле произвели испытание водородной бомбы, у местного метеоролога зашкалил счетчик радиоактивности. Он тут же дал телеграмму в Центр и получил ответ: «Не поднимайте панику!» Однако на побережье Норвегии, где были произведены такие же наблюдения, правительство немедленно эвакуировало население.

В 1964 году М. Д. Ковригина, бывший министр здравоохранения СССР, а теперь ректор Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУ), пригласила меня организовать в этом институте кафедру медицинской биохимии. Я согласился на работу в ЦИУ, но только в качестве совместителя. Как и

в случае с Обнинском, уходить из Академии наук мне не хотелось. Кафедру пришлось организовывать заново.

Мы проводили циклы лекций и практические занятия для преподавателей вузов и научных работников системы Министерства здравоохранения. Читать лекции я приглашал наиболее компетентных ученых, и они любезно соглашались. Оплата производилась из расчета 5 рублей за два часа. Но требовалась справка с места работы, что там не возражают. За этими пятью рублями надо было стоять в очереди в кассу в день выдачи заработной платы. Я договорился с бухгалтерией, что деньги за лекции будут переданы нам под отчет и старший лаборант будет выдавать их после лекций. Однако ректор М. Д. Ковригина, когда потребовалось ее разрешение, отказала в этом и на мою реплику, что неудобно заставлять профессоров специально приходить и выстаивать в очереди, ответила: «Ничего, пусть постоят!»

Ковригина окружала себя недобросовестными людьми, из-за чего в ЦИУ процветали жульничество и беспорядок.

В 1967 году проделки доцента моей кафедры Н. А. Федорова, который вел себя нагло и непорядочно и часто подводил меня, истощили мое терпение, и я отправился к Ковригиной с твердым намерением просить либо удалить Федорова, либо освободить меня от работы в ЦИУ. Ковригина приняла второй вариант.

Вслед за некоторыми успехами народного хозяйства и развертыванием научных учреждений в 50-е и 60-е годы дальнейший рост застопорился и наступил явный застой, или стагнация, о чем твердили иностранные средства информации. Однако Брежнев объявил, что мы вступили в «развитой социализм». Незавидным было это преддверие «светлого будущего», тем не менее наука продолжала функционировать и даже развиваться.

В этот период, как бы подытоживая свою научную деятельность, я написал монографию «Организация клеточного ядра», вышедшую в издательстве «Медицина» в 1988 году. Затем совместно со Светланой Николаевной Кузьминой книгу «Скелетные структуры клеточного ядра» (издательство «На-

ука»). Конечно, я кое-что сделал для науки, но мог бы сделать много больше, если бы не тяжелые моральные и материальные условия для работы в нашей «передовой» стране.

В 1970 году ко всем трудностям прибавилось противное задание Президиума Академии наук, от которого я не сумел отвертеться еще и потому, что совсем недавно оформил свой второй брак, с Майей Павловной Орловой, и положение мое было неустойчивым. Мне поручили экспериментальную проверку «открытия» М.И. Волского, согласно которому человек и животные усваивают молекулярный азот воздуха. Я слышал ранее об этом «новаторе» только из случайных разговоров и не имел ясного представления, о чем идет речь. Пришлось познакомиться с материалами «открытия».

Михаил Иванович Волский, профессор Горьковского индустриального института, специалист по сопротивлению материалов, в 1948 году опубликовал книгу «Новая концепция дыхания», изданную и далее переизданную несколько раз в городе Горьком (Нижем Новгороде). Ни один научный журнал не публиковал таких работ, находя их неубедительными. Исключение составляет статья, представленная в «Докладах Академии наук СССР» легкомысленным академиком Н.Н. Семеновым.

Согласно М.И. Волскому при инкубации куриных яиц общее содержание азота в вылупившихся цыплятах превышает его содержание в яйцах в среднем на 3,2%. За этим последовала серия работ, подтверждающих первоначальную заявку; в них активное участие принимал сын М.И. Волского Евгений Михайлович, также инженер по образованию. Все доказательства усвоения азота, теперь на разных объектах, основаны были только на сравнении содержания азота до и после инкубации. Несмотря на многочисленные протесты авторитетных ученых, эти работы были зарегистрированы как открытие. При Горьковском университете была организована целая лаборатория под руководством Е.М. Волского со штатом около 60 человек.

Вот этот склочный вопрос мне и пришлось проверять по приказу Президента Академии наук СССР М.В. Келдыша. Келдыш несомненно понимал всю абсурдность утверждений

Волских, но на него, по-видимому, было оказано императивное давление из вышестоящих инстанций, а именно — из ЦК КПСС. Ему приходилось идти на сделки со своей совестью, как это имело место в отношении Лысенко и других «новаторов» или оказывать посильное противодействие, стоившее ему немало нервов и сил, как, например, когда он сопротивлялся требованию исключить А.Д. Сахарова из Академии наук. Эта постоянная нервотрепка измучила и истощила Келдыша, и он покончил с собой, заведя в закрытом гараже автомашину, где его и нашли мертвым обутым в тапочки.

При Президиуме Академии наук СССР была создана специальная комиссия для экспериментальной проверки «открытия» Волских под председательством специалиста по нитрифицирующим бактериям академика Е.Н. Мишустина. Все пробы были зашифрованы. Таким образом была соблюдена строгая объективность, и никто, включая всех членов комиссии и меня, не мог узнать результатов до полного окончания эксперимента.

После тщательной проверки несколькими методами были получены явно отрицательные результаты. Мне пришлось написать объемистый отчет в 300 страниц и сделать доклад на Президиуме Академии, где было принято решение считать вопрос разрешенным и впредь не проводить экспериментальной проверки. Помимо этого, основные результаты были опубликованы в виде двух статей в «Журнале общей биологии» и в «Известиях Академии наук СССР».

Тем не менее Е.М. Волский продолжал атаковать всевозможные инстанции, поливать грязью всю Академию наук, где «не умеют работать». Неоднократные рецидивы его усилий выражались в созыве новых комиссий, обсуждении этого вопроса на уровне отделения Академии наук. Поистине можно позавидовать пробивной силе этого «новатора».

В 1970 году мы проводили Международный симпозиум по клеточному ядру. В нем приняло участие около 40 видных иностранных ученых и 100 участников из СССР. Симпозиум прошел живо и интересно и показал, что наши исследования занимают далеко не последнее место в мировой науке.

В 1989 году я организовал очередное XI-е Европейское рабочее совещание по клеточному ядру и ядрышку в Суздале. Проводить его было непросто из-за надвигавшихся экономических трудностей, но нам удалось получить дотации от Академии наук и некоторых научных институтов. Совещание прошло на высоком уровне и было представлено много содержательных докладов.

Однажды летом мы с женой Майей ездили на машине на Кавказ, провели неделю в горах, в Теберде и Домбае, затем проехали по Военно-Грузинской дороге и остановились в Сухуми у знакомых. Вернулись по побережью через Крым. По приезду я собирался на Биохимический съезд в Ленинград. Неожиданно, перед самым отъездом, мне позвонил по телефону племянник моей первой жены Ирины Юра Дудник и сказал, что имеются тревожные известия из Удомли о Мите. Я, волнуясь, спросил его, что случилось, и он ответил, что Митя погиб. Это было страшное известие. Я очень любил Митю и, кроме того, чувствовал себя виноватым в том, что не съездил за ним в Удомлю. У него было плохое сердце, и в детстве ему удалили почку. Таким образом, через 38 лет сбылось предсказание тети Ньюши, что на острове обязательно кто-нибудь умрет.

С 1960 года я стал наконец «выездным» и участвовал во многих конгрессах, конференциях и симпозиумах в разных странах, что позволило мне ближе познакомиться с мировой наукой и установить контакты с учеными в близкой мне области. Заграничные путешествия много дали и для общего образования и кругозора.

В первый раз мне пришлось побывать за границей летом 1923 года в возрасте 9 лет. В то время, в начале нэпа, поездки за рубеж не были связаны с большими трудностями, как это стало впоследствии, и отец взял меня с собой в путешествие по Европе.

Первой страной, которую я увидел, была Германия, где еще продолжались послевоенная инфляция и революционное брожение, и мы с отцом наблюдали рабочую манифестацию в Берлине. Тем не менее этот город оставил впечатление чистоты и порядка. Там осело не менее миллиона эмигрантов из России, не успев еще ассимилироваться, и на каждом шагу слышалась русская речь.

В Берлине несколько часов мы провели у Пастернаков, художника Леонида Осиповича, его жены и дочерей. Помню, как они ругали «Совдепию», а отец защищал наш строй и порядки.

Задержались мы в благополучной и стабильной Швейцарии. В Женеве жили у дальнего родственника отца, адвоката Дикера, занимавшего какой-то важный пост в руководстве швейцарской социалистической партии. Отец показывал мне Женеву, остров на Женевском озере с памятником Жан-Жаку Руссо, снежную вершину Монблана за озером. В Альпах меня очаровали высокогорные пейзажи, спускаясь с крутой

горы все быстрее, я не мог остановиться и упал на тропинку, чтобы не свалиться в пропасть. Потом отец вспоминал, что это угрожало мне гибелью и на бегу я кричал «Тормоз не действует!»

Далее Франция, Париж, поездом в Шербург, затем английским пароходом в Виго, в Испанию, где жил брат моего отца. В море сильно качало, судно вздрагивало, говорили, что в Бискайском заливе всегда бывает мертвая зыбь. В порту Виго к пароходу на шлюпках подплывали продавцы фруктов, на веревках с борта спускали корзины с деньгами и поднимали покупки, кто-то неловко свалил в море корзину с апельсинами, и торговка обругала его «большевиком». По-видимому, это слово она считала наиболее эффективным ругательством. Здесь я познакомился со своими двоюродными братьями — Илюшей, моим тезкой, старше меня на шесть лет, и моим ровесником Яшей, с которым мы бегали по городу и шалили.

Затем — Мадрид, то ли в Виго, то ли на пути в Мадрид отец встретился со знакомым французом, и мы продолжили путешествие в его компании. В Мадриде мы, конечно, пошли на бой быков. Публика эмоционально реагировала на каждый шаг матадора то аплодисментами, то громким свистом и криками осуждения. На четвертом или пятом выходе (всего их шесть) матадору не удалось увернуться, и бык рогом пронзил ему бедро, отбросив на несколько метров и ударив об ограду под отчаянный свист и осуждение зрителей. Когда отец, склонив голову, пытался выразить сочувствие несчастному, то ярость публики обратилась и на него. Вернулись в гостиницу, и портье, уже зная о случившемся на арене, встретил нас словами «Как вам повезло, даже испанцу очень редко удается видеть, как бык убивает матадора!»

Из Мадрида поехали в Барселону. Море, широкие, засаженные пальмами бульвары. Из Барселоны приплыли в Геную. Здесь — знаменитое кладбище, великолепные статуи и изваяния покойных правителей и аристократов. Затем Флоренция, музей Уффици с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли. Они поразили меня, но по-настоящему я смог оценить их лишь много позже, посетив этот музей в 1988 и 1990 годах. Особенно запомнилась Венеция — город

стоит на воде, кругом каналы, гондолы, великолепная площадь святого Марка на канале Гранде, причудливые мосты-арки Наконец, через Германию мы возвратились в Москву

Еще раз мы побывали в Германии с отцом и его второй женой в 1928 году Отец отдал меня на две недели в детский пансион в пригороде Берлина у Тегельского озера В пансионе жили несколько детей русских эмигрантов и почему-то посол Монголии, который также говорил со мной по-русски Главной темой разговоров подрастающих отроков были девочки, в чем, по своей наивности, я еще ничего не смыслил Поздно вечером мальчики вторгались в комнаты девочек с попытками обнимать их и отпускать скабрёзные замечания

Совсем иначе я стал воспринимать зарубежные страны, став взрослым Выше я описал поездки в Берлин в 1945 году, в Болгарию в 1949 году, когда бальзамировали тело Димитрова, и в Монголию в 1952 году с таким же поручением в отношении Чойбалсана

Дальнейшие мои поездки за границу начиная с 1960 года почти всегда были связаны с участием в научных конгрессах, конференциях и симпозиумах Эти поездки скрашивали наше унылое прозябание в СССР и помогали несколько облегчить и материальное положение — за несколько дней за границей, особенно в капиталистических странах, мы привозили домой больше, чем могли приобрести у себя за целый год Уезжая, брали с собой запас продуктов и унизительно экономили на еде, чтобы иметь возможность купить что-нибудь нужное

Несмотря на неоднократные приглашения, до 1960 года мне ни разу не разрешали выезд за рубеж

Меня выпустили сначала, как обычно, в «соцстрану», а именно в Китай, лишь в январе 1960 года, когда мне было уже 46 лет Однако летом того же года мне удалось принять участие в конгрессе по гистохимии в Париже, в группе «научного туризма», а осенью провести месяц в санатории в Карловых Варах После этого я многократно участвовал в конгрессах, конференциях и симпозиумах во многих странах, главным образом по приглашению организаторов

Китай, особенно в то время, резко отличался не только от России, но и от всех других виденных мной стран. Не только архитектура и пейзажи, но и психология народа совсем иные.

Я вылетел из Москвы самолетом Аэрофлота 14 января 1960 года в 14° мороза. На аэродроме в Пекине были те же -14° С, что необычно для этих широт. Сквозь пелену тумана и падающего снега мелькали одинаково одетые фигуры мужчин и женщин в синих ватниках и ушанках. Наконец один из них подошел ко мне и, вынув из кармана записку с иероглифами, запинаясь, по складам произнес какие-то отрывочные, непонятные мне звуки и удалился.

Минут десять я был в недоумении, затем подошел другой китаец и на плохом французском языке спросил, не я ли представитель румынской Академии наук. Обрадованный, что наконец что-то понимаю, я ответил ему по-французски, что являюсь сотрудником Академии наук, но не Румынии, а СССР. После этого он привел ко мне того самого китайца, который подошел первым.

Вынув ту же записку, что и прежде, он вновь старательно выговорил нечто маловразумительное. Напряженно слушая, можно было уловить что-то вроде: «Пзы, фы, сы, дзы, ака, ды, мия, наук». На этот раз я догадался, что это означает: «Профессор Збарский, Академия наук», и радостно закивал головой. Он повел меня в зал аэропорта и усадил за столик, за которым сидели еще двое в одинаковой одежде, мужчина и женщина. На столе стояли кружки с бледно-желтой жидкостью, оказавшейся зеленым чаем. Такими же отрывочными звуками, указав сначала на мужчину, мой спутник объявил, что это начальник отдела сношений с СССР Китайской Академии наук, а молодая женщина — представитель Института экспериментальной биологии в Шанхае, куда я был приглашен. Потом он ткнул себя пальцем в живот и коряво произнес несколько звуков, соединив которые, мне удалось уяснить, что он «пы-ры-вод-чик». Затем в этой же компании меня отвезли в гостиницу и накормили ужином, предварительно спросив, предпочитаю я китайскую или европейскую кухню. Боясь незнакомых мне китайских блюд, я выбрал ев-

ропейские. Подали суп, по привычке я попросил хлеба, но, несмотря на мои напоминания, два кусочка хлеба принесли только после обеда, по-видимому, полагая, что это десерт.

Меня предупреждали, что в Китае к каждому иностранцу, в том числе советскому, приставляют сопровождающего, роль которого заключается в постоянной слежке за подопечным. Мой «переводчик», еле выговаривавший отдельные русские слова, хотя он поведал, что окончил Институт русского языка в Харбине, всю неделю, которую я провел в Пекине, не отходил от меня ни на минуту, провожая даже в уборную.

После того как в Пекине я посетил университет и многие исторические достопримечательности, меня отправили в Шанхай в сопровождении «представителя Института» уже без «переводчика».

В Шанхае нас встретили три профессора из Института экспериментальной биологии. Все они отлично говорили по-английски, и мне не представляло труда объясняться с ними. Поселили меня во французской концессии, в роскошном отеле «Пикарди», переименованном в «Хынь Шань», настолько комфортабельном, что каждый номер представлял собой целую квартиру с ванной, кухней и всеми удобствами. Гостиница была заселена специалистами из «соцстран» — СССР, ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии.

Шанхай тогда еще представлял собой город контрастов. Роскошные отели и рестораны, превосходящие все, что я видел в Европе, соседствовали с джонками, рикшами и велорикшами. Отдельные части города сохранили колорит тех стран, которыми были построены, и не походили друг на друга: если бы не южная флора, находясь во французской концессии, можно было бы чувствовать себя во Франции.

Международный сеттльмент на берегу реки Хуан Пу состоял из трех частей — английской, американской и японской, и каждая обладала характерными чертами соответственно Англии, США и Японии. У входа на роскошный бульвар на берегу реки еще оставалась надпись на английском и китайском языках: «Вход китайцам и собакам запрещен». Самой своеобразной была китайская часть города, в ней в тесноте и грязи громоздились бедные, скученные доми-

ки, покрытые черепичными крышами с загнутыми сверху углами; узенькие улочки были полны народа.

Нас все время опекало наше консульство. Про здание, в котором оно помещалось, рассказывали любопытную историю. Прежде, еще при царе, здесь было английское консульство, а российское находилось напротив, в более просторном и комфортабельном доме. Однако русский консул в азарте проиграл в карты свое здание английскому и вынужден был обменяться с ним резиденциями.

Вот в это здание нас и возили дважды в неделю и проводили «политработу», которая заключалась в показе советских кинофильмов, лекциях и докладах на политические и научные темы. Помимо этого, в гостиницу регулярно приезжал работник из консульства, который поучал нас, как себя вести. В частности, предостерегал от близких контактов с китайцами, употребления алкоголя и ухаживания за женщинами. Приводились примеры: по выпивке отличались моряки, которых было много в этом портовом городе; зато по части девушек первенствовали научные работники.

В нашем отеле жил академик Николай Маркович Эмануэль, о котором ранее я знал только понаслышке. Здесь же мне пришлось общаться с ним не менее месяца. Это был очень живой и самоуверенный человек с громким и не допускающим возражений голосом. Я знал, что он является крупным специалистом по физической химии, но не имел никаких сведений о его изысканиях в области биологии и медицины. Тем не менее он стал претендовать на новые идеи в названных областях науки. В частности, высказал теорию, согласно которой причиной рака является накопление в организме свободных радикалов. С моей точки зрения, эта теория не имела экспериментальных обоснований и являлась чистой спекуляцией. Он, однако, сумел убедить в перспективности своих воззрений директора Института химической физики академика Н.Н. Семенова и организовать при этом огромном институте биологический отдел под своим руководством. Этот отдел сам представлял собой целый институт, в состав которого входили и способные сотрудники, получавшие интересные результаты.

У Николая Марковича хватило смелости и, я бы сказал, нахальства выступить в советском консульстве с лекцией на эту тему. Когда я ему заметил, что такое выступление, тем более для широкой публики, неосторожно, он махнул рукой и заявил: «Подумаешь, это не имеет значения». Вообще, ему свойственна была немалая доля легкомыслия. Так, на каком-то приеме в Шанхае мы с ним сидели за одним столиком с милостивой китайской актрисой, которая из иностранных языков знала только немецкий. Он сейчас же начал усердно ухаживать за ней, и мне пришлось переводить на немецкий язык его любезности.

Надо сказать, что ухаживание за китайками было противопоказано даже не столько потому, что об этом предупреждали сотрудники консульства, сколько из-за самих девушек — их за малейшее внимание к иностранцам снимали с работы и посылали на «трудовую закалку» в коммуны в сельской местности. Вообще, китайцы строго оберегали своих граждан от влияния извне. Контакты могли быть исключительно деловыми и в присутствии нескольких свидетелей. Над всем доминировал культ личности Мао Цзэдуна; ежедневно проводились собрания и политзанятия, накачка идеологией; обстановка почти в точности повторяла ситуацию 30-х годов в нашей стране.

Во главе китайских научных институтов стояли настоящие ученые; все они подолгу работали в ведущих лабораториях за границей. Так, директор Института экспериментальной биологии Чжу Си стажировался более десяти лет во Франции в лаборатории Поликара и считал французский язык своим родным наравне с китайским. Один его заместитель работал в США, другой — в Германии. Однако они не могли предпринимать сколько-нибудь серьезных шагов, особенно административных, без одобрения заместителя, не обязательно сведущего в науке, но непременно члена партии и выполняющего функции комиссара.

В числе ученых, с которыми я познакомился в Китае, был энтомолог Сы Личи. Профессор Сы родился и работал в США. По научной литературе я знал его выдающиеся исследования зародышевых клеток. После китайской революции, когда Мао бросил клич, призывая зарубежных китайцев при-

езжать в Китай и участвовать в строительстве социализма, у Сы проснулись патриотические чувства и он сделал попытку уехать в КНР, но ему, как гражданину США, было отказано в этом. Несколько позже он, воспользовавшись приглашением в научный центр в Реховоте в Израиле, по дороге свернул в Китай и остался там.

Незадолго до поездки в Китай на симпозиуме по белкам в Москве я встретился с видным китайским биохимиком профессором Цао, работавшим более десяти лет в Англии. На банкете, по окончании симпозиума, Цао сидел рядом со мной. Он был в черном костюме, белой рубашке и галстуке, олицетворяя собой образец английской респектабельности, немного говорил по-русски и польстил мне тем, что первой работой, прочитанной им на русском языке, была моя статья о сократительных белках клеточного ядра.

В Шанхае я спросил, не могу ли я повидать профессора Цао, работавшего в Институте биохимии в том же здании, но получил ответ, что он болен. Через несколько дней я задержался в институте. Ворота оказались запертыми, китайцы, к которым я обращался на русском и английском языках, не понимали меня, и я еле нашел выход. Тут я услышал, что кто-то произносит мою фамилию, обернулся и увидел такую же стандартную группу китайцев в обычной униформе. Один из них подошел ко мне, протянул руку и назвался: «Цао». Контраст с тем, каким я видел его в Москве, был настолько потрясающим, что я еле узнал Цао в синем ватнике и надвинутой на глаза кепочке.

Назад я ехал в поезде в международном вагоне, теперь называемом у нас «СВ», в котором было лишь несколько пассажиров. В первые два дня я отдохнул, но путешествие в течение остальных шести дней оказалось скорее утомительным.

На границе, на станции Маньчжурия, наши пограничники тщательно проверяли поезд, залезая с фонариком под лавки и под вагоны. Наблюдая с перрона эту «сверхбдительность», я обратил внимание на немолодого человека, с какой-то опаской садившегося в наш поезд, и в вагоне-ресторане подсел к нему за столик. Все в нем привлекало мое внимание. Был он явно русский, но совсем не такой, как наши соотечественни-

ки. иные манеры, сдержанность и какое-то скрытое любопытство к окружающему.

Я спросил его, давно ли он не был в России «Да, — сказал он, — сорок лет я провел в Харбине и теперь еду в Саратов». Мне показалось, что я понял его чувства, чувства человека, попавшего на родину и вместе с тем в совершенно чужую страну, и сочинил следующее стихотворение:

Он сидит предо мной, в ресторане-вагоне
На Великом сибирском пути.
Он подсел на границе; вчера, на перроне
Мне хотелось к нему подойти.

Сразу видно, кто он — сорок лет на чужбине...
Он не здешний, но русский, такой же как был.
Он прожил эти годы в далеком Харбине
И теперь возвратиться в Саратов решил.

Я смотрю на него, словно силой стихии
Защемило в груди, поднялось по волнам...
То тоска по далекой, ушедшей России,
Отзвеневшим надеждам, угасшим мечтам...

Безвозвратно ушли, никому не знакомы...
Он вернулся в чужую страну.
Непонятные люди, иные законы
Будут всюду встречаться ему.

16 марта 1960 г.

Вначале я получал письма и поздравления от моих китайских друзей, но летом 1960 года отношения между нашими странами испортились всерьез и надолго, и переписка прекратилась. Через много лет, в 1988 году, я встретил на 3-м Международном конгрессе по биологии клетки в Монреале профессора Яо Ценя, в лаборатории которого я работал, и он пригласил меня вновь посетить Китай.

В октябре 1989 года, почти через 30 лет, прогресс — по сравнению с 1960 годом — потряс меня, тем более что у нас

за эти годы произошел скорее регресс Пекин и Шанхай отстроены почти заново, хотя и весьма тускло и стандартно — типично по-социалистически. Уже нет былой нищеты, ни джонок, ни рикш, большинство населения передвигается на велосипедах, заполняющих улицы как рой насекомых. Люди одеты неплохо и не однообразно, как раньше. В Шанхае уже нет прежнего контраста между разными частями города. В разговорах профессора больше не боятся выражать недовольство партией и правительством и особенно принудительными политзанятиями.

Во дворе бывшего японского научного центра в Шанхае, где в 1960 году в одном доме помещались три института, выстроили два больших, просторных здания Институты биохимии и биологии клетки, а старое здание занял только Институт физиологии.

Осенью 1960 года я обратился в Лечебно-санаторный отдел Академии наук с просьбой предоставить мне путевку в Железноводск. Там мест не оказалось, и мне предложили поехать в Карловы Вары.

Так я впервые попал на европейский курорт. В комфортабельном санатории «Ричмонд», помимо отдыхающих из нашей страны, было много поляков, немцев из ГДР, чехов и венгров. Были даже два австрийца и один англичанин — ректор университета. На третий день пребывания он забеспокоился о своих детях, от которых до сих пор не имел известий из Лондона. Вечером он связался с ними по телефону и сказал мне, что все в порядке и «представьте, они послали письмо целых три дня тому назад». Меня это не удивило, так как мы привыкли к тому, что письма из-за границы идут не менее месяца. Я деликатно заметил, что письма, вероятно, задержались на почте. Тогда он вынул из кармана английскую коммунистическую газету «Дейли Уоркер» (позже «Морнинг Стар») и с ударением сказал «А почему же газета вчерашняя?!»

Летом 1961 года я ездил в Польшу на Европейскую конференцию по экспериментальной онкологии в Варшаве. И потом бывал в этой стране по советским меркам довольно час-

то — приблизительно каждые пять лет. Наблюдал, как отношение к нам, прежде отрицательное, с годами несколько улучшилось. В 1988 году страна переживала тяжелый период ломки и разрухи, но в 1995 положение выправилось, резко вырос уровень жизни и благополучия. Поражает удивительная сила религии в Польше. Свадьбы, крестины, похороны — все это обставляется пышно и торжественно, часты массовые религиозные шествия.

В Болгарии я провел три месяца во время работы над телом Димитрова в 1949 году, затем, начиная с 1963 года, не раз бывал там в научных командировках. У меня установились прочные контакты и с Институтом биохимии, где группа способных исследователей работала в близкой мне области. С 1949 года страна существенно изменилась, в значительной мере исчезло ее своеобразие, появились знакомые нам черты унификации и серости.

Помню такой случай. Я был в Варне на биохимическом конгрессе. Сразу же по его окончании в Венгрии, на озере Балатон, состоялось 2-е Европейское рабочее совещание по клеточному ядру и ядрышку. На него были приглашены некоторые участники конгресса, в том числе и я. И все отправились, а меня не пустили, хотя приглашающая сторона брала все расходы на себя. Должен сказать, что, провозжая в аэропорту своих друзей — а среди них были и представители так называемого «социалистического лагеря», — я выслушал от них немало насмешек над нашими нелепыми порядками.

В ГДР я ездил неоднократно, причем в 1977 году мы с женой по частному приглашению объездили на машине всю страну. Меня поразило удивительное сходство гитлеровского фашистского режима с порядками в ГДР и условиями в нашей стране при Сталине и его последышах. Та же тирания, ограничение свободы, постоянный страх и опасение за свою жизнь и будущее, скудость и унылость существования, плакаты с лозунгами и портретами вождей. Правда, при общем сходстве тоталитарного режима было больше порядка, а законопослушный характер немцев способствовал неуклонному выполнению самых нелепых законов и распоряжений. Материальный уровень жизни в ГДР был значительно выше, чем у

нас, но заметно уступал прежнему или жизни в несоциалистических странах Западной Европы.

Во всех социалистических странах отношение к Советскому Союзу и соответственно к нам было заметно хуже, чем в странах капитализма. Однако оно колебалось от относительно хорошего в Болгарии, более или менее терпимого в Чехословакии и фальшиво-лояльного в ГДР до отрицательного в Польше и резко враждебного в Венгрии. В этой стране я испытывал наибольшие трудности.

На X Конгрессе Европейских биохимических обществ (ФЕБО) в Будапеште в 1974 году при регистрации, когда я подошел к столику, на котором стояла табличка «Советский Союз» и предъявил письмо, где было указано, что я приглашен с оплатой пребывания, девушка мне ответила, что ничего подобного у них не значит и направила меня к другому столу, там направили к третьему и т.д. Я уже собрался искать какое-нибудь ответственное лицо, но тут увидел знакомого венгерского биохимика Эгона Хидвеги и изложил ему свои мучения. Хидвеги подвел меня к тому же столу, куда я обратился в самом начале, и та же самая девушка после разговора с ним по-венгерски моментально нашла требуемые документы и оформила меня в его присутствии.

Такое же подчеркнуто враждебное отношение я ощущал повсюду, куда обращался, как только узнавали, что я гражданин Советского Союза. Однако самая большая обструкция меня ждала впереди. В связи с болезнью представителя СССР в ФЕБО В.Л. Кретовича наше Биохимическое общество поручило мне представлять на организационном собрании ФЕБО, которое состоялось на следующий день после окончания научных сессий. Из-за этого я задержался на день. Меня предупредили, что нужно заранее договориться с портье о том, что мое пребывание оплачено Оргкомитетом Конгресса, что я и сделал накануне отъезда.

Однако на следующий день, когда в 7 часов утра мне надо было ехать в аэропорт, портье сменился, и новый дежурный потребовал, чтобы я оплатил пребывание в гостинице за все время. Я показал соответствующие документы, но это не помогло, и портье объявил, что, если я попытаюсь уехать, он

немедленно вызовет полицию и арестует меня. Мне пришлось рано утром звонить Председателю Оргкомитета Конгресса венгерскому биохимику Штраубу (который, между прочим, впоследствии, при Кадаре, стал Председателем Совета министров Венгрии), разбудить его и поднять с постели. Он и его жена довольно долго говорили с портье по телефону, но и это не помогло. Конечно, я не понял содержания их разговора, но, по словам Штраубов, они ему все объяснили. Однако портье это вовсе не убедило, и он снова повторил, что я должен немедленно оплатить гостиницу, иначе он вызовет полицию. Тогда я взял свой чемодан и отправился в аэропорт, так как уже опаздывал на самолет. Не знаю, вызвал ли он полицию, но мне удалось улететь.

Предпоследний день в Будапеште также оказался для меня нелегким. Организационное заседание ФЕБО состоялось в загородном ресторане, где нас кормили отличным ланчем с вином и закусками. На заседании трудности возникли с самого начала. Следующий Конгресс предполагалось провести в Израиле, против чего согласно инструкции я должен был возражать под предлогом того, что политическое положение в этой стране нестабильно. Естественно, что мое выступление по этому поводу было проигнорировано и Конгресс был назначен, а затем и состоялся в Израиле. Далее, ко мне были предъявлены претензии, заключающиеся в том, что издаваемый ФЕБО «Европейский журнал биохимии» вопреки международным правилам копируется в нашей стране, и на весь Советский Союз выписывается всего шесть экземпляров журнала, чем наносится большой ущерб ФЕБО, в которую мы входим. Затем оказалось, что в устраиваемых ФЕБО курсах приняло участие 60—80 молодых ученых из Англии, примерно столько же из Франции и из Западной Германии, по 5—15 из Польши, Югославии и Чехословакии и ни одного — из СССР. Все остальное было в том же духе. Я потел и волновался, выкручиваться было чрезвычайно трудно, тем более что внутренне я никак не мог оправдать такой нелепой политики нашего государства.

В 1986 году на II Европейском конгрессе по биологии клетки отношение к нам продолжало оставаться отрицатель-

ным, но все же несколько смягчилось. Будапешт за это время значительно отстроился и похорошел. Уровень жизни в стране был значительно выше, чем у нас и даже чем в ГДР или Чехословакии, — хорошо одетая публика, прекрасные магазины. Как и во всех социалистических странах, где имели место антисоветские выступления, там значительно ослабла тирания и во многом были разрешены экономические и политические вольности.

В 1962 году я получил приглашение в Англию на симпозиум по белкам и, почти одновременно, по рекомендации директора института, оформлялся на поездку в США на два месяца по проблеме рака. Неожиданно меня вызвали в Управление внешних сношений (УВС), и заместитель начальника предложил мне поехать на Гордоновскую конференцию по нуклеиновым кислотам в США. Он сказал, что приглашены были А.Н. Белозерский, С.Е. Бреслер и тогда еще молодой А.С. Спирин. «Белозерского не пускает поликлиника, Бреслер совсем недавно ездил, и снова посылать его мы не можем, Спирина же не следует ехать одному, вот вы и поезжайте вместе с ним».

Такая формулировка меня обидела, кроме того, не считая удобным ехать без приглашения, я ответил, что уже оформляюсь на симпозиум в Англию и в командировку в США и поэтому поехать не смогу. «Вот и хорошо, у нас все ваши документы есть, и мы вас быстро оформим». Вероятно, из-за того, что я упорно отказывался и предлагал другие кандидатуры, я и поехал на эту конференцию. В Нью-Йорке профессор Мирский пригласил нас на обед и задавал мне вопросы, почему я так и не смог приехать по его приглашению и о положении в биологии в связи с Лысенко. В обоих случаях мне пришлось лгать и изворачиваться. Тогда он с пристрастием спросил, кто же все-таки решает у нас вопрос о поездке за границу. Памятуя об опасности говорить правду, я сказал, что решает Президиум Академии наук. Вскоре я безуспешно пытался оформить на симпозиумы в Уругвае и в Голландии, куда был приглашен.

Так называемое «оформление» поездок представляло собой сложную и длительную процедуру. За год поездка долж-

на была быть включена в план предстоящего года, не позже чем за полгода до предполагаемого выезда подавалась целая кипа документов: автобиография; характеристика, подписанная «треугольником»; «обоснование» поездки; полный текст приглашения в оригинале и его перевод на русский язык; анкета из 20 вопросов («Личный листок по учету кадров»); так называемая «справка-объективка», содержащая перечень всех мест работы, всех поездок за границу, родственников с их адресами, датой и местом рождения и захоронения умерших, местом работы и т.д. (особое внимание обращалось на наличие родственников за границей и пребывание самого анкетиремого или его родственников на территории, оккупированной во время войны); справка из поликлиники о состоянии здоровья; фотокарточки. Если предполагалось выступить с докладом на каком-либо научном совещании, то и полный текст доклада со всеми рисунками и иллюстрациями в переводе на русский язык в двух экземплярах для цензуры его в Главлите.

Все это делалось в нескольких экземплярах заново для каждой поездки, хотя неоднократно предъявлялось и прежде. Затем вызывали в райком КПСС для беседы, где комиссия, состоявшая главным образом из старых членов партии, не сведущих в науке, задавала всевозможные каверзные вопросы. Если удавалось пройти и это чистилище, вызывали на комиссию ЦК КПСС для инструктажа, который состоял в том, что предостерегали от каких бы то ни было контактов с иностранцами, особенно с эмигрантами из России, запугивали, что на каждом шагу ждут попытки вербовки и провокации.

После этого «оформляли» в Иностранном отделе или УВС Академии наук, а именно — выдавали заграничный паспорт с визой, проездные документы и, если проживание не оплачивала принимающая сторона, то также суточные и квартирные в соответствующей валюте. На провоз через границу выданных денег и доклада получали специальные разрешения, которые сдавались сотруднику таможни.

По возвращении нужно было представить подробный отчет о пребывании за границей и состоявшемся научном совещании. Нечего и говорить, сколько времени, сил и нервов от-

нимали эти бессмысленные процедуры, особенно когда из-за поездки на несколько дней, не зная, каков будет результат, приходилось месяцами оформлять документы. Бывали, однако, случаи, когда отказывали в поездке в последний момент и даже возвращали из аэропорта.

Специальное разрешение требовалось и на направление научных материалов в международную печать. По этому поводу известен случай, когда такое разрешение кто-то не сдал на почте, а вложил в конверт. Во время пребывания Хрущева в Америке интервьюер спросил его, нужно ли специальное разрешение на публикацию научной статьи в международном журнале, на что он ответил отрицательно. Ему тут же предъявили соответствующий документ, и Никита Сергеевич оказался в незавидном положении.

В 1964 году меня пригласили на Гордоновскую конференцию по клеточному ядру. Эта конференция представляла для меня исключительный интерес. Уполномоченный по США отказался решать этот вопрос, и, так как в УВС никто не давал мне вразумительного ответа, я дошел до заместителя начальника Бакея. Последний сказал, что он хорошо относится ко мне, но каждое обращение проходит двадцать инстанций и, если хоть одна возразит, поездка отменяется; он полагает, что одного меня не пустят, и советует обратиться с просьбой пригласить еще одного-двух советских ученых, членов партии.

Я написал в Оргкомитет, что благодарю их за приглашение, но что мои коллеги, узнав об этом, проявили большой интерес к конференции, и я был бы признателен, если бы Оргкомитет пригласил еще одного-двух участников из СССР, фамилии и адреса которых я прилагаю. Вскоре пришел ответ, что они готовы выслать еще два приглашения, но оплатить поездку могут только мне. Дело это тянулось несколько месяцев, и я вновь обратился в УВС за ответом. На этот раз никто, включая Бакея, не стал решать этого вопроса, и меня направили к начальнику Управления Корнееву. Корнеев порылся в столе, вынул какую-то бумагу, не показывая мне, помахал ею перед моим носом и резко заявил: «Президиум Академии наук считает поездку нецелесообразной»

Было еще несколько подобных случаев. Например, меня не пустили на Рабочее совещание по клеточному ядру в Швеции, приуроченное к Биохимическому конгрессу в Стокгольме, в котором я участвовал — задержка на два-три дня в одной и той же стране рассматривалась как вторая, отдельная заграничная командировка.

Поездки в группах оформлялись большей частью по линии «научного туризма». Перед отъездом всех членов группы инструктировали о поведении в стране пребывания, главным образом, естественно, страшали всякими «провокациями» и предостерегали от контактов с иностранцами, а также напоминали, что практически на каждый свой поступок члены группы должны получить разрешение руководителя. На этом инструктаже почти все знали друг друга, и «соглядатая» можно было вычислить по тому, что он был неизвестен как ученый.

Так, во время поездки в группе «научного туризма» на Европейский биохимический конгресс в Мадриде в 1969 году за обедом я встретил своего коллегу из Франции, который остановился в той же гостинице, приехав на другое научное совещание. Мы сели с ним за маленький столик на двоих и заговорили по-французски. Секретный агент, знавший испанский, но не знавший французского, не понимал, о чем мы говорим, но немедленно подсел поближе, чтобы слышать наш разговор. В это время мой собеседник сказал, что он читал Солженицына во французском переводе и у него сложилось впечатление, что это блестящий писатель, которого можно поставить в один ряд со Львом Толстым. Как только было произнесено имя «презренного эмигранта и клеветника», агент подсел еще ближе, и на лице его появилось выражение крайнего беспокойства и озабоченности — он безуспешно силился что-то понять.

Другой случай рассказала моя сотрудница, принявшая участие в круизе по Европе. В гостинице в Париже в комнату руководителя группы зашла молоденькая горничная и что-то сказала ему по-французски, он сразу сообразил, что это та самая провокация, о которой его предостерегали на инструктаже, и бросился к двери. Дверь, однако, захлопнулась и оказа-

лась запертой. Еще более утвердившись в своей догадке, он рванулся к выходу на балкон, но оказалось, что это не балкон, а застекленный выступ. Влетев в него, несчастный разбил стекла, провалился через несколько этажей и, весь окровавленный, оказался на улице. Естественно, он не заслужил похвалы и лишь травмами был вознагражден за свою бдительность.

В 1960 году я неожиданно поехал в Париж в качестве «научного туриста» на Первый Международный конгресс по гисто- и цитохимии. Перед отъездом нас собрали в УВС для дополнительного инструктажа. Почти всех участников группы я знал, но среди них был незнакомый мне армянин, который попросил меня содействовать ему как уполномоченному МГБ. Затем ко мне подошел Виктор Яковлев (руководитель академической части группы) и спросил: «Ты знаешь, кто это? Когда нас собрали, я думаю — кто? — и решил: вот этот. Как только мы вышли, он мне тут же и отрекомендовался».

Я впервые участвовал в международном конгрессе. Мне удалось удачно доложить наши результаты и лично познакомиться с некоторыми учеными, которых я знал по научной литературе. Меня пригласили посетить Институт физико-химической биологии и Институт рака, однако руководитель группы сказал, чтобы я никуда не ходил один, а в крайнем случае с кем-нибудь еще, что я и сделал. Эти предостережения были нелепы — если бы я захотел сбежать, достаточно было нырнуть в метро у нашего отеля, выйти в другом конце города и обратиться в полицию.

Мы были полностью захвачены ароматом и очарованием Парижа. Среди объявлений о концертах и спектаклях часто попадались рекламы цирков и варьете, где кто-нибудь карикатурно изображал недавно посетившего Францию Никиту Хрущева. Висели объявления: «Какой у нас К!» «К» означало «Khrouchtchev», то есть «Хрущев». В меню кафе значились «свинные отбивные а ля Хрущев», и одна из наших туристок не удержалась и спрятала меню в свою сумочку

Из Парижа нас повезли на Лазурный берег. В Ментоне, на итальянской границе, наш гид из русских эмигрантов, на-

строенный просоветски, предложил пройти на итальянскую территорию. В трактории мы пили итальянское вино и кофе. Я наблюдал, как автомобили пересекали границу, остановившись на несколько секунд около таможенника, который, отдав честь, сразу пропускал их как в ту, так и в другую сторону. Интересно, что наш стоглазый Аргус, армянин из МГБ, не перешел на итальянскую территорию. По-видимому, боязнь нарушить указание находиться только во Франции пересилила в нем другую — оставить нас без присмотра на земле Италии.

На конгрессе мы познакомились с профессором Льежского университета Жеребцовым. Он был вывезен из России в Бельгию в возрасте одного года, но тем не менее неплохо говорил по-русски. Мы пригласили его в наш номер в гостинице, и наш ментор из МГБ принялся угощать его армянским коньяком и уговаривать переехать в СССР, расхваливая нашу счастливую жизнь и свободные порядки. Месье Жеребцов вежливо слушал, но высказал опасение, что в СССР он будет связан обязательствами в отношении общества, а он любит сам распоряжаться своим временем и поступками. В разговоре он пожаловался на то, что на пути в Париж, куда он приехал на своей машине, его задержали на мосту через Рейн на «целых два часа». Слушая это, я не мог удержаться от скрытой улыбки, подумав, что бы он сказал, оформляясь и выезжая за границу из нашей «свободной» страны.

Во Франции я был еще несколько раз. В 1967 году провел там полтора месяца, посетив, кроме Парижа, Страсбург и Марсель. Мне понравилось в Париже зимой. Стояла прекрасная погода, не было той массы туристов, какая бывает летом, и без каких-либо затруднений я облазил музеи, выставки и почти все главные районы города.

В Марселе было необычно пасмурно, дождливо и холоднее, чем в Париже. Принимавший меня профессор Монье сказал, что, как только задует мистраль, станет ясно. Действительно, в конце недели небо прояснилось и, воспользовавшись улучшением погоды, я совершил интересную поездку в Арль и Авиньон. На вокзале, покупая билеты, подробно расспросил кассира, каким поездом лучше ехать. Через не-

сколько минут разговора он почувствовал мой акцент и воскликнул: «Месье, вы не француз!» Я был очень горд тем, что около пяти минут разговора он этого не замечал

Мистраль оказался не ветерком, а настоящим ураганом. По всей долине Роны дул холодный, пронизывающий северный ветер, и, взяв с собой лишь легкий плащ, я продрог насквозь. Если на воздухе пригревало солнце, то во Дворце пап в Авиньоне было мрачно и совсем холодно. Меня поразили знаменитый Авиньонский мост, доходящий до середины Роны, и римский стадион в Арле, похожий на Колизей. Интересен также Марсель со своим Старым портом, церковью Нотр-Дам де ля Гард и оживленной главной улицей Ля Канальер.

В 1975 году мне удалось посетить Мюнхен и Штутгарт. Они, как и другие города в ФРГ, разрушенные бомбежками во время войны, были восстановлены, а новые дома построены со вкусом и рационально. Кстати, в Мюнхене в картинной галерее выставлена самая большая в мире и лучшая коллекция картин Василия Кандинского и его учеников, переданная в музей после его смерти его ученицей и женой Габриелле Мюнтер. У нас Кандинский был запрещен, и только здесь я мог понять, как постепенно изменялось его творчество — от русских бытовых сценок до абстрактной живописи.

Из других моих многочисленных выездов в Европу отмечу поездку в Испанию на совещание по клеточному ядру в Саламанке. Мы ехали вдвоем с бывшей моей сотрудницей Ольгой Петровной Самариной. В Москве нам выдали деньги только на проезд и, так как самолет прибывал в Мадрид поздно вечером, сказали, что ночевать нас устроит представитель Аэрофлота. Однако из-за того, что в Испании, как и у нас, функционировало «летнее время», мы прилетели лишь в час ночи.

Представитель Аэрофлота отказал нам в устройстве на ночь. В это время, услышав русскую речь, к нам подошел человек, назвавшийся сотрудником Советского посольства. Выяснив в чем дело, он нелюбезным тоном заявил, чтобы мы немедленно направились в гостиницу. Мы ответили ему, что

денег на гостиницу у нас нет и что мы переждем до утра в аэропорту. Тут он еще менее любезно заметил, что «это вам не Рязань, отправляйтесь в гостиницу».

К счастью, в этот момент мы увидели, что за решеткой, отделяющей границу, нам машет руками организатор совещания профессор Хименес-Мартин. Оказалось, что Ольга Петровна дала ему телеграмму о нашем приезде. Мы подошли к нему, и он сказал, что сейчас же отвезет нас на машине в Саламанку. Сотрудник посольства, проходя мимо, уже со злобой в голосе возмутился, что мы все еще здесь. Когда мы объяснили ему, что нас встречает организатор совещания, он грубо спросил: «Где он?», о чем-то поговорил с профессором по-испански и только после этого отстал.

На этом приключение не кончилось. Мы отправились в Саламанку на машине, за рулем сидела сотрудница профессора Консуэла де ля Торре. Примерно через час, темной ночью, спустило колесо. Обратиться было некуда, и я достал из чемодана фонарик и поставил запаску. В Саламанку мы приехали около семи утра, уже светало, и нас разместили в кельях женского монастыря. Я еле успел разобрать вещи и чуть подремать, как уже надо было идти на открытие совещания. А бедному профессору Хименесу-Мартину пришлось открывать совещание, и я понял, как трудно было ему встречать нас, проявив настоящую испанскую учтивость.

Однако самое необыкновенное происшествие ожидало нас при отлете в Москву. В мадридском аэропорту мы прошли все формальности и заняли места в самолете; пришло время вылета, однако самолет оставался на месте, потом минут через 20 объявили, что вылет задерживается из-за того, что «занята взлетная полоса». Я обратил внимание на женщину лет 35, сидевшую перед нами с дочерью-подростком и сыном лет семи. Мальчик сидел спокойно, но мать и девушка были в слезах, выглядели очень расстроенными и обеспокоенными.

Еще через полчаса прямо к самолету подкатили полицейская машина и автомобиль без опознавательных знаков. Из полицейской машины вывели под руки высокого мужчину, из

другой вышли два человека, в одном из них я узнал того самого «сотрудника посольства», который наставлял нас ночью в аэропорту. Оба они подскочили к высокому мужчине и помогли ему войти в самолет.

Этот здоровенный на вид детина рыдал и еле стоял на ногах, к нему бросились плачущая женщина с дочерью, и обе повисли у него на шее, подошли еще двое пассажиров и тоже принялись обнимать и целовать его. Как только они разместились в салоне, заревели моторы, самолет вырулил на взлетную полосу и полетел.

Приехав домой, я рассказал этот эпизод жене, и она сообщила мне, что «Би-би-си» передало: в окрестностях Мадрида задержан советский шпион имярек, который под предлогом осмотра достопримечательностей с семьей делал снимки стратегических объектов и получал секретные сведения. После переговоров он был отпущен в СССР на каких-то там условиях.

Во время поездки в 1969 году в Великобританию по линии «научного туризма» мы посетили университетские города — Оксфорд и Кембридж, сохранившие почти средневековые порядки и архитектуру. Они напоминают монастыри похожими на кельи комнатами студентов, оградой, внутренними двориками, поражают лужайками с вечнозеленой холеной травой. Эти города являются выдающимися форпостами мировой науки. Таков, например, знаменитый Институт молекулярной биологии в Кембридже, в котором работают то ли шесть, то ли восемь нобелевских лауреатов.

Из университетских городов мы вернулись в Лондон, посетили парламент, научные институты, музеи и разные районы города, из которых каждый своеобразен и неповторим. Оттуда отправились в Шотландию.

В июле 1973 года я принял участие в 9-м Международном биохимическом конгрессе в Стокгольме. Стояла необычная для Швеции нестерпимая жара, было 32—35° С, и с нас, несмотря на самую легкую одежду, градом катил пот. Заседания происходили в специальном Дворце конгрессов, большом приземистом красном здании, несколько удаленном от центра города. Помимо интересных встреч на конгрессе, запомни-

лись два приема: в ратуше Стокгольма и в Советском посольстве.

На какой-то из приемов один американский ученый пришел с женой-мексиканкой. Ее парадное платье украшала оригинальная брошка, представлявшая собой большого жука на золотой цепочке. Каково же было мое удивление, когда жук, позолоченный и инкрустированный драгоценными камнями, пополз по платью. Оказывается, он был живой и в таком виде служил украшением.

С 1970 до 1991 года я являлся председателем советской части группы по биологии Советско-финляндской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. В первые годы контакты с иностранцами были все еще сложными и небезопасными. За первые семь лет нам удалось послать в Финляндию только двух или трех человек на основе безвалютного научного обмена, и лишь в 1977 году я в первый раз поехал в Хельсинки на совместное с финнами заседание группы. Впоследствии я часто бывал в этой стране и дважды провел там по месяцу, работая вместе с финнами в лабораториях.

Финляндия произвела на меня особое впечатление. Эта когда-то далеко не передовая провинция царской России превратилась в процветающую современную страну, не уступающую по уровню жизни и культуре самым развитым государствам Европы и Америки. Поражает великолепная архитектура новой застройки, самые современные дома как бы вписаны в природу, гармонируют с ней и представляют собой красивые и удобные ансамбли.

Припоминаю, как перед отъездом финской части нашей группы после совместного заседания, происходившего в Москве, мы пригласили финнов в ресторан и было выпито не менее бутылки водки на каждого. После этого, когда мы провожали их на поезд, в купе они вытащили еще несколько бутылок крепких напитков, которые пришлось распить с ними на прощание. В результате, когда я пришел домой, жена сказала, что таким пьяным она меня еще никогда не видела.

Совсем иное впечатление, чем Финляндия, производит Италия. В 1978 году я принял участие в Советско-итальян-

ском симпозиуме по молекулярной и клеточной биологии на острове Капри, в 1990 году — в 3-м Европейском конгрессе по биологии клетки во Флоренции. Остров Капри возвышается на фоне синего моря. На величавой скале стоит почти сохранившийся дворец жестокого и развратного римского императора Тиберия. На Капри провел около 10 дней Ганнибал и, как принято считать, именно из-за этого, увлекшись местными красавицами, проиграл Пуническую войну, так как римляне сумели воспользоваться его отсутствием в войсках и одержать победу.

С островом Капри связано много исторических событий. Когда-то им владели греки, потом арабы, и среди населения острова остались их потомки. Здесь отдыхали и предавались неге богатейшие люди Европы и Америки. До русской революции на острове функционировала Школа коммунизма, и до сих пор там сохранился памятник Ленину. Над морем стоит отнюдь не скромный, обширный дом, где жил пролетарский писатель Максим Горький. У берега ласкового синего моря, среди скал находится красивейший Голубой грот, куда мы заплывали на лодке.

Три дня мы провели в Риме и успели посмотреть древние форумы, Ватикан, Собор Святого Петра, Сикстинскую капеллу, фонтан Треви, Виллу Боргезе, площади Венеции и Испании. Нас свозили во Флоренцию, где мы посетили незабываемые галереи Уффици и Питти. Интересно было сравнивать картины разных художников на одну и ту же тему. Например, «Благовещение» или «Поклонение волхвов». Картины великих художников великолепны и неординарны, но только творения Леонардо да Винчи гениальны.

При всей этой роскоши и красоте меня поразило воровство. Молодые люди подъезжают на мотоциклах и, не выключая мотора, выхватывают у женщин сумочки и удирают на полном ходу. Так украли сумочки у жены академика Баева и дочери Энгельгардта. Один из наших коллег зазевался на секунду, и у него успели утащить фотоаппарат. Местные жители не пользуются подземными переходами — в них грабят, опасно вынимать бумажник — его выхватывают из рук.

Бросалась в глаза также политическая нестабильность. На

каждом перекрестке стояли карабинеры с автоматами наперевес, стены и заборы были исписаны политическими лозунгами — соседствовали красные звезды, свастики, серпы и молоты. Совсем недавно был похищен и убит Альдо Моро.

В Швейцарии мне пришлось дважды участвовать в симпозиумах на высокогорном курорте Аролла, на высоте 2000 метров над уровнем моря. Кругом ледники, альпийские цветы, камни и скалы, чистейший воздух, днем — горное солнце, вечером — прохлада. Так как в письмах предупреждали о необходимости взять с собой специальную обувь, я прихватил крепкие горные ботинки, в которых путешествовал на Алтай еще в 1938 году. Перед выходом в горы проводник долго рассматривал их — эти ветераны резко отличались от легких синтетических ботинок, в которые были обуты все остальные. Вероятно, они могли представлять интерес в качестве экспоната музея по истории альпинизма.

В Голландии в 1987 году я участвовал в 10-м Европейском рабочем совещании по клеточному ядру и ядрышку в бывшем монастыре Стевенсбеке, недалеко от небольшого университетского города Наймегена. Голландия — очень своеобразное государство. Во многих местах здесь суша ниже уровня моря. Странно было видеть, что дорога, по которой мы ехали на автобусе, находится ниже уровня воды в соседнем канале.

Интересен Амстердам: множество каналов, разводные мосты, все это наводит на мысли о том, по какому образцу Петр Первый строил Петербург. Как и в других городах Европы, много неевропейцев, однако, если, например, в Париже преобладают негры, арабы и вьетнамцы, то здесь это главным образом индонезийцы и малайцы. По-видимому, приезжают в основном из бывших колоний страны. Много кафе и всевозможных увеселительных заведений; целые кварталы публичных домов, где в витринах стоят почти голые проститутки на любой вкус. Здесь множество стриптиз-клубов и других соответствующих зрелищ. Все выставляется напоказ, причем в каждом заведении указаны расценки; особенно забавно, что в одном из них было вывешено объявление. «Экскурсиям — скидка».

Как я уже писал, летом 1962 года я неожиданно совершил путешествие в США, на Гордоновскую конференцию по нуклеиновым кислотам.

Америка поразила меня комфортом и богатством даже по сравнению с Европой. Мы были первыми советскими биологами в США после долгого перерыва «холодной войны», принимали нас исключительно гостеприимно и радушно, на конференции одобрили наши доклады и сообщили немало последних неопубликованных сведений.

На второй день я спешил на утреннее заседание, но дорогу мне преградил немолодой участник конференции и протянул пачку оттисков, которые оказались не научными публикациями, а серией статей, призывающих к нераспространению атомного оружия и к борьбе за мир. Он долго убеждал меня в необходимости не допустить распространения ядерного оружия на другие страны. Представьте себе, говорил он, какая опасность возникнет, если какой-нибудь южно-американский диктатор будет обладать атомной бомбой. Из вежливости я преодолевал стремление не пропустить интересное заседание и наконец, не выдержав, спросил: зачем он меня так настойчиво убеждает в том, что не вызывает сомнения? «Как же, — удивился он, — я хочу, чтобы вы тоже повлияли на ваше правительство». Я еле удержался от смеха, поскольку «повлиять на наше правительство» в то время было невозможно.

Помимо интересной конференции, мы получили разрешение побывать в ведущих научных центрах США, лично познакомились со многими учеными с мировой известностью и в непринужденной обстановке обсудили с ними научные проблемы.

Наш «спонсор» профессор Левенталь снабдил нас авиабилетами на всю поездку. Он сказал, что мы со Спириным получим деньги за лекции в Медисоне, в Беркли и в Пасадене, и вручил нам чек на сто долларов за доклад в Бостоне. По чеку мы должны были получить деньги в банке, а использованные билеты и часть денег прислать ему. Последнее меня озадачило, я не представлял себе, как можно получить деньги в банке без документов, которые были сданы для продления

виз, и как переслать ему то, что он просил. Он ответил, что документы не нужны, и если возникнет сомнение, то мистер Спирын может подтвердить, что я действительно мистер Збарский. Что касается пересылки, то деньги и билеты нужно положить в конверт и опустить в почтовый ящик. Это я вскоре вспомнил в Москве, когда на почте мне не выдали перевод в 5 рублей без паспорта при наличии нескольких других документов.

В этот период наша пропаганда твердила о расовых противоречиях в Америке и угнетении негров. Ничего подобного я не наблюдал, и, напротив, когда приходилось видеть в одной и той же лаборатории представителей различных рас, меня поражало скорее то, как мирно и дружно они уживаются между собой.

В 1989 году мой коллега профессор Кийоши Уеда пригласил меня в Японию, предупредив, что Медицинский университет в городе Оцу, где он работает, бедный и сможет принять меня очень скромно. На самом же деле меня принимали с исключительным гостеприимством. Я почувствовал также, что в этой высокоразвитой стране свято хранят традиции и оберегают духовные ценности. Велик также интерес к нашей стране, и мне пришлось там, помимо научных докладов, выступать с рассказами о современной России.

Город Оцу находится на берегу самого большого озера Японии — Бива (Бива-ко), в части страны, называемой Кензаи. Когда-то, еще до Киото, Оцу непродолжительное время был столицей Японии. Теперь это небольшой университетский город (тысяч 100—150 населения) и столица префектуры Сига. Он известен также тем, что во время посещения Японии Николай Второй, тогда еще наследник престола, подвергся здесь нападению полицейского, поранившего его мечом. Рядом с Оцу находится гора Хиэй, за которой расположена многовековая столица Японии — Киото. На склонах гор стоят старинные буддистские и синтоистские храмы, тщательно охраняемые государством. Входя в синтоистский храм, нужно вымыть руки и прополоскать рот, дабы очиститься от мирского.

Для полного впечатления о Японии перед отъездом из Оцу меня пригласил доктор Тоширо Ониши, у которого я провел вечер и переночевал на татами в типичном японском доме, в комнате, где стоял букет цветов, скомпонованный хозяйкой дома по правилам икебаны

В Киото мне показали старинный императорский парк и дворец Кацура, выставку народных промыслов и знаменитый квартал Гион Корнер, где расположены чайные домики и резиденции гейш. Мне даже посчастливилось увидеть гейшу, семенящую на высоких «котурнах». Свозили и в древнюю Нару, там в парке бегали лани и олени. Затем на скоростном поезде я доехал до Токио, покрыв за два часа расстояние в 500 километров.

В декабре 1990 года я принял участие в Международном симпозиуме по структуре и функции хромосом в Калькутте. Лететь пришлось с пересадкой в Дели, куда самолет прибыл в 3 часа ночи. До отлета в Калькутту оставалось 15 часов. Регулярного сообщения с городом не было; вокруг меня крутился какой-то молодой человек подозрительной наружности. Он обратился ко мне на плохом английском и предложил отвезти меня в город, сказав, что он шофер такси. Я ответил ему, что должен лететь в Калькутту сегодня же вечером. Было темно, когда я сел в машину, туда немедленно вскочили еще два молодых человека, и меня повезли по какой-то темной дороге. Это меня озадачило, так как непонятно было, зачем меня везут трое да еще неизвестно куда.

Оказалось, что меня привезли в аэропорт внутренних линий. До отлета самолета оставалось еще много времени, я сдал вещи на хранение, и такси повезло меня в город, в гостиницу, где я с удовольствием отдохнул после почти бессонной ночи. Утром таксист заехал за мной и показал город

Все было необычно и красочно проходили рослые сикхи в тюрбанах, с бородами, щуплые индийцы были одеты в какие-то лохмотья наподобие коротких юбочек, проехал на слоне всадник, в телеги были запряжены белые яки, изредка, громыхая, проезжали индийские автомобили марки «Амбасадор», напоминающие старый «Москвич-401»

В Калькутте меня встретил молодой человек из местного университета и отвез в гостиницу. Окна ее выходили в какой-то двор, в котором гуляли две коровы. Утром было совсем тепло, градусов двадцать пять. У входа на кафедру, где состоялся симпозиум, росли кокосовые и финиковые пальмы и много других незнакомых вечнозеленых растений — тропики.

После симпозиума нас свозили в тигровый заповедник «Сундаранам». Несколько часов мы ехали в автобусе, а затем еще часа три на катере по дельте Ганга. На одном из островов нас высадили и устроили на ночлег. Утром мы поднялись на смотровую площадку. Вдали бегали обезьяны и олени; поблизости были пруды, в которых плескались крокодилы и акула. Затем мы погуляли в огороженном пространстве, кругом росли мангровые деревья, корни их торчали наружу из-под земли. Было много тропических растений, названия которых я не упомяну. Подошли довольно близко к прудам с крокодилами и акулой. Затем в сопровождении охранника с карабином наперевес нас вывели за ограду. Тигров мы так и не увидели. Но нам показали их следы. Зато в конторе заповедника стояли великолепные чучела бенгальских тигров.

Тем же маршрутом нас повезли обратно. По берегам рукавов Ганга и вдоль дороги раскинулись бенгальские деревни. У глинобитных хижин росли мощные пальмы и банановые деревья. Скот состоял главным образом из низкорослых черных коз, которых было множество. На рынке меня впервые угостили кокосовым молоком. Зеленый, незрелый плод рассекают ножом и через соломинку сосут сладкую, своеобразного вкуса жидкость. По краю, у скорлупы, отлагается полутвердая масса, по вкусу напоминающая обыкновенный лесной орех.

Когда мы ехали на катере, вдруг раздались голоса, катер повернул к берегу, и в прибрежном иле, среди кустов мы увидели крупного зеленого крокодила, спокойно дремавшего на солнце. Когда подплыли ближе, я успел его сфотографировать. Услышав шум, он высоко подпрыгнул в воздух и нырнул в мутную воду. Прыжок был очень красив, но все это произошло так быстро, что запечатлеть его я не успел.

В Индии проживает около 300 народностей, и я видел лишь небольшую часть этой великой страны. Калькутта — столица штата Западная Бенгалия, самый большой город Индии, около 15 миллионов населения. Множество людей живет прямо на улице, здесь же они спят, готовят пищу и располагаются надолго. К машинам и пешим европейцам подходят истощенные люди и просят есть, показывая руками на рот. Как во всех бедных странах, сильна коммунистическая партия; на стенах и заборах нарисованы серп и молот и красные звезды. Индуистские храмы напоминают куполами и архитектурой наши православные церкви; вокруг них священные животные — обезьяны. Внутри — изваяния Шивы, Вишну и Кришны. Индуистская религия господствует, ее исповедует более 80 процентов населения.

Подводя итог моим поездкам за границу, я могу с удовлетворением отметить, что хоть и в немолодом возрасте, но мне пришлось немало поехать и повидать мир. В связи с этим я припоминаю, как на банкете после какого-то из симпозиумов один из иностранных участников предложил выпить за науку, которая «позволяет нам так много и интересно путешествовать».

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Еще до переезда в новое здание лабораторию при мавзолее В.И. Ленина значительно модернизировали и увеличили число ее сотрудников. Этому особенно способствовало выделение крупных средств и штата в соответствии с рекомендацией правительственной комиссии. В «юбилейном» 1970 году, в связи со столетием со дня рождения Ленина, было закуплено самое современное оборудование: центрифуги, электронные микроскопы, автоматические анализаторы аминокислотного состава, спектрофотометры и т.п. В 1976 году все это установили на прочных фундаментах в новом большом здании на улице Красина, 2. Теперь спецлаборатория представляла собой целый институт, включавший отделы анатомии, биохимии, гистологии, технического обслуживания, превосходящий по своим возможностям другие научные институты столицы.

С расширением спецлаборатории увеличился и диапазон ее деятельности не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Примеру «старшего брата» последовали его сателлиты. Бальзамирование на длительное время уже перестало рассматриваться как привилегия только Советского Союза, и произошла своего рода интернационализация этого дела; по крайней мере оно распространилось на «демократические» страны советского блока.

5 марта 1953 года умер Сталин. Уже без моего отца, находившегося в заключении, и без меня Сталина бальзамировали Мардашев, Дебов, Усков, Авцын, Кузнецов и другие. Еще перед смертью вождя, когда состояние его стало безнадежным, в спецлаборатории по команде свыше было приготовлено все для сохранения его тела Мертвого Сталина

привезли в лабораторию через 2 часа после смерти, немедленно произвели вскрытие и фиксацию тканей для помещения в Колонном зале, откуда через несколько дней его перевезли в мавзолей, и там в течение трех месяцев продолжили бальзамирование на длительный срок.

Сотрудники спецлаборатории, лицезревшие Сталина только на демонстрациях на Красной площади и на фотографиях, были поражены, увидев, что лицо его сплошь изрыто оспой и покрыто пигментными пятнами. Пока шло бальзамирование, изготовили новый саркофаг, куда поместили тело Сталина рядом с телом Ленина, а на фронтоне усыпальницы появилась надпись «ЛЕНИН СТАЛИН».

После XX съезда партии культ личности Сталина был развенчан, но лишь в 1961 году, по решению XXII съезда, тело его вынесли из мавзолея и захоронили у Кремлевской стены, поставив ему памятник наряду с наиболее выдающимися борцами за коммунизм. С тех пор в мавзолее снова лежит только Ленин, и надпись «СТАЛИН» оттуда удалена.

Таким образом, не всем забальзамированным трупам, превращенным в своего рода мощи, суждено было долгое посмертное существование. Такая же участь постигла и тело Клемента Готвальда, вождя чехословацкой коммунистической партии. Он простудился в Москве на торжественных похоронах Сталина, уехал в Прагу и вслед за Сталиным умер 14 марта 1953 года от воспаления легких. Забальзамированный советскими специалистами, Готвальд пролежал в усыпальнице лишь несколько лет. В 1956 году чехословацкое руководство объявило, что хранение его в мавзолее «не в традициях народа», тело кремировали, и урну перенесли в пантеон.

С другой стороны, тело Хо Ши Мина во Вьетнаме, по видимому, обречено на сравнительно долгое существование. Старый одинокий вьетнамский вождь, «дедушка Хо», тяжело болел и, когда надежды на его выздоровление уже не осталось, по решению ЦК КПСС в Ханой была направлена группа советских специалистов под руководством С.С. Дебова. Хо Ши Мин умер в великий национальный праздник — День республики, 2 сентября 1969 года. Не желая объявлять

этот день траурным, власти сообщили, что он скончался 3 сентября и лишь через 20 лет назвали настоящую дату его смерти.

Необходимо было немедленно приступить к бальзамированию. Советские специалисты сочли это невозможным из-за отсутствия оборудования и реактивов и настаивали на отправке тела в Москву. Вьетнамское руководство в лице Ле Зуана категорически возражало, считая, что народ не поймет этого, и пришлось срочно отправить из Москвы самолетами все необходимое.

Вьетнамская война все более разгоралась, бомбардировки Ханоя становились все чаще и чаще, и в обстановке строжайшей секретности, так как разведка у американцев работала хорошо, «объект» вывезли в запасной пункт, где уже был построен небольшой мавзолей — в джунгли близ Шантая, в 30 километрах от Ханоя.

Здесь, однако, возникла непредвиденная опасность — совсем рядом, в двух километрах, американцы высадили вертолетный десант, предположительно в поисках пленных. Тело снова перевезли, и саркофаг спрятали под землей; из-за отсутствия охлаждающих установок приходилось обкладывать его льдом. Из этого неудобного пункта его переместили в большую пещеру под отвесной скалой, где велась работа и наблюдение за трупом до конца войны, то есть до мая 1975 года. Так как американцы бомбили все видимые пути, перевозки производили ночью: строили специальную дорогу, по которой по мере строительства продвигался бронетранспортер с «объектом», а за ним следовала особая установка, немедленно разрушавшая только что построенную дорогу, дабы она не была видна с воздуха.

По окончании войны саркофаг с телом снова поместили в первом мавзолее в лесу и лишь затем перевезли в постоянную усыпальницу на главной площади Бадинь в Ханое.

Грандиозный мавзолей в Ханое был готов в августе 1975 года. Это самый большой мавзолей в мире и самое высокое здание во вьетнамской столице. Саркофаг с телом Хо Ши Мина помещается на самом верху, в огромном белом зале, трибуны расположены ниже, а за мавзолеем простира-

ется большой благоухающий сад; кругом цветы, карликовые деревья. В мавзолее работают мощные кондиционеры, и во всем здании поддерживается температура $+16^{\circ}\text{C}$. Так как снаружи обычно около $+40^{\circ}\text{C}$, на стенах здания конденсируется влага, и стены как бы «плачут».

Сотрудники лаборатории при мавзолее В.И. Ленина до сих пор регулярно наезжают в Ханой, хотя за телом постоянно наблюдают обученные ими вьетнамские специалисты.

Ангольский вождь Агостиньо Нето умер в Москве в сентябре 1979 года, тело его немедленно привезли в лабораторию при мавзолее, вскрыли, произвели предварительное временное бальзамирование и перевезли обратно в Кремлевскую больницу, где состоялось прощание дипломатического корпуса с покойным. Оттуда на правительственном ангольском «Боинге» Нето переправили в Луанду и на бронетранспортере доставили во Дворец народа, где люди прощались с ним в течение семи дней. Руководство ангольской Партии труда обратилось в Политбюро ЦК КПСС с просьбой оказать помощь в длительном бальзамировании вождя, на что было дано согласие, и тело его под секретом было вновь переправлено в Москву.

Бальзамирование продолжалось около трех месяцев, причем пришлось встретиться с некоторыми трудностями: так, не было разработано способа сохранения в прижизненном состоянии пигмента черной негритянской кожи, которая выцветала при хранении в бальзамирующей жидкости. Потребовалась специальная исследовательская работа, чтобы разрешить эту проблему

Нелегко было также подобрать условия для обозрения тела посетителями. При жизни Нето, врач по образованию, носил очки и при обычном освещении в саркофаге имел причудливый вид: на фоне сияния черной флуоресцирующей кожи стекла очков блестели. Пришлось изготовить пластмассовые очки без стекол и освещать тело люстрами, расположенными вне саркофага

Теперь труп ангольского вождя был снова отправлен в Луанду и из аэропорта на бронетранспортере перевезен во Дворец народа — бывший дворец португальского генерал-

губернатора; там на третьем этаже оборудовали лабораторию, куда поместили тело и где продолжали работу по его сохранению. Неизвестные злоумышленники перерубили кабель, подающий электроэнергию, остановились кондиционеры, и воздух нагрелся до температуры, представляющей опасность для сохранения тела. Но энергичный комиссар, приставленный к сотрудникам лаборатории, срочно привез мешки со льдом, экспроприированным им с завода, производящего мороженое.

Обычно труп вождя хранился в герметичном саркофаге, и лишь раз в год, в День героя, выставлялся для обозрения — гроб с телом ставили на постамент, закрывая его стеклянными плитами, и освещали люстрами с подсветкой; только вдова покойного могла видеть тело в неурочное время.

Сразу же после смерти Нето приступили к сооружению мавзолея, который по проекту располагался в основании огромной башни, которая должна была быть видна издалека с моря. Строительство это вели главным образом советские рабочие, и затянулось оно на годы. В атмосфере коррупции работать не торопились, а мрамор и другие материалы расхищали на частные дома и виллы. Эта вечная стройка, начатая в 1980 году, так и не была завершена, и в 1989 году ее прекратили.

Все это время шла гражданская война, и новый президент, Душ Сантуш, из этических соображений не жил во дворце, где находилось тело Нето, что вызывало недоумение народа и нарекания оппозиции. В декабре 1992 года я прочел в газете, что тело Агостиньо Нето пролежало в саркофаге в столичном Дворце народа под наблюдением российских специалистов более 13 лет и решение о захоронении принято, исходя из пожелания семьи покойного. По слухам, тело Нето покоится в саркофаге в недостроенном мавзолее на одной из центральных площадей Луанды.

Еще одно бальзамирование негритянского вождя было проведено, когда в сентябре 1985 года на американском континенте умер первый президент Кооперативной республики Гайаны Линдон Форбс Бернхем. По просьбе правительства

Гайаны в столицу, Джорджтаун, выехали сотрудники спецлаборатории при мавзолее во главе с Л.Д. Жеребцовым. Им удалось прибыть на место лишь через две недели. До этого тело хранилось в охлажденном контейнере, заполненном инертным газом.

Советские специалисты произвели фиксацию и первичную обработку, затем к ним присоединился Ю.И. Денисов-Никольский, который привез тело в контейнере через Кубу в Москву. Задача была непростой и необычной. Небольшая республика Гайана с населением около миллиона, находясь на американском континенте, была труднодоступна для постоянного наблюдения, труп долго лежал до начала бальзамирования, и на нем появились признаки начинающегося разложения. К тому же на лице покойного имелись участки депигментации вследствие кожного заболевания.

Учитывая эти обстоятельства, впервые применили новый способ бальзамирования, разработанный в начале 80-х годов, не требующий постоянного ухода и допускавший ревизию раз в год. Несмотря на трудности и опасения, результаты были обнадеживающими, удалось устранить светлые пятна и восстановить равномерную окраску лица и тела.

Тело Бернхема пролежало в спецлаборатории почти год, пока в Джорджтауне строился мавзолей, и начали циркулировать слухи, что бальзамирование не удалось и в саркофаге лежит не тело, а кукла президента. В связи с этим тело выставили в посольстве Гайаны, чтобы дипломатический корпус и студенты-соотечественники могли увидеть его, и затем, уже летом 1986 года, в специальной капсуле из органического стекла перевезли в Джорджтаун.

К годовщине смерти Бернхема одноэтажный мавзолей в виде креста, удачно спроектированный американским архитектором, был уже готов. Тело некоторое время было выставлено в мавзолее, однако Государственный департамент США, которые оказывали экономическую помощь Гайане, заявил, что если тело будет лежать в мавзолее, то США прекратят помощь стране. Вопрос этот обсуждался на заседании правительства, длившемся всю ночь, и после долгих дискуссий возобладали экономические интересы. После

пышных торжественных похорон тело Бернхема было замуровано в мавзолее в уже готовом постаменте саркофага.

После смерти диктатора Северной Кореи Ким Ир Сена в 1994 году бригада сотрудников спецлаборатории во главе с заместителем Дебова Ю.И. Денисовым-Никольским по просьбе корейского руководства провела там работу по бальзамирванию тела покойного вождя, и теперь, с 1995 года, оно сохраняется и доступно для обозрения в мавзолее в центре Пхеньяна. Таким образом, из трупов вождей, забальзамирванных отечественными учеными, в настоящее время сохраняются и доступны для обозрения только три: Ленин, Хо Ши Мин и Ким Ир Сен.

После смерти вождя Гоминьдана Сунь Ятсена в 1925 году китайцы, получив в ответ на просьбу помочь сохранить тело своего вождя отказ советского правительства, которое считало сохранение тела Ленина уникальным, сами обработали его, и оно хранится в мавзолее в Нанкине.

В 1976 году умер коммунистический диктатор Китая Мао Цзэдун, и по традиции сохранять тела вождей останки его были забальзамирваны китайскими учеными и помещены в мавзолей на главной площади Пекина — Тяньаньмынь.

К сожалению, я не могу судить о том, как это сделано и в каких условиях хранятся тела китайских вождей, так как я не был в Нанкине, а когда посетил Пекин осенью 1989 года, доступ на площадь Тяньаньмынь и в мавзолей был закрыт из-за известных студенческих волнений. По слухам и рассказам очевидцев, обе реликвии сохраняются плохо, и тело Мао Цзэдуна подвергается разложению. В мавзолее стоит большая статуя вождя. Тело Мао Цзэдуна можно видеть лишь с одной стороны, с расстояния около 20 метров, при слабом освещении; руки его спрятаны, и видна только голова.

После прекращения государственного финансирования спецлаборатории при мавзолее казалось, что ее «продукция» — бальзамирвание с сохранением сходства — вряд ли найдет спрос в нашей стране.

Однако начиная с 1992—1993 годов в лабораторию все чаще стали обращаться с просьбами забальзамирровать тела

умерших, предлагая за это немалое вознаграждение. Число таких обращений нарастало, и при лаборатории создали дочернее коммерческое предприятие под названием «Ритуал». Этот источник доходов значительно превышает прежнее вознаграждение бальзамировщиков.

подавляющее большинство тел погибших поступают поврежденными, часто изуродованными пулевыми и (или) ножевыми ранениями, вследствие чего в задачи бальзамировщиков входит также восстановление прижизненного облика и придание открытым частям тела нормального вида, из-за чего вся процедура занимает до трех дней.

ЭПИЛОГ. КОНЕЦ БОЛЬШЕВИЗМА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Когда к власти пришел М.С. Горбачев, он провозгласил «ускорение и технический прогресс», указывая, что иначе мы безнадежно отстанем от передовых зарубежных стран. Что из этого получилось, известно — не было никакого намека на технический прогресс и ускорение. Тогда эти лозунги сменили на «перестройку» и «демократизацию», что само по себе исключало ускорение.

Постепенно ослабевал гнет партии. Стали необязательными политзанятия, отнимавшие у нас массу времени и сил, прекратились аресты за свободомыслие. В 1990 году я вышел из партии и наконец вздохнул свободнее. В стране начали появляться новые партии, и многие приняли демократизацию всерьез. Горбачев непоследовательно метался из стороны в сторону. Пообещав многое демократам, он испугался и окружил себя махровыми партаппаратчиками и консерваторами; высокие должности в государстве получили Крючков, Павлов, Язов, Пуго, Янаев и другие, устроившие 19 августа 1991 года государственный переворот, когда Горбачев находился на отдыхе в Крыму.

В этот день я как раз вернулся из деревни от своего сына Алеши и тяжело переживал возврат, как мне казалось, к партийной диктатуре и тирании. Героически вел себя Ельцин, и при поддержке населения Москвы ему удалось отстоять демократию, а затем сломать хребет ужасному монстру — КПСС. Свершилось наконец то, чего мы все страстно желали и до чего я не надеялся дожить.

Все это, однако, сопровождалось драматическими событиями: распадом СССР, экономическим крахом, резким снижением уровня жизни, национальными конфликтами в стране.

Больше всего это отразилось на науке и культуре. Научные институты перестали финансироваться и еле влачат существование.

Еще в 1966 году мне удалось организовать первый Всесоюзный симпозиум по структуре и функциям клеточного ядра. Симпозиум прошел с успехом, и мы издали книжку трудов его участников. Затем симпозиумы проводили регулярно, сначала каждые два года, потом — каждые три года. Я использовал те же принципы, которые впоследствии были предложены В. Бернарром при организации и проведении Европейских рабочих совещаний по клеточному ядру и ядрышку, — старался объединить ученых разных специальностей, с тем чтобы сопоставить различные подходы и методы при изучении одной и той же проблемы, проводить совещания в интересных местах и поддерживать свободную дискуссию. Вначале организовывать эти симпозиумы и издавать сборники было относительно нетрудно. Но постепенно это становилось все сложнее, издавать стало возможно только тезисы, для организации совещания нелегко стало добиваться согласия союзных республик и местных властей, нам разрешили проводить симпозиумы не чаще, чем раз в три года, трудно было добиться включения их в план.

Хотелось все же, чтобы это начинание не умерло вместе со мной, и я обратился в Институт цитологии Российской академии наук в Санкт-Петербурге с просьбой взять на себя продолжение этих симпозиумов. Благодаря директору института Николаю Николаевичу Никольскому и его заместителю Владимиру Николаевичу Парфенову, который сам занимается клеточным ядром, несмотря на все трудности, постигшие нашу науку в последние годы, Институт цитологии взялся за это дело и провел в Петербурге в 1993 году 11-й (теперь Всероссийский), в 1996 году 12-й, а в 1999 году 13-й симпозиумы на названную тему.

В 1989 году в нашем институте все, кто достиг семидесятилетнего возраста, были освобождены от руководящей административной работы. В числе их оказался и я, хотя в должности заведующего лабораторией мне удалось дотянуть до 75 лет. Вместе с академиком Владимиром Александрови-

чем Струнниковым, сменившим Б. Л. Астаурова в должности заведующего лабораторией, я перешел на должность советника при Дирекции. Обязанности мои резко сократились, да и силы уже не позволяют работать с прежней интенсивностью.

В 1988 году меня наконец избрали действительным членом (академиком) Академии медицинских наук СССР (теперь Российской). По-видимому, до сих пор меня «не пускали» по каким-то известным Центральному комитету КПСС соображениям. Вообще, я должен еще раз заметить, что всякие поощрения-награждения орденами и т.п. я получал тогда, когда мне казалось, что я этого не заслуживал, и напротив, когда у меня были большие достижения, меня снимали с работы и всячески преследовали.

Вслед за горбачевскими экспериментами наступил 1991 год, попытка возврата к старому, победа демократии, драматические события последующих лет с инсценировкой реакционного переворота в 1993 году, мучительный переход к новой экономической системе с падением производства и сельского хозяйства, деградацией науки и культуры.

Конечно, многое зависит от неумелого руководства страной, бюрократизма, воровства и коррупции, но в основном это результат 74-летней тирании и варварства, начавшихся в 1917 году. За это время разрушена экономика страны, загажена природа, уничтожены памятники архитектуры и культуры, церкви, которые являлись символом и фактором единства народа. Все эти годы страна жила в долг, растрачивая свои природные богатства, работала на износ.

Но самое главное — это уничтожение миллионов трудолюбивых, образованных и мыслящих людей, интеллектуального потенциала и генофонда страны, подавление инициативы и самостоятельной мысли, «зомбирование» оставшихся в живых, отрицательный отбор, задавивший самое ценное, накопленное веками богатство России. Такое наследство оставило нам правление большевиков, призывавших терпеть «временные трудности» и обещавших земной рай — «светлое будущее — коммунизм».

Тем не менее нам, оставшимся в живых, можно теперь вздохнуть свободнее, уже нет прежнего гнета и принуждения, господства лжи и страха, можно наконец говорить и писать то, что думаешь. Не надеялся я, что доживу до этого прояснения.

Но меня чрезвычайно угнетает позорное и несчастное положение науки. Науку практически задушили. Если положение ученых было престижным даже при советской власти, то теперь оно унизительно, заработная плата, которую к тому же выдают нерегулярно, втрое ниже средней по стране и в 2—3 раза ниже прожиточного минимума; полностью прекратилось финансирование оборудования и реактивов, исследовательская работа стала невозможной. Молодые и способные научные работники уехали за границу или стали заниматься торговлей и предпринимательством, оставшиеся лишены возможности работать. Незначительная научная активность продолжает существовать на гранты, главным образом иностранные, и подачки в виде присылки литературы и реактивов.

Субъективно я должен утешаться тем, что из-за моего возраста я уже не заведу лабораторией и состою на полупенсионной должности советника. Тем не менее у меня есть еще идеи и стремления в науке, и меня удручает, что я лишен возможности реализовать их. Более всего мучительно видеть, как на моих глазах разрушается то, что создавалось многими поколениями.

В октябре 1993 года мне (увы!) исполнилось 80 лет, и эту круглую дату торжественно отметили в нашем институте. Приятно было видеть пришедших меня поздравить моих учеников, ставших уже маститыми учеными, представителей Академии медицинских наук и ряда научных учреждений, моих друзей.

Два фактора, даже три, привели к тому, что я занялся писанием мемуаров. Во-первых, только теперь стало возможным писать то, что думаешь, во-вторых, освободилось больше времени из-за сокращения занятия наукой и, наконец, в-третьих, возраст уже таков, что пора подытожить мой жизненный путь. В этом состоянии я и пишу свои воспоминания. Хочется что-то, кроме своих научных работ, оставить после

себя. Вяло продолжаю тянуться за наукой, оппонировать по диссертациям, участвую в научных и ненаучных заседаниях и симпозиумах.

Теперь оживился интерес к бальзамированию и хранению тела В.И. Ленина, и по этому поводу ко мне часто обращаются отечественные и зарубежные журналисты. Спрашивают о бальзамировании, возможности длительного сохранения тела Ленина, истории этого вопроса и почему-то о моем отношении к возможности выноса тела Ленина из мавзолея и захоронения его. У меня этот вопрос вызывает двойственное чувство: как гражданин страны я не сторонник сохранения тела Ленина в качестве объекта поклонения. Это мне кажется варварством, не принятым в цивилизованных странах, не говоря уже о том, что сама фигура Ленина мне отнюдь не симпатична. С другой стороны, довольно длительная работа в этом учреждении была ответственной, я исправно выполнял ее.

В связи с этими обстоятельствами по приглашению краевого музея в 1991 году я ездил в Тюмень, где во время войны провел почти четыре года с телом Ленина. Город неузнаваемо изменился. Когда-то маленькая, с населением около 80 тысяч, Тюмень превратилась в полумиллионный город с большими современными зданиями, из которых значительная часть представляет собой управления по нефте- и газодобыче. Интересно было посетить дом, где мы располагались, теперь там Сельскохозяйственный институт. Здание, ранее белое, покрашено в голубой цвет, комнаты существенно переделаны и превращены в лаборатории и учебные кабинеты. Удалось познакомиться и некоторых людей, с которыми я встречался в Тюмени во время войны, преподавателей Педагогического института, где я преподавал, учителей школы, где учил математике мой отец, бывшую мою студентку Ирину Сушкову, ставшую уже пожилой женщиной с двумя детьми и четырьмя внуками...

Вся моя жизнь прошла в условиях «передового социалистического общества» и строительства «светлого будущего — коммунизма». На моих глазах безвинно погибли миллионы лучших людей России, были разрушены тысячи прекрасных церквей и других архитектурных сооружений, изгажена рус-

ская природа, подавлены лучшие чувства людей, расцвели ложь, угнетение и коррупция.

Хотя я не сидел в тюрьме, постоянное давление, неуверенность и угрозы, необходимость притворяться и все время чувствовать опасность быть уничтоженным, бесполезная и отвратительная трата времени и сил на бесконечные партийные и комсомольские собрания и политзанятия, ежечасную «мобилизационную готовность» и т.п. изнурили и мешали заниматься настоящим делом и наукой.

Заканчивая на этом свои воспоминания, могу сказать, что я прожил непростую жизнь. Моя жизнь почти полностью пришлась на тиранический коммунистический режим, в котором было очень трудно, почти невозможно проявить себя. Несмотря на это, я многое видел в течение этих «страшных лет России» и ее «роковых минут» и хочу верить, что эта книга будет интересна и для молодого поколения, которому суждено жить в другое, надеюсь, более свободное и светлое время.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 9 Глава 1. Детство
- 39 Глава 2. Болезнь и смерть Ленина
- 44 Глава 3. Предыстория мавзолея
- 58 Глава 4. Из истории бальзамирования
- 70 Глава 5. Школа
- 80 Глава 6. Бальзамирование Ленина
- 96 Глава 7. Университет
- 120 Глава 8. Мавзолей. Внутри и вокруг
- 132 Глава 9. В. П. Воробьев
- 139 Глава 10. Тридцатые годы
- 148 Глава 11. Аспирантура
- 162 Глава 12. Кафедра
- 170 Глава 13. Война
- 177 Глава 14. Тюмень
- 196 Глава 15. Берлин
- 205 Глава 16. В своей лаборатории
- 211 Глава 17. Бальзамирование Г. М. Димитрова
- 216 Глава 18. «Открытия» и «новаторы»
- 230 Глава 19. Новая волна террора. Арест отца.
Бальзамирование Чойбалсана
- 237 Глава 20. Тяжелые времена и хрущевская
«оттепель»
- 248 Глава 21. Удомля
- 262 Глава 22. Мои шаги в науке
- 273 Глава 23. За границей
- 303 Глава 24. Бальзамирование продолжается
- 311 Глава 25. Эпилог Конец большевизма.
Что дальше?